КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 11

НОЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Илья Эренбург. Заговор равных — роман 3
С. Сергеев-Ценский. Сливы, вишни, черешни — рассказ 33
Иван Новиков. Большое Седло — рассказ 49
П. Павленко. Последний пират из Хиоса — рассказ 71
М. Волконская. Мой отец, дед и бабушка — рассказ 80

Илья Садофьев. Три ветра. На плоском равновесии. Хорошая память — стихи 97
Всеволод Рождественский. Украина. Крымский скорый. Крым— стихи 101

Н. Мещеряков. Михаил Николаевич Покровский. (Эскиз углем). 107
И. Браславский. Германская революция 1918 г. (К десятилетию ноябрьской революции в Германии) 111
Ф. Раскольников. Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга (по неопубликованным материалам) 135
А. Березина. Дневник девушки (1897—1907 гг.) 145
Д. Тальников. Московский Художественный театр 181

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Анна Караваева. В степной коммуне . . . 191

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Вл. Васильевский. Против безответственного фразерства . . . 208
Д. Тальников. Литературные заметки. (О „новейшей поэзии“ и проблеме формы. — Стих и проза. — Вопросы ритма. — О „конструктивизме“.—Поэзия и проза.—Проблема „вещи“ в поэзии.—Проза как „организационный“ прием поэзии.— Должна ли быть поэзия „понятной“.—Писатель перед судом читателя.—Ленин и „Евгений Онегин“.— Homunkulus поэзии. — „Прежде всего надо быть поэтом“.) 213
Г. Каменский. Современная польская литература 245

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ: Т. Гриц.—Лев Толстой. Неизданные художественные произведения. **Е. Аф-в.**—Глеб Алексеев. Свет трех окон. **И. Бороздин.**—С. Вельтман. Восток в художественной литературе. **Т. Гриц.**— М. Горький. О писателях. **Л. Якобсон.**— Проф. Л. Шюккинг. Социология литературного вкуса 255

Письмо в редакцию.

О Т П Е Ч А Т А Н О
в 1-й Образцовой типографии
Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.
Гл. № А-24580. П. 13. Гиз № 29132.
Заказ № 3143. Тираж 12500 экз.

Заговор равных.

(Роман).

Илья Эренбург.

Переписка с. Г. Дюбуа де Фоссе.

1787 год. Еще никто не думает о близкой буре, — ни Мария-Антуанетта, которая порой хмурит прелестный свой лоб над некоторыми финансовыми затруднениями — среди буколики Малого Трианона, среди коз, поклонников, париков, министров, — ни Максимилиан де Робеспьер, который в аррасском суде помпезно и неудачно обслуживает захолустных сутяг. В эти времена он еще роялист, роялисты еще мечтают о «Природной республике» нежного Жан-Жака, народ молчит, поэты пишут элегии, и доктор Жозеф Гильотин, не помышляя еще о бессмертном своем изобретении, ставит банки чересчур полнокровным клиентам.

Гракх Бабеф только что пришел домой.

Жена ждет:

— Достал?

— Нет, не достал...

В доме — ни су! Кредиторы грозят описью. Дети плачут, и жена Бабефа — терпеливая, как земля Пикардии — молчит, крепится, скудная земля! — эта простая и верная подруга, бывшая служанка графини де Домери, она варит чечевичный суп. Бабеф еще не «трибун народа» — он только мелкий землемер. Он даже не Гракх. Его зовут всего-на-всего «Франсуа». Правда, он читает энциклопедистов, но когда он приходит к богатым помещикам, они его не пускают дальше лакейской. Бабеф самолюбив. К тому же он еще не Гракх — он только Франсуа. И Бабеф краснеет от обиды.

Чем он занят? Архивы, справки, утерянные права, дарственные записи, спорные полосы, родословные... Феодалы Пикардии алчны и скупы. Франсуа Бабеф — агроном, дипломированный «комиссар поместий», чья контора находится в городишке Руа — должен зорко охранять их права: чечевица не дается даром.

Взгляните на квартал Сан-Жиль, где помещается эта далеко не пышная контора. Какая же нищета кругом! Деревянные домишки — все

на-бок. Соломенные крыши с прорехами. Внутри темь — окон нет, вместо окон дверь. Земляной пол: ямы, грязь, вонь. Нечистоты здесь же, в одной из ям. Со стен течет. На всю семью — одна комната и одна кровать. Свечи здесь роскошь, мясо — пиршество, сладкие оладьи — двунадесятый праздник. Плачут здесь только невесты на свадьбах, а прихорашиваются раз в жизни — умирая, когда кюре звенит дарохранительницей.

Пикардия или Артуа не знают ни солнца Прованса, ни лени, ни счастья. Здесь сугубо тяжела рука владетеля необъятных поместий. Нищета батрака или ремесленника здесь лишена южной живописности. Скоро подымется буря. Юг пошлет в Париж благородных мечтателей, сибаритов, мучеников и болтунов. Сыны сумрачного севера станут ревнителями равенства и друзьями гильотины. Это будут жестокие человеколюбцы, пуритане крови: Максимилиан Робеспьер, Леба, Жозеф Лебон. Это будет Гракх Бабеф, ныне ничтожный землемер. Не раз потом «трибун народа», чахлый и стойкий, среди приступов болезней, живя верой и пилюлями, вспомнит эти лачуги, смрад, все молчаливое горе квартала Сан-Жиль.

Вспомнит он и свое нерадостное детство: отца, бывшего майора в опале, который после воинских доблестей, боев, наград, после милостей австрийского императора и после собачьей жизни затравленного дезертира должен был на старости, ради нескольких су рыть рвы Сан-Кэнтена, как простой землекоп. В праздник отец надевал пышный мундир, который берег пуще своего глаза, шляпу, всю расшитую золотыми галунами. Он подвешивал огромную саблю. Он сидел и улыбался. Он был землекопом, но он считал себя знатным и богатым. Он был горд, как может быть горд только кастильский нищий. Это он учил маленького Франсуа: где здесь думать о школе? Он учил его латыни, математике, немецкому языку. Он учил его также в долгие вечера, когда не было ни чечевицы, ни свечи, но только линялые галуны и звезды, как можно мечтать и упорствовать. Да, многому научил «трибуна народа» этот старый чудак!

Вспомнит Бабеф и свою мать: день и ночь она ткала. У нее болели глаза от пряжи, а сердце — от жизни. Она показывала маленькому Франсуа старую квашню: «Вот это твоя колыбель»... Франсуа был хорошей нянькой: он смотрел за младшими братьями.

Потом он стал писцом у землемера. Хозяин кричал на мальчика, но хозяйке нравились его нежно-пепельные кудри, и она вплетала в них ленты. Перо маленького писца терпеливо скрипело.

Потом Франсуа стал большим. Теперь у самого Франсуа дети. Их надо кормить. «Достал?..» — «Нет, не достал...» Грустная жизнь в глухом городке, обыкновенная жизнь! Только фантазия и гордыня отличают его от других землемеров: покойный майор по ним узнал бы своего сына.

Да, не одной архивной пылью занят молодой Бабеф. Все свободное от работы время проводит он за чтением. Кто знает, что разжигает его бессонницы: благородные мечтания или только самолюбие одаренного бедняка? Он читает Мальби и Дидерота, но его любимый автор —

конечно же Жан-Жак Руссо. Он даже назвал своего сына Эмилем. Забываясь над нотариальными ведомостями, повторяет он длинные цитаты из «Общественного договора». Притом он не только читает, он много думает,— он кое-что уже надумал. Скоро своими мечтаниями испугает он всех высших магистров Французской республики. Пока что о них знает только секретарь Аррасской академии, г. Дюбуа де Фоссе.

Господин Дюбуа де Фоссе живет не в Руа, а в Аррасе. Но и в Аррасе жизнь скучна, все кругом говорят только о тяжбах, о маринадах, о подстреленных фазанах, о наглости мелких воришек. Г. Дюбуа де Фоссе любит философию, изящную словесность, Филантропические сны, стихи Парни и Дюси. Как и землемер из Руа, он любит великого женевца: ему не с кем здесь поговорить. Аррасская академия ставит на всеобщее обсуждение различные проблемы. Например: «Надлежит ли уменьшить число дорог в окрестностях Арраса, дабы расширить оставшиеся и обсадить их деревьями?» В Руа молодой фантазер рад любому случаю, чтобы высказаться да и выдвинуться. Бабеф пишет секретарю академии. Г. Дюбуа де Фоссе отвечает пространно, даже восторженно. Так затеяна переписка на годы: об экономике и о поэзии, о новом социальном устроении и об античных образах, чересчур грубых для нервов чувствительных дам.

— Какие еще вопросы достойны публичного внимания? — спрашивает г. Дюбуа де Фоссе.

Бабеф не колеблется. Он тотчас же пишет:

«Выяснить, каково будет устроение общества, в котором воцарится совершенная справедливость; земля не будет никому принадлежать, как народное достояние, и все будет общим, вплоть до продуктов различных ремесел...»

Г. Дюбуа де Фоссе хорошо знает философов своего века. Потом в Аррасе так скучно!.. Он не смущен любопытством загадочного корреспондента. Нет, охотно расписывает он фантастическую республику: все мужчины и женщины работают для государства, а государство их кормит (завтраки и обеды), вещи тоже никому не принадлежат, тюрьмы, конечно, уничтожены, полная свобода совести, — словом, рай на земле!

Бедный г. Дюбуа де Фоссе! Как беспечно, со многими другими, раздувает он костер, на котором суждено сгореть и сочинениям Руссо в шагреневых переплетах, и академии Арраса, и всей легкомысленной жизни этих ленивых мечтателей или остроумных простаков! Пройдет лет шесть-семь, в Аррас приедет Жозеф Лебон. Он тоже будет говорить о «новом обществе», скрепляя каждую фразу быстрым росчерком гильотины. Что скажет тогда гражданин Дюбуа де Фоссе?.. Впрочем, ученый секретарь не ясновидец.

Поболтав о новой республике, он быстро переходит к более реальным темам. Теперь он мечтает об едином законодательстве для всех провинций Франции: вот идеал! Но Бабеф возражает: «Разве уничтожат законы преступное неравенство? Останутся голодные и больные дети рядом с пресыщенным всем миллионером». Г. Дюбуа де Фоссе тогда пробует

уклониться от спора. Он пишет об исторических трудах г. Девиена и о стихах г. Опуа. Он увлекается магнетизмом и аэростатами. Он задает Бабефу глубоко философические вопросы: «Почему негры черные?». Он пишет об этом так же, как писал о республике равных: все вопросы хороши, если на них можно остроумно ответить. Корреспондент из Руа однако продолжает настаивать: «А равенство?..». Тогда г. Дюбуа де Фоссе хмурится: «Но ведь это только грезы просвещенных умов! Это прежде всего неосуществимо...».

Сейчас Бабеф ему ответит. Он грустен и молчалив. Он не достал сегодня денег. Что скажет булочник?..

Жена рассказывает:

— Ты знаешь, что случилось со вдовой Эрбо? Мне рассказала Луиза... Она сжала два снопа овса на господском поле. Ее за это приговорили к порке. А потом ее вышлют из Франции. Что же будет с детьми?..

Бабеф становится еще грустней. Он ничего не говорит жене. Он обдумывает ответ г. Дюбуа де Фоссе. Он забывает, что это праздная переписка, что секретарь академии благожелательно прочтет послание из Руа, усмехнется дерзкой мысли и спрячет листок в секретер: скучно в Аррасе!.. Сейчас Бабефу кажется, что это письмо способно переделать весь мир. Ему двадцать семь лет, но право же он наивен, как его маленький Эмиль. Он повторяет вслух:

— Надо, чтобы с королей слетели короны!..

Тогда жена испуганно всплескивает руками:

— Что ты говоришь, Франсуа?..

Она хорошо помнит виселицу на главной площади. Это был несчастный кожевник. Он как-то сказал в кабаке, выпив лишнюю рюмку: «Можно сдохнуть от этих налогов! С кого дерут — с богачей? С нас! За соль — плати. За вино — плати. Вот подождите, мы с вами расквитаемся!..». Он висел маленький, черный, худой, как птица. «Корона»... «Короли»... Разве можно говорить такие слова?..

Бабеф усмехается. Он встает. Глаза его горят жестким, унылым огнем. Он говорит сбивчиво, запинаясь, но с таким жаром, как будто перед ним не перепуганная жена, а народ всех провинций королевства:

— Пусть!.. Значит так надо... Когда отец умирал, он позвал меня. Он сказал: «Всю жизнь я читал Плутарха. Эту книгу я тебе завещаю. Я читал ее в горе и в радости. Выбери среди мужей древности достойного подражания. Много великих. Но не забывай о народе... Сердце подскажет тебе путь. Все достойны. Я хочу однако, чтобы ты пошел по стопам одного. Это — Кай Гракх. Он погиб, но он не изменил. Нет выше удела, чем такая смерть. Это смерть за всеобщее благоденствие. Поклянись мне на этой шпаге, что ты не отступишь, не предашь народа... Я поклялся...

Голос Бабефа глух, в нем горе и страсть. Скорей всего померещились ему и напутствия майора, и Плутарх среди агонии, и клятва на шпаге. Таков человек: то, что он сказал, тотчас же становится правдой. Если не дал он вязкой клятвы отцу, он дает ее сейчас, дает себе, и он не изменит.

Он вытирает лоб. Немного успокоившись, он снова садится за стол. Перо торопливо скачет. Он пишет г. Дюбуа де Фоссе: «Для того, чтобы этого достигнуть, нужны великие потрясения и великая революция...».

Сквозь решетку.

«Бастилия пала!..»

Шум дошел до комнаты Бабефа. Он заставил его выбежать на улицу. Не только его — в этот вечер весь Руа был на улицах. Старики подозрительно оглядывались: где же господин комендант королевских драгунов?.. Молодые люди громко смеялись. Они даже кричали: «Да здравствует нация!» — как будто Руа — это Париж, — пугая криками кур и старушек. Куры презабавно взлетали, а старушки, те плакали.

Бедняки квартала Сан-Жиль любили Бабефа. Правда, они не читали его писем г. Дюбуа де Фоссе, но они хорошо знали: Бабеф наш, Бабеф не выдаст. Когда он вышел из дому, тотчас же окружили его соседи. Они улыбались блаженно и бездумно, как пьяные. Один (это был Леден, рыжий сыровар) обнял Бабефа:

— Бастилия пала!

Тогда слезы показались на глазах Бабефа: то, о чем писал он скептическому секретарю Аррасской академии, начинало сбываться.

У Бабефа теперь одна мысль: в Париж! С трудом одалживает он несколько монет на дорогу. Его провожают завистливые и сострадательные взоры обитателей Руа: «Куда он едет? В Париж? Но ведь в Париже революция! Лучше бы переждать месяц-другой»... Да, в Руа все уверены, что к осени революция кончится: Бастилия уже взята, Неккер в отставке, добрый король уменьшит налоги, и тогда все образуется.

Бабеф умеет думать, и, когда он садится в дилижанс, его охватывает волнение: позади мирная жизнь, бедная, грустная, но мирная — жена, дети, книги, проекты «Истории Пикардии», кровать, стол. А что впереди?.. Париж, революция, история...

Бабеф приехал в знойный июльский вечер. На улицах толпились встревоженные люди. Все читали листки, кричали, спорили с друзьями, с прохожими, даже со стенами. Все хотели наговориться всласть после многих лет молчания. Бабеф остановился в гостинице возле площади Грев. На дверях было написано: «Дают ночлег конным и пешим». Он хотел уснуть, но не мог. Внизу пили вино и пели, пели новые страшные песни, пели на мотив церковных литаний: «Месть преступникам! Месть притеснителям!..». Было черно и душно. Потом разразилась гроза. Но даже она не могла разогнать народа. Удары грома перемежались с грохотом и с заунывным ревом: «Месть!..».

Эта ночь была последней человеческой ночью перед годами суматохи, пафоса, ненависти, героизма и позы, последней ночью мечтателя, землемера, мужа, отца, Франсуа Бабефа. Все завертелось вплоть до имен. Для начала он стал «Камиллом»: добродетели Рима были в моде. «Камилл» — чтò может быть лучше для идеи гражданского согласия? Много трудней

было выбрать профессию. Уничтожив феодальные привилегии, революция, конечно, осчастливила патриота Бабефа, но дипломированный «комиссар поместий» оказался не у дел. Впрочем, Бабеф не унывал. Он все перепробовал. Кто же в такие времена занимается своим делом? Разве что землепашцы и палачи. Мясник Лежандр стал Солоном; епископ Гобель— вождем безбожников, а принц Орлеанский — яростным республиканцем.

Совместно с некиим Одифером, Бабеф берет патент на новое изобретение: «тригонометрический графометр». Не удалось? Что же, он становится памфлетистом. Граф Мирабо злит Бабефа: он слишком велеречиво говорит. Как все наивные люди, Бабеф неожиданно подозрителен. Он выпускает брошюру против героя дня. Это гражданский долг и это профессия — должен же человек чем-нибудь зарабатывать хлеб! Но, увы, памфлет не продается. Слишком уж много памфлетов, — парижане объелись ими. Типографу пришлось, конечно, уплатить. Мирабо уцелел, а долги Бабефа возросли. Впрочем, что касается Мирабо, ненависть Бабефа быстро погасла. Проходит месяц-другой, и памфлетист просит аудиенции у графа: провинциалу нужна поддержка!

Бабеф пишет книгу: «Вечный кадастр». В ней немало дерзких планов. Книга однако не продается. А в Руа семья. Денег нет. Вот Бабеф с трудом перехватил золотой. Он тотчас же шлет жене шесть франков. Среди памфлетов, планов, графометров, газет он не перестает думать о своих детях. Он пишет сыну: «Здравствуй, мой маленький товарищ! Я тебе купил палку. Очень красивую. Ты будешь мне ее иногда давать? Если б ты знал, какая она красивая! Вот погляди...». И гражданин Камилл пробует нарисовать палочку; выходит, увы, кочерга. Он подписывается: «Твой бродяга-отец Бабеф». Он вспоминает в письме жене все те нежные прозвища, которыми они обменивались с сыном: «бродяжка», «товарищ», «босячок», «чертяга», «приятель».

Но даже самые нежные слова — не хлеб. Наконец-то находит он занятие: он составляет письма для г. де Тура. Он шлет жене деньги. Он покупает ей подарок за сорок восемь су — «патриотическую табакерку». Но г. де Тур вскоре расстается с Бабефом. Хоть ученые хвалят «Кадастр», книга все же не продается. Это первый год революции — время быстрых восхождений еще не настало. После трех месяцев парижской лихорадки, скрепя сердце, Бабеф возвращается в Руа.

Конечно, Руа не Париж, и пылкому гражданину Камиллу здесь куда легче выдвинуться. Он начинает с налогов на соль и на напитки. «Эти налоги бьют по бедноте; они противны идее гражданского равенства». Бабеф выпускает листовку. Повсюду обличает он муниципальные власти— на улицах, в кабачках, в лачугах Сан-Жиля. Население волнуется: налоги ему ненавистней Бастилии. Революция готова стать личным делом каждого. На заседаниях муниципалитета речь теперь идет об одном: как бы убрать Бабефа... Особенно старается мэр города г. Лонгекан. Он шепчет в церкви влиятельным прихожанам: «Этот Бабеф опасен. Он может всех перекусать, как бешеная собака». Мэр, что ни день, пишет в Париж,

Доносы растут. Так Бабеф впервые знакомится с тюремными нарами. Его везут в Париж. Он в тюрьме Консьержери. Кто вступится за Бабефа? Бедняки из квартала Сан-Жиль? Но они ведь не умеют даже писать. Г. Лонгекан облегченно вздыхает: «Пусть похлебает баланду!.. Из тюрьмы не так-то легко выйти».

Г. Лонгекан забывает об одном: в Париже как никак революция. В Париже живет г. Марат. Каждый номер «Друга народа» — приговор, хоть г. Марат и прячется от полиции. Бабеф просидел два месяца. В «Друге народа» Марат потребовал освобождения пикардского патриота, и Бабефа тотчас же выпустили. Возвратясь в Руа, он больше не колебался, какую бы профессию выбрать. Вот что значит газета!.. Надо здесь, в Пикардии, охранять революцию, как охраняет ее в Париже этот гражданин Марат!

В соседнем городке, в Нуайоне, жил типограф Девен. Он глубоко уважал Бабефа. Охотно согласился он издавать еженедельную газету «Пикардский корреспондент». Там печатались постановления Национального собрания, анонсы, а также философские статьи Бабефа, в которых тот беседовал с тенью Ликурга. Крохотный листок, полный провинциальной риторики и перепечаток. Но г. Лонгекан, читая его, багровел от злобы: «Какая наглость!». Грамотеи читали газету вслух во всех кабачках Сан-Жиля. Как жадно их слушали! Ведь это была первая свободная газета. Бабеф продолжал обличать налоговую систему; он высмеивал чванство пикардской знати и самодурство местных администраторов. Среди абстрактных размышлений не забывал он об окрестной нужде. При газете открылось «бюро консультаций». Все обиженные шли к Бабефу за советом.

Теперь г. Лонгекан обвинял Бабефа в призывах к грабежу: ведь Бабеф за «аграрный закон», он за раздел земель. Г. Лонгекан снова добился приказа об аресте. На этот раз Бабеф ознакомился с другой тюрьмой Парижа — с Шатле.

Он просидел больше месяца. Он вернулся в Руа, и он, разумеется, не остепенился. Квартал Сан-Жиль выбрал его в коммунальный совет, но г. Лонгекану удалось отменить выборы: оказывается, освобождение Бабефа было условным, и он не может занимать выборных должностей.

Бабеф продолжал бороться. Городок роптал. Пришлось вызвать две сотни драгунов. Народ кричал: «Долой привилегии! Да здравствует нация!..». Народ шел за Бабефом.

Господин Лонгекан снова арестовывает Бабефа. Но времена не те — трудно приходится мэру. В чем обвинить бы Бабефа?.. Он ничего не может надумать. Бабефа выпускают. Бабеф теперь уж освоился с революцией: он привык к неожиданным арестам и к столь же неожиданной свободе. В тюрьме он — как дома.

Руа — захолустье, и когда Бабефа привозят в Шатле, парижане презрительно косятся на наивного провинциала: «Налоги на соль — подумаешь!.. Две сотни кавалеристов»... Но у Бабефа хорошее зрение: он видит далеко. Когда вся Франция еще восхищается народолюбием короля,

Бабеф уже стоит за республику. Когда всем кажется, что суть революции в свободе совести или слова, он восклицает: «Мало свергнуть королей — это еще не равенство. Надо обеспечить всем равное образование и право на труд!». Бабеф открыто выступает за раздел земель. Когда избирательная урна мнится священным алтарем, Бабеф посмеивается: революцию делают не подсчетом голосов, но разумом, гражданским мужеством и бескорыстием.

Бабеф хорошо предвидит будущее в том, что окрест он не умеет разбираться. Он отнюдь не политик. Он иногда философ, иногда пророк; подобно всем людям, которые обживают историю, как дом, он страдает дальнозоркостью. Г. Лонгекан или муниципалитет Руа в его глазах становятся врагами Франции. Все силы кладет он на борьбу с этими унылыми провинциалами, которые преданы ломберному сукну или анисовой настойке.

Выбранный наконец-то на пост администратора департамента Соммы, он работает, не покладая рук. Враги смелеют, и, что ни шаг, Бабеф наталкивается на противодействие. Революция переживает смутные часы, она уже расточила все братские поцелуи и она еще не решается перейти к гильотине. На Бабефа наседают. Его подозрительность растет. Его наивность не исчезает. Он открывает заговор: контрреволюционеры хотят сдать «союзникам» Перонну. Он борется с голодом: роялисты создают искусственно голод. Повсюду враги! Повсюду заговоры!

Бабеф порой патетичен, порой смешон. Весь город говорит о том, как гражданин Камилл объявил войну бродячей группе актеров. Оказывается, они играли «Французского героя» и «Постоялый двор». Это ведь роялистические пьесы! Бабеф возмущен. Он кричит актерам: «Во имя нового быта, во имя нового воспитания, я протестую! Я обвиняю вас! Я призываю в свидетели весь зрительный зал!».

Однако враги Бабефа хорошо знают, что голова его занята не комедиями. Раздел земель, борьба с роскошью, идея равенства, — вот о чем думает чересчур ревностный администратор. Врагов у Бабефа много. Они сильны. Его переводят из Амьена в Мондидье. Он и там не унимается. В Париже он был бы одним из ораторов клуба якобинцев, может быть судьей, журналистом или же комиссаром, там он был бы на своем месте. В тихом городишке Пикардии он становится пугалом: ведь он с ног до головы переполнен революцией. Он только и думает, что о ней. Его сын хворает корью. Он пишет сыну: «Тебе лучше? Да здравствует республика! Твой папа». Это не поза глупого комедианта, это бред одержимого. Узнав о казни Людовика, в Мондидье и в Руа люди крестятся, пугливо озираются, плачут. Не то, чтобы они очень любили покойного Капета, нет, они его вовсе не любили. Но как же можно отрезать голову королю?.. Среди пугливого шопота раздается голос Бабефа: «Браво, Париж! Смерть тирану!». Бабеф протестует против попустительства властей, которые до сих пор не конфисковали земель эмигрантов. Бабеф сжигает на костре дворянские гербы и королевские изображения.

Ряды врагов полнятся. Во главе их все тот же г. Лонгекан. Они только ждут, к чему бы придраться. Ведь нельзя же теперь арестовать человека за республиканские идеи. Враги следят за каждым шагом Бабефа. Он попрежнему беден. Его нельзя обвинить ни во взяточничестве, ни в хищениях. Как же избавиться от этого неугомонного патриота?..

Бабеф сам пришел на помощь своим врагам. Он был доверчив и неосторожен. Он умел разбираться в судьбах республики, но не в канцелярских порядках. Однажды к нему пришел судья Делиля и попросил засвидетельствовать акт продажи фермы Фонтэн. На торгах он купил ферму за семьдесят шесть тысяч и тотчас же уступил ее гражданину Левавассеру. Теперь дело с Левавассером не выходит, ферму берет некто Леклерк. Нужны подписи Бабефа и другого администратора Жодуаня. Оба тотчас же расписались. Не прошло и двух часов, как г. Лонгекан торжественно объявил, что Бабеф и Жодуань виновны в подлоге. Заподозренные немедленно изложили сущность дела. Но управление округа отрешило Бабефа от занимаемой им должности. Дело было передано прокурору Мондидье.

Бабеф едет в Париж, чтобы там оправдаться. Он просит об одном: «Судите меня в Париже!». Он ведь не сомневается в приговоре пикардских судей. Но в Париже ему говорят: «Оставайтесь здесь, переждите»...

Бабеф остался в Париже. Суд в Амьене факт подкупа отверг — он оправдал и Делиля, и прочих. Бабефа однако заочно приговорили к двадцати годам тюрьмы: в Амьене хорошо помнили горячего администратора. Господин Лонгекан, бывший королевский прокурор, а теперь, разумеется, патриот и республиканец, наконец-то расквитался с Бабефом. Он не только прогнал его из Пикардии, он очернил его перед всеми: «Глядите, этот апостол равенства способен на самый банальный подлог — и все ради денег! Теперь он скрылся. Он кутит в Париже...».

На самом деле Бабеф в Париже голодает. Затравленный, одинокий, тщетно ищет он какую-либо работу. Наконец, гражданин Фурнье предлагает ему составить несколько писем. Бабеф сообщает жене: «Они обвиняют меня в подобной низости!.. Они говорят, что я продался. Пусть они придут полюбоваться на свою работу. Мои дети плачут — у них нет хлеба... Дорогая моя подруга, старайся спасти их! Еще несколько дней!.. Завтра я получу толику денег от гражданина Фурнье, и я тотчас же отошлю их тебе»... Но видно не много платил Фурнье за переписку. Вот стучат в дверь. У жены Бабефа опускаются руки: кредиторы! Булочник Данже требует тридцать ливров за хлеб, Клавье-ресторатор за обеды, которые он отпустил ее мужу, хочет двадцать шесть ливров четыре су. Обстановка Бабефов описана: «кровать, два плохих матраца, один с шерстью низкого качества, другой с конским волосом; стол, маленький секретер, крашеный, с ящиками; шесть стульев, крытых темной соломой; теплое одеяло; фиолетовая занавеска из простой ткани». Вот и все. Жена Бабефа с детьми едет в Париж: умирать — так вместе...

Помог Бабефу поэт, насмешник и чудак Сильвен Марешаль, маленькое, черное существо, заика, больной, — словом — человек, всячески

обиженный природой и тем не менее в природу влюбленный, правда — в условную поэтическую природу а ля Жан-Жак Руссо. До революции он писал легкомысленные элегии, восторгался любовью пастушек и обличал коварство тиранов, за что и познакомился с тюрьмой Сан-Лазар. Он был заправским богохульником, первым изобретателем республиканского календаря, грозой всех кюре. Он выдумывал новые системы социального распорядка, предлагал всеобщее упрощение и мировую забастовку; а любил он предпочтительно акростихи, бабочек и большие семьи. Когда Бабеф с ним встретился, Марешаль редактировал газету: «Парижские революции». Он дал Бабефу работу. Бабеф мог бы теперь спокойно пожить, отдохнуть. Он требовал однако пересмотра своего дела. Как всегда, он был прям и шумен. Вскоре по требованию прокурора Мондидье его арестовали.

Марешаль достаточно влиятелен, чтобы притти на помощь своему новому другу. Он предлагает парижской полиции затребовать данные процесса. Прокурор Мондидье, разумеется, молчит. Тогда Бабефа выпускают на поруки. Но что ему свобода? Он уже не может жить вне диспутов, вне законопроектов, вне общественной суеты. Он хочет быть восстановленным в своих правах. Его назначают продовольственным администратором Парижа. Но г. Лонгекан трудился недаром: клевета жива. Хоть и заочно, Бабеф осужден. Не может же министр юстиции даже самого наиреволюционного правительства пройти мимо судебного приговора! Министр заявляет: «Если гражданин Бабеф осужден, он должен находиться в тюрьме. На этот раз Бабеф не ждет приказа об аресте. Он сам направляется в тюрьму. Оттуда он пишет длинное послание. Он разоблачает клеветников. В который раз должен он снова думать о проклятой ферме, которую Делиля отдал не Левавассеру, а Леклерку! По рукам связан он хитрыми измышлениями.

Кругом происходят необычайные события. Республика побеждает при Жемаппе. Она разбивает врагов. Конвент провозглашает Декларацию прав. На площади Революции строят гильотину, и мясник Лежандр смеется: «Здесь мы будем чеканить новую монету». Аристократка убивает «Друга народа». Народ плачет. Народ танцует возле эшафота. Вот уже пали головы Шомета, Клотса, Геберта... Дантон? Дантон молчит. Наступает знойное лето. Кругом люди борются, умирают, а он, Бабеф, должен думать о ферме Фонтэн!..

Наконец—просвет: заслушав рапорт о суде над Бабефом, Конвент отменяет приговор. Дело переходит в суд департамента Эны, а Бабефа отправляют в тюрьму Лана. Вопрос о жалобе какого-то осужденного патриота проходит незамеченным: «Дурак, он должен быть счастлив! Его обвиняют в подлоге? Да, если бы он был на свободе, его обвинили бы в контрреволюции»... Гильотина работает без передышки. Всего несколько дней тому назад Париж ахнул, увидев в руке палача огромную голову Дантона. Какое кому дело до фермы Фонтэн и до друга сан-жильских бедняков?.. Идет крупная игра: «Неподкупный» борется с изменниками.

«Трибун народа».

Бабефа освободили 30 мессидора. Трибунал департамента Эны не нашел состава преступления. Бабеф хотел тотчас же ехать в Париж. Задержала его болезнь сына. Таким образом 9 термидора он был в Лане. Как вся Франция, узнав о падении Робеспьера, он воскликнул: «Кромвель погиб! Революция продолжается!..». Он слишком долго дышал тяжелым воздухом тюремных камер, чтобы не обрадоваться речам о свободе.

Бабеф приезжает в Париж. Он начинает понемногу осматриваться. Он еще верит и Фуше и Тальену, но все чаще на его лице тревога, брезгливость, негодование.

Бабеф пишет памфлет против нантского изувера Карье. Этот «патриот» топил в Луаре невинных. Термидорианцы рукоплещут Бабефу, и Бабеф недоверчиво оглядывается: кто его новые друзья?.. Уж не аристократы ли?.. Он продолжает: «Во многом однако Робеспьер был прав...». Здесь те, что аплодировали, возмущенно кричат: «Прав? Этот тиран? Прав Кромвель?..».

Да, прав! Робеспьер хотел равенства. Кто боролся с преступной роскошью? «Неподкупный». Он знал, что опора революции — работники и землепашцы. Он положил начало новому законодательству, он пытался уничтожить бесполезное богатство и уродливую нищету.

Так происходит разрыв между термидорианцами и Бабефом. Начинается борьба. Бабеф выпускает газету «Свобода печати». Он открывает «Клуб избирателей». Там обсуждаются социальные законопроекты и вырабатываются петиции Конвенту.

Реакция в стране растет.

Бабеф меняет тон, и он меняет имена. Его газета теперь будет называться «Трибун народа». Это понятней! Он больше не Камилл: ведь Камилл хотел мира между патрициями и плебеями. Нет, он теперь «Гракх»— неистовый и непримиримый. После долгих лет прозябания, провинциальных интриг, борьбы с мэром Руа, после вынужденного бездействия на подмостки революции выходит новый актер. Герои давно гниют на кладбище Пикпюса. Трагедию доигрывают жалкие дублеры: вместо Дантона витийствует Тальен, и бездарный Фрерон повторяет тирады Демулена. Устали и актеры, и зрители. Но Гракх Бабеф полон огня. Для него революция только начинается. Он изумляет Париж душевным жаром, еще нерастраченным в братоубийственной войне. Его имя, доселе известное только обителям Руа, да еще, пожалуй, тюремщикам десяти тюрем, сразу становится громким.

Тальен пробует приручить этого неистового Гракха, но тщетно. Бабеф отвечает: «Робеспьер несправедливо вами очернен». «Трибун народа» говорит: «Всеобщее благоденствие — не слова. Оно должно стать жизнью». И весь Париж читает газету Бабефа. Вот толпа франтоватых юношей. Они щеголяют длинными локонами и лорнетами. С ними дамы в белых париках: диковинная прическа, волосы собраны в чуб.

Это новая мода: в память казненных. Красотки подражают тем, кто шел на гильотину. Теперь это не опасно. Юноши читают листок. Что это? Да «Трибун народа»! Они негодуют:

— Хвост Робеспьера! Гнездо якобинцев! О чем думает Конвент? Смерть Бабефу!

На набережной Сан-Огюстэн рабочие читают тот же листок:

— Браво, Бабеф! Хватай их за гриву!..

Рабочие ропщут. Цены растут, а хозяева уменьшают поденные. Бабеф правильно пишет: «Как же гражданин может жить на сто су?».

Имя Бабефа у всех на устах. Термидорианцы испуганы. Не проходит и трех месяцев после речей о свободе, как на трибуну Конвента подымается депутат Мерлен: «Некто Бабеф, приговоренный к тюрьме, осмелился поносит Конвент. Комитет общественного спасения постановил арестовать Бабефа».

Острог и орден.

Ничто не могло теперь смирить Бабефа. На первом же допросе он ответил: — Имя? — Гракх. — Возраст? — Тридцать четыре года.—Профессия? — Трибун народа. Слов нет, сын эпохи, когда любой базар превращался в «форум», он был падок на громкие слова. Но он не лгал: вести за собой народ стало для него профессией, а с такой профессией, разумеется, труднее расстаться, нежели с вывеской уездного землемера.

Термидорианцы думали похоронить Бабефа в тюрьме. Его отослали подальше от парижских предместий: в Аррас. Что же, тюремная камера стала генеральным штабом. Правда, он хворал: головные боли, сердечные припадки, ревматизм. Но он был бодр, даже весел. Привыкший к острожной жизни, он не отчаивался: клочок неба, прогулка по земляному полу длинной камеры, вечером песни, или же страстные споры — как все это ему знакомо!.. Он, кажется, вовсе забыл лесок возле Руа, куда уходил по праздникам с женой и сыном. Во всех писаниях исповедывал он страстную любовь к природе: город изуродовал и развратил людей. Но он никогда не жил глаз-на-глаз со столь вожделенной природой. Лачуги Сан-Жиля, десятки различных тюрем, тесные каморки, где приходилось прятаться от полиции, — вот его жизнь.

Пока Бабеф сидел в аррасской тюрьме «Боде», на стенах Парижа появились анонимные прокламации. В них парижане оповещались об аресте злоумышленника, самовольно называющего себя «Гракхом», который осужден трибуналом к двадцати годам тюрьмы за подлог. Прокламацию составил Фрерон. Он хорошо знал, что Бабеф невиновен, что приговор амьенского суда давно аннулирован, но он надеялся очернить «Трибуна народа». На беду он проболтался: «Бабеф арестован за призыв к восстанию и к насильственному роспуску Конвента...». Честность Бабефа была известна всем. Парижанам оставалось только посмеиваться над наглостью Фрерона, который теперь прокучивал во всех притонах «Палэ-Эгалитэ» тулонские контрибуции.

А Бабеф работал. Он ухитрился составить в тюрьме очередной номер газеты. Он написал «Послание Трибуна народа гражданам Сан-Антуана и всем санкюлотам Парижа». Иногда силы оставляли его: он падал на нары без чувств. Как-то пришел к нему неизвестный гражданин:

— Я — офицер здоровья.

Бабеф приготовился к допросу, но неизвестный гражданин взял его руку и начал щупать пульс. «Доктор?» Бабеф расхохотался. Они не сумели ничего изменить, зато они придумали уйму новых названий! Лакеи теперь называются «доверенными лицами», сыщики — «агентами власти», палачи — «исполнителями высоких приговоров».

— Значит вы «офицер здоровья»? Ах, шутники!..

Доктор, будучи человеком осторожным, ничего не ответил. Он прописал Бабефу бальзам и пилюли.

В тюрьме было тесно и весело. Кто только тогда не сидел в тюрьмах: воришки, патриоты, убийцы, священники из тех, что не помирились с республиканской властью, проститутки, роялисты, граждане чересчур умеренные и чересчур крайние, якобинцы, журналисты, фальшивомонетчики, шуаны, помещики, санкюлоты. Все это были такие же люди, как и те, что гуляли на воле; вернее всего сказать, что в тюрьме сидели неудачники.

Бабеф тотчас же начинает спорить, убеждать, подбирать единомышленников. С ним вместе привезли из Парижа гражданина Лебуа, редактора газеты «Равенство». Но Лебуа недостаточно пылок. Он стоит за выжидание. Нельзя без конца устраивать перевороты. Народ устал. Лебуа уверяет, что беда не в Фрероне, не в Тальене, нет, она в ограниченности человеческих сил: 93-й год не может повторяться ежегодно. Надо работать, надо постепенно проводить в жизнь высокие принципы революции. Бабеф усмехается: ждать? Ждать, пока скрытые роялисты не истребят всех патриотов? Ждать, пока бедняки не вымрут с голоду? Нет, ждать преступно!

Итак, Лебуа не подходит. Тем паче — он бабник. В письме товарищу он по ошибке пишет вместо «дорогой» — «дорогая». Видно, он приучен к любовным посланиям. На таких людей трудно положиться. Патриоты должны забыть обо всем, кроме борьбы за равенство.

Бабеф находит верного ученика, преданного друга, единомышленника. Это молодой гусар из Нарбоны. Ему всего двадцать четыре года. Он полон боевого задора. Зовут его Шарлем Жерменом. Это настоящий патриот. Он хоть молод и недурен собой, но думает не о женских сердцах, а о героях, воспетых Плутархом. Он сидит в другой аррасской тюрьме «Провиданс». Оттуда он присылает элегию, обращенную «ко всем товарищам по несчастью»: «Опять коварство на земле царит. Так из отечества был изгнан Аристид, повержен Кассий, и Ликург сражен. Так под кинжалом падает Катон...». Стихи, правда, плохие, но ни перечень римских и греческих героев, ни хромающий кой-где размер Бабефа не смущают. Ведь сам Бабеф пишет: «Дети Вулкана! Коварные пигмеи, рыскающие

в Лемносе!..» — это жаргон эпохи. Зато пылкость молодого гусара нравится Гракху. Он шлет приветственное письмо из одной тюрьмы в другую. Дочка тюремщика служит за почтальона. Жермен тотчас же отвечает: «Дорогой Гракх! Свобода не может погибнуть. Демократы должны объединиться. Я тебя обнимаю по-санкюлотски». Так начинается оживленная переписка между двумя патриотами, обреченными на бездействие.

Шарль Жермен не был ни философом, ни пророком, он был горячим, вспыльчивым и, пожалуй, чересчур одаренным для тех времен юношей. Он был притом южанином — быстрым на слово, неусидчивым, красноречивым. Говорил он замечательно, так что тюремщики и те развешивали уши. Он мог бы стать первосортным адвокатом, но его родители были бедны, и школы он не кончил. Он стал гусаром. Под республиканским флагом он дрался с австрийцами, читал итальянским санкюлотам «Декларацию прав», хвалил Робеспьера, гонялся за трофеями и выслужился в лейтенанты.

Как-то в одном из клубов он произнес чересчур зажигательную речь. Женщины в умилении обнимали его. Но времена были уж не те: на дворе стоял фруктидор, а фруктидор, как известно, следует за термидором. Красноречивому лейтенанту пришлось выйти в отставку. Он приехал конечно, в Париж: туда приезжали все провинциалы, жаждавшие славы, признания или же спасения республики. Горячий нрав и здесь подвел его. Как-то попал он в Конвент. Говорил Тальен, говорил вкрадчиво и льстиво, стараясь влюбить в себя возвращенных жирондистов. Рядом с Жерменом сидел франтик. Сразу было видно — шуан. Вот этот франтик крикнул: «Пока не раздавят хвост Робеспьера, Франция не получит покоя!». Жермен цыкнул: «Тише, аристократ!». Тот ответил: «Теперь тебе не 93-й год!». Тогда Жермен вышел из себя. Он начал вопить: «Да здравствует 93-й! Вечная память Максимилиану!». Арестовали обоих. Шуана, того сразу выпустили, а Жермена отправили в Аррас. Там он мог с утра до ночи читать Плутарха и писать элегии. Легко догадаться, сколь обрадовался он письмам Бабефа. Не прошло и недели, как он уже торопил Гракха: «Веди нас, трибун!..».

Друзья обмениваются не коротенькими цидульками, но объемистыми трактатами. Впервые Бабеф подробно и стройно излагает свою критику существующего распорядка. Его возмущают не детали, не низость того или иного термидорианца, даже не Конвент. Нет, он теперь смотрит глубже. Он пишет Жермену: «Надо отменить варварский закон капитала». Так рождаются первые проекты нового общества, основанного на равенстве. Пора действовать: «Мы довольно болтали!». Его послания, горячие и сухие, сводят с ума Жермена. Молодой гусар отвечает впопыхах. Сердце бьется, рука не успевает вывести слова: «Я готов, слышишь, я готов! Я уже говорил здесь с тремя надежными патриотами. Они все согласны войти в наш орден святого Равенства».

Жермен чист сердцем, и он страстен. Идеи Бабефа для него не политическая программа, это — откровение. Он волнуется — готов ли он,

Шарль Жермен, к столь высокому посвящению? Он вспоминает дни террора. Он видит перед собой кровь. Невольно он вздрагивает. Уныние тогда сменяет недавнюю приподнятость. Нужно ли это?.. Хочет ли народ столько крови? Но в двадцать четыре года сомненья длятся не долго. Вот он снова улыбается. Он рассказывает Бабефу о своей душевной борьбе, конечно, ссылаясь при этом на мужей древности: «Ведь Брут перед тем, как пронзить кинжалом Цезаря, испытывал томление, смутное и неопределенное»... Он даже радуется бессоннице, тревоге, раздору: «Это душа в последнем брожении крепнет, чтобы вырваться, наконец, из мира условностей». К политическим битвам Жермен готовится, как готовились первые христиане к мученическому концу: с бездумными глазами и с блуждающей улыбкой. Этот человек сейчас воистину счастлив. Он шутит, пишет стихотворные пародии, — словом, всячески развлекает товарищей. Он и Бабефу советует: «Будем веселиться — это ведь бесит тиранов».

Но не так-то легко веселиться Бабефу. Бабеф не новичок. Он всего на десять лет старше Жермена, однако десять лет теперь — это полвека до революции. Он видел изнанку истории. Его сомненья и проще, и тяжелей. В одном из писем он признается: «Нет у нас, к несчастью, волшебной палочки, дабы превратить прошлое в прах и вызвать из-под земли все потребное для нового общества Равных... Надо действовать! Наладить связь с Парижем, с патриотами Арраса. Остерегайся только шпионов. Подбери крепкое ядро». Гусар не мешкает. Гусар отвечает: «Сомневаться — значит уступить. Чорт побери! Идет! Я готов. Я жду только твоего слова, сигнала, чтобы начать...».

Пять часов утра. Косой луч солнца ударил в лицо Жермену. Гусар приоткрывает глаза. Он сладко потягивается. Ни храп соседей, ни тяжелый воздух камеры его не огорчает. Он молод — и он улыбается солнцу. Он достает из-под сенника книжку. Что же он читает с таким увлечением? Английский роман? Или «Альманах муз»? Нет, это сочинения Гельвециуса: «Надо прежде всего уничтожить деньги. В странах, изобилующих золотом и роскошью, народы заведомо злосчастны. Деньги награждают только порок и преступление». И Жермен улыбается книге, улыбается своей мечте, выдуманной Франции, которая подобна Спарте. Пять часов утра. Двадцать четыре года. Такова первая любовь гусара из Нарбоны.

В остроги Арраса шлют арестованных патриотов. Они угрюмо озираются. Перед ними еще пыль, кровь и шумливая суета превиальских дней. Они рассказывают Бабефу:

— Патриоты требовали подлинного равенства...

— В Париже каждый день несколько граждан умирало от голода...

— Ты знаешь, кто усмирял квартал Антуан? Предатель Тальен. Он потребовал сдачи всего оружия. Генерал Мену навел пушки. Тальен объявил: «Я даю вам один час на размышленья. Если — нет, вас образумят ядра». Теперь все работники обезоружены... Арестовано десять тысяч патриотов.

Один из арестованных рассказывает о смерти депутатов Конвента, примкнувших к повстанцам:

— Их судили и приговорили к гильотине. Шестерых. Среди них Гужона, Ромма, Субрани. Но они не дались живьем в руки новых тиранов. Гужон еще за несколько недель до «прериаля», встретив знакомого хирурга, сказал: «Укажи мне в точности, где находится сердце, чтоб я не ошибся, если равенству суждено погибнуть». Он не ошибся. Тогда кинжал взял из его похолодевшей руки Ромм, и Ромм громко крикнул: «Мой последний вздох за угнетенных!». Все шестеро — одним кинжалом...

Здесь Бабеф отворачивается. Он уходит в темный угол. Вот уже ночь. Проверка. Засыпают заключенные. Бабеф не спит. Он видит перед собой шестерых. «Где сердце?.. Чтобы не ошибиться... Как болит здесь... Что это? Снова сердечный припадок?.. Пилюли не помогают. Сердце бьется, ноет. Какое томление! Может быть, вскоре и ему, Бабефу, предстоит поднять с земли этот кинжал...».

Так проходит ночь среди сердцебиения и тоски, огромная черная ночь — кто через нее переступит?..

Утром он овладевает собой. Письмо в Париж. Записка от Жермена. Разговор с новым патриотом. Он снова работает. Проходят недели, месяцы. Однажды передают ему письмо от жены — горестное, полуграмотное и нестерпимо нежное: умерла дочка, умерла от голода; выдавали всего две унции, а прикупать — не было денег... Еще глубже западают глаза Бабефа. Еще жестче и горше становится его голос. Он пишет «Послание к дьявольской армии». Все патриоты Арраса теперь связаны с ним. В городе готов вспыхнуть бунт. Власти колеблются: уж не перевести ли Бабефа в Париж? Он повсюду опасен — на воле, в тюрьме, в столице, в глухом городишке. Кажется, только в могиле успокоится этот человек.

А ночи длинны — и ночи жестоки: детский гроб, голодная семья, недуги, слабость, измены патриотов. В горле Бабефа слезы, мужские, одинокие, непоправимые слезы. Но нет, не думайте, что он сдался! Товарищ спрашивает:

— Ты приуныл, Гракх?

С Фуше.

После сложных интриг и сговоров Баррас, Карно со своим сподручным Летурнером, желчный горбун Леревильер — проповедник «теофилантропии», наконец, хороший делец Рейбель получили парадные мундиры, шляпы с плюмажами, аппартаменты в Люксембургском дворце и высокое наименование: «граждан-директоров».

Директория продолжала политику Конвента: она лавировала. После поражения роялистов из тюрем были выпущены патриоты: держать сразу в тюрьмах все партии не могли даже изворотливые граждане-директора. Не думая об укреплении республики, они хотели задобрить республиканцев. Хоть ассигнации падали что ни день, никогда еще люди не верили так свято в могущество денег. Директория щедро раздавала пенсии,

пособия, теплые местечки в глухой провинции, подряды, просто подарки. Станки, печатавшие ассигнации, работали во-всю. Патриоты продавали себя поштучно и партиями. Якобинцы ведь тоже были людьми. После скудости тюремной жизни они приятно улыбались местам налогового администратора в Монпелье или же военного интенданта в Безансоне. Гражданская непримиримость котировалась все ниже и ниже.

Система подкупов была системой Барраса, его политической мудростью, его мировоззрением. Он никогда не говорил «нет», видя перед собой должное подношение. Дайте много — он продаст Луи-Ксавье республику, дайте несколько луидоров — он устроит подряд фляг для армии, возвращение во Францию любого эмигранта или оправдание чересчур неуклюжего жулика. Баррас глубоко верил, что за деньги можно купить всякого.

Гракх Бабеф, освобожденный после вандемьера, продолжает выпускать газету «Трибун народа». Он обличает Директорию. Он говорит: «Революция — это война между богатыми и бедными». «9 термидора — злосчастный для народа день». Он возмущается нравами директоров: «Неужели цель революции поставить на место свергнутых новую касту революционеров, дать им золото, богатство, земли, дворцы, прекрасных куртизанок, — словом, все блага земли?..». Хуже того. Бабеф выступает с проповедью невиданных доселе порядков. Даже страшный «аграрный закон», этот черный передел, его не удовлетворяет: что пользы делить землю — завтра снова воцарится неравенство. Нет, Бабеф теперь требует уничтожения богатства, обязательности труда, государственного контроля над всеми работами. К голосу Бабефа прислушивается народ, измученный голодом, безработицей, дороговизной. Все в революции потеряно, обманули все — может быть, этот Гракх говорит правду... Число сторонников Бабефа растет. И гражданин Баррас снисходительно улыбается: Бабеф против Директории? Что же, выход ясен: надо подкупить Бабефа. Этот бедняк наверное и не нюхал хорошей жизни. Он, кажется, даже сидел в тюрьме за неудачный подлог. Стоит только посулить ему сытную жизнь, как он станет на всех перекрестках расхваливать патриотизм Директории!

Баррас знал свое ремесло. Он начал подыскивать нужного ему человека. С Тальеном Бабеф давно расссорился. Поговорить с Жавогом? Но Жавог горяч и честолюбив. Он, чего доброго, предаст все дело огласке. Тогда, может быть, Фуше?.. Ведь Фуше — друг Бабефа. Конечно, Фуше!..

На следующий день Бабеф получил записочку от «преданного друга Ф.» с приглашением притти к нему: помимо дружбы имеется важное дело.

Фуше все побаивались, даже Фуше в опале. Он жил с семьей в мрачной мансарде, т. е. попросту на чердаке, жил в нужде и в одиночестве. Только два человека поддерживали с ним сношения: Баррас и Бабеф. Баррас понимал, что Фуше ему может быть полезен. Фуше — отменный

семьянин. У него уже умер один ребенок. Он обожает второго — уродливого заморыша. Он теперь на все пойдет ради денег. И Баррас пользовался услугами Фуше, его хитростью и его храбростью. При подавлении роялистического бунта Фуше помогал Баррасу тайком — имя Фуше было слишком ненавистно «умеренным», и Баррас не хотел себя компрометировать. Баррас ценил Фуше. А Бабеф? Бабеф ему верил.

Доверчивость — это высокий дар, ничто не может ее поколебать. «Фуше не продался аристократам!» — так защищал своего друга Бабеф. Он был прав: Фуше не сразу пошел по пути Фрерона или Тальена. Но не продался он только потому, что не оказалось покупателей, кроме наредкость уж бесстыдного Барраса. Эмигранты в Лондоне требовали голову Фуше: «Его надо повесить!». Фуше видел, что его время еще не настало; он старался держаться в тени. Он как бы вышел на-время из истории, довольствуясь тесным чердаком. Он ждал.

Бабеф идет к Фуше. Бедность обстановки укрепляет его доверие. Он крепко жмет руку. Вот участь подлинных патриотов! Фуше — верный друг! Когда Бабеф сидел в тюрьме, Фуше помог семье Бабефа. Он дал десять франков. Чем теперь он живет? Фуше объясняет: он торгует свиньями. Ничего не поделаешь — все торгуют! Бабеф раздосадованно морщится. Как все? А патриоты, преданные революции? У Бабефа тоже семья, и он тоже хороший отец. Впрочем, лучше уж торговать свиньями, нежели гражданскими чувствами. Фуше охотно соглашается — он ведь еще не упомянул о предложении Барраса.

Бабеф говорит о необходимости объединения патриотов. Теперь цель ясна: не смена властителей, даже не возврат к конституции 93-го года, но интегральное равенство.

Фуше иронически улыбается:

— Это моя старая мысль. Ты только теперь дошел до этого, а я еще в Лионе объявил: «Нужно углубить революцию, чтобы буржуазия не стала на место аристократии». Я первый ввел принудительные работы. Я отдал приказ о выпечка «хлеба равенства». Я объявил о прогрессивном налоге, и я брал с богачей шестую часть капитала...

Фуше не лжет. Он смел и находчив во всякой работе. Он был отменным патриотом. Он будет опорой империи и даже доверенной персоной благовернейшего монарха Людовика XVIII. Из всех поприщ он облюбует полицию. У него уже имеется некоторый опыт. Он ведь в Лионе не только говорил об углублении революции. Он там работал. Кто во времена Геберта разрушал церкви, поил ослов из дарохранительниц и писал на воротах кладбищ сентенции: «Смерть — это навсегда»? — Фуше. Кто потребовал уничтожения Лиона: город должен быть разрушен, а на пепелище поставлен памятник: «Здесь находился город Лион, восставший против свободы, его больше нет»? — Тот же Фуше. Кто выполнял приказ о разрушении и сносил за кварталом квартал? Кто заменил гильотину пушками, ибо гильотина слишком медленно работает для революционного времени? Кто истреблял ежедневно сотни граждан? — Да все он же, бывший вос-

питанник духовной семинарии, почитатель Маккиавели, спокойный и слегка насмешливый Фуше.

Бабеф повторяет:

— Хоть ты не предал...

Ах, высокий дар доверчивость!.. Кого только не предавал Фуше? Он был вначале с жирондистами, он во-время их предал. Он поставил все на Дантона. Он ошибся. Что же, он предал Дантона. Он смиренно пошел на поклон к Робеспьеру. Он отрицал свое безбожье, распущенность нравов, даже лионские зверства. Он убедил Робеспьера в своей невинности, а убедив — тотчас же его предал. Кого он предает теперь — Бабефа? Барраса? Может быть, обоих?..

Он переходит к делу: нужно выжидать. Он повторяет любимое свое изречение:

— Главное — это считаться с обстоятельствами. Время за нас и против них.

Он говорит витиевато, с цитатами, с аллегориями — то чересчур логично, то щеголяя сложными риторическими фигурами. Из него бы вышел отменный проповедник. Недаром даже в те времена, когда по его приказу в соборы загоняли свиней, он разыскивал перепуганного аббата, чтобы с ним побеседовать на богословские темы.

Медленно подходит он к цели:

— Баррас связан. Карно ведь покрывает роялистов. Но Баррас в душе патриот. Он хочет помочь нам. Ты ошибаешься, Бабеф, нападая так злобно на Директорию. Этим ты способствуешь успеху шуанов. Теперь прямые дороги пройдены. Следует не ошибиться в выборе тропинки. Я тебе предлагаю мою помощь. Я читал тридцать четвертый номер «Трибуна». Там много чрезмерно резкого. Ты поступишь правильно, показывая мне номер до выпуска. Тогда мы сможем совместно смягчать иные опасные пассажи: «Трибун» должен быть за республику. Против роялистов. Тогда нам обеспечено содействие. Ведь теперь наверное трудно издавать газету? Не так ли?..

Еще плохо разбираясь в словах Фуше, Бабеф угрюмо отвечает:

— Еще бы! Все — тайком. Продавцов хватают. Друзья говорят мне: «Вот ты и на свободе». Нет, я сменил одну тюрьму на другую. Работать приходится в подвале. Нет света. Нет бумаги. Ты наверное заметил, сколько опечаток? В каждой строке. И краска плохая. Трудно читать. Что же, так работал Марат, когда ему пришлось скрываться от аристократов. Тоже в подвале. А «Друг народа» сплотил легионы патриотов. Я не унываю. Но ты?.. Откуда этот мед? Как? Ты, Фуше, защищаешь изменника Барраса? Ты предлагаешь мне щадить этих грабителей? Друг, я тебя не узнаю!

Бабеф отвернулся. Он не видит, что Фуше едва заметно усмехается:

— Я все тот же. Только времена не те. Ты должен уметь отступать, как всякий просвещенный полководец. Не то тебя разобьют. Что значит твой листок рядом с «Курьером» или с «Оратором»? — Их продают на всех

углах. Тебе нужны деньги, т. е. подписчики. Не волнуйся — это каждый понимает. Без подписчиков нет газеты. Сколько их у тебя сегодня? Двести? Триста? А если ты согласишься, завтра у тебя будет шесть тысяч — и все платные. Понимаешь — шесть тысяч.

— Кто тебе это сказал?

— Кто? Конечно, Баррас.

Тогда Бабеф встает. Он смотрит прямо в глаза Фуше. Он понял все. Он еле сдерживает себя, чтобы не кинуться на предателя. А Фуше все так же лениво усмехается. И здесь впервые Бабеф видит, что Фуше страшен. У него белое лицо. Ни кровинки. Этот человек ни разу в жизни не покраснел и не побледнел. Глаза у него красные, совсем как у белых кроликов. Он никогда не смотрит прямо. Но и на него трудно смотреть: это не лицо, а маска. Дантон, Робеспьер, Кутон — все отворачивались. Бабеф, однако, не сводит глаз с Фуше. Голос глух.

— Я больше тебе не верю. Ты — как другие. Ты хочешь сразу всем угодить. Им и нам. Ты всех предаешь. Прощай, Фуше, нам не по дороге!

Бабеф уходит. А Фуше все продолжает усмехаться, один без соглядатаев: для себя и для истории. «Не по дороге?» Еще бы! Революция — это строптивая кобыла. Дурень Бабеф метит прямо под копыта. А Фуше? Фуше ее взнуздает.

Дождь стучит о чердачное окошко. На столе четверка паечного хлеба. Жена босая — уже сносила ботинки... Торговец свиньями Фуше нежно гладит младенца белого и красноглазого, как отец. Он не унывает. Кто-кто, а он добьется своего!

Бабеф — революция.

Нивоз был особенно лют. Многие вспоминали даже о прошлой зиме, как о «добром старом времени». Рабочий Париж волновался. Он слышал пламенные речи о правах человека. Он видел празднества, фейерверки, танцы, «трапезы равенства», — всю кровавую бутафорию революции. Он стрелял, устраивал перевороты, гудел в сотнях клубов. Но жизнь его была еще тяжелей прежнего. Хозяева расплачивались ассигнациями. Что можно было купить на эти бумажки? Мясо в рабочих семьях теперь варили только по праздникам. Редко-редко топили печь, и тогда несколько семей грелись у скудного огня.

Жестокой была работа в те времена. Работать начинали в пять, кончали в семь, час на обед — тринадцать часов работы. В маленьких мастерских было еще труднее. Когда переплетчики на шестой год революции потребовали четырнадцатичасового рабочего дня, все изумились их дерзости: «Лодыри! разучились работать». Детей — и тех не щадили. Покойный Конвент выдал фабриканту Бютелю из городских приютов пятьсот девочек, возрастом до десяти лет. Дети эти работали бесплатно — «на хозяйских харчах». Фабрикант Делетр содержал детей, работавших в его прядильне, по системе графа де Румфора. Делетр был республикан-

цем, Румфор — эмигрантом, но кто же не прислушивается к разумным советам?.. Граф де Румфор изобрел новые методы питания рабочих: хлеб, мясо, сало слишком дороги. Пустой суп получил гордое наименование «супа а ля Румфор». Содержание ста пятнадцати рабочих обходилось передовому фабриканту столько же, сколько стоила в ресторане «Палэ-Эгалитэ» одна тарелка супа «а ля бывший Конде».

Однако сильнее «румфоровских супов» пугало рабочих другое хитроумное изобретение. С утра до ночи парижане толпились на Иль-де-Синь: там открылась первая паровая мельница. Сведущие люди заверяли, что на литейных мастерских Крезо скоро поставят десять машин и разочтут всех рабочих. А за литейщиками останутся без работы и ткачи. Что же делать бедным людям, когда выдуманы эти чертовские машины?..

Впрочем, может быть, лучше сразу умереть!.. Все равно работаешь шестнадцать часов и не вырабатываешь на хлеб! Настроение дня, даже политическая ситуация определялись пайками. Фримез и нивоз оказались наредкость голодными. Вчера в квартале Тампля вовсе не выдавали, сегодня в квартале Пантеона хлеб был заплесневевший. Так начались рабочие забастовки.

Грузчики порта Бернар собрались на улице Сен, они постановили: на триста ливров в день жить нельзя. Их разогнали. Главари были арестованы. Вслед за грузчиками выступили литейщики из мастерской пушек, что на улице Лилль. «Как? Республиканские армии проявляют героизм в Италии, а вы не хотите помогать им?» Снова последовали аресты. Забастовки, однако, не прекращались: мебельщики, носильщики, мукомолы, шляпочники, типографы, ткачи — все предпочитали тюрьму или смерть голодной каторге.

Хозяева составляли петиции Директории. Они жаловались на наглость рабочих: допустимо ли, чтобы наемные люди обсуждали условия труда или заработную плату?..

Директория делала все, что могла: забастовщиков сажали в тюрьмы, а на их места посылали солдат. Министры подготовляли декрет о запрещении забастовок, которые приравнивались к разбою. Однако терять рабочим было нечего, и волненья не утихали.

В бывшей церкви св. Елизаветы помещалась большая мастерская мешков. Там работало триста женщин. Находчивый гражданин Деле получил подряд на мешки. Работали с пяти до поздней ночи. В мастерской было холодно, сыро, темно. Руки коченели, и слезились глаза. Здесь же кричали голодные дети. У одной работницы умер среди дня ребенок. Она начала плакать. Вся мастерская всполошилась. Но мешки должны быть поставлены к сроку. «Что тут смотреть?.. Не видали вы мертвого ребенка?.. Живо за работу!..»

Однажды в эту мастерскую зашли рабочие, человек тридцать или сорок. Они начали кричать:

— Дуры! Зачем только вы работаете?.. Лучше, чтоб нас всех перестреляли, чем так жить!..

Работницы тотчас же бросили работу. Выйти из мастерской им, однако, не удалось: призвали отряд драгунов. Все были арестованы. На одном из смутьянов нашли старый нож и газету Бабефа. Министр полиции торжественно оповестил граждан-директоров, что восстание сторонников Бабефа подавлено. Он, конечно, умолчал о том, что драгуны, тюрьмы, декрет об отмене пайков, грубость хозяев, наконец он сам, министр полиции,— всё и все работали на Бабефа.

«Трибун народа» продолжал печататься тайком. Полиция арестовала жену Бабефа. Эта женщина ничего не смыслила в политике. Она маялась и до революции, и после. Ее мужа то-и-дело арестовывали. Он о чем-то мечтал, говорил горячие слова, лихорадочно шагал из угла в угол. Она не понимала ни цитат из Плутарха, ни всей этой суматошной жизни: зачем люди столько спорят, поют песни, голодают, сажают друг друга в тюрьмы и уныло танцуют вокруг очередного эшафота? Революция казалась ей нелепым и злым сном. Но эта простая женщина свято верила в честность своего Франсуа, которого теперь должна была она звать «Гракхом». Безропотно сносила она все лишения, болезни и смерть детей. В одном городе, в одно время жили эти две женщины: Тереза Тальен, бывшая маркиза, и Мария Бабеф, бывшая горничная.

Арестовав жену Бабефа, министр полиции самодовольно улыбался: теперь и «Трибун народа» в его руках. На что не пойдет эта любящая мать, зная, что дети ее остались у тюремных ворот?

— Где скрывается ваш муж?

Молчание.

— Не упирайтесь. Скажите — и мы вас выпустим. Вспомните о ваших детях.

Разве ей нужно напоминать об ее горе? Разве мало говорят им эти красные припухшие глаза? Но большего они от нее не добьются! Франсуа— честный человек. Он верит в то, что делает, и не она его предаст.

Охотясь за Бабефом, Директория в то же время старалась заручиться поддержкой «бабувистов». Баррас вел столь сложную игру, что многие, дивясь неожиданному ходу, думали, будто бы у него имеется какой-то чрезвычайно хитрый план. На самом деле никаких планов у Барраса не было. Он просто трепался, как флюгер, то направо, то налево, отменяя вечером утренние приказы, но храня выражение государственной мудрости.

Испуганная мятежом роялистов, Директория позволила сторонникам Бабефа открыть «Общество друзей республики». Разумеется, полицейские агенты стали ревностными членами этого общества. Баррас надеялся, что люди, любящие поговорить, удовольствуются клубной эстрадой, а дальше разговоров дело не пойдет.

Новое общество устраивало собрания в подземной церкви бывшего монастыря св. Женевьевы, по соседству с Пантеоном; в обиходе его называли «Обществом Пантеона». Что же, тогда и эта усыпальница была ареной политических страстей. Даже мертвецы не ведали покоя: Мирабо

и Марат были сначала торжественно погребены в «Пантеоне», а потом оттуда изгнаны.

Помещение придает собраниям «пантеонцев» романтический оттенок: чад факелов, темнота, гулкость голосов, плесень на стенах, древние кресты и трехцветные кокарды. Число членов быстро растет. Вот уже две тысячи. Подземелье св. Женевьевы, как римские катакомбы, служит убежищем для всех униженных, для всех мечтателей, а также для всех непримиримых. Среди балов и салонов это — последнее пристанище затравленной, однако еще живой революции.

Конечно, далеко не все «пантеоновцы» сторонники Бабефа. Подлинных «бабувистов», или — как они зовут себя — «равных», немного. Они держатся осторожно, чтобы не отпугнуть граждан, которые возмущаются выходками «золотой молодежи» или дурным качеством хлеба, но зато всемерно уважают «священное право собственности», декларированное конституцией.

Бабеф, преследуемый полицией, не может лично руководить работами клуба. Но он пишет доклады, вырабатывает резолюции, обсуждает с друзьями программу каждого собрания. Он окружен преданными и энергичными единомышленниками. Помимо людных сборищ «Пантеона», «равные» теперь встречаются в частных домах. Там они спорят и о близком и о далеком: Каково должно быть положение гражданок в «республике равных»? Как ответить на новые аресты патриотов?

Кроме бывшего гусара Жермена, завербованного в аррасской тюрьме, у Бабефа два ближайших сподвижника. Это воодушевители «Пантеона»: Дартэ и Буонаротти. Трудно представить себе людей более несхожих: энтузиаст и фанатик, музыкант и казуист, угрюмый, низколобый, прямолинейный Дартэ и чересчур нежный для своей биографии пизанский аристократ Филипп Буонаротти. Что делать, и среди «равных» нет равенства, а в заговоре тупая преданность Дартэ столь же нужна, сколь и светлый ум Буонаротти.

Дартэ, однажды уверовав во что-нибудь, от веры своей не отступает. С первых дней революции он примкнул к самым крайним. Он участвовал во всех уличных боях. Революция стала для него привычной жизнью, и жить вне революции он больше не мог. О своем детстве или о студенческих годах вспоминал он с улыбкой снисхождения: глупое время! То ли дело, когда он брал Бастилию, с народом шел в Версаль вытаскивать Капета из его логова или во главе отряда патриотов доставал муку для голодающего Парижа! Робеспьер показался ему самым крайним, и он пошел за Робеспьером. В революции было множество профессий. Бывший студент-юрист, он стал, разумеется, не защитником, а прокурором. Немало семей в Аррасе и в Камбре заставил он плакать. Он не грабил, нет, он был честен, неподкупен, как его идол — Максимилиан. Но слезы для него так же мало значили, как и луидоры. С врагами он не знал пощады. Это не было особой его, Дартэ, жестокостью, нет, в те времена даже девушки хохотали, завидев телегу с осужденными. Дартэ спокойно,

деловито писал гражданину Леба: «Гильотина в Камбре не ленится. Графы, бароны, маркизы, самцы и самки падают, как град». После термидора он случайно уцелел, но он не сдался. Он не стал каяться, подобно многим, в былых грехах. Когда его арестовали, он крикнул: «Да здравствует Робеспьер!». С Бабефом он встретился в тюрьме. Робеспьера больше не было, а Гракх клялся, что он продолжит дело «Неподкупного». Дартэ не долго раздумывал. Он стал ревностным «бабувистом».

С Дартэ Бабеф часто советуется — как бы свергнуть эту преступную Директорию? С Буонаротти в свободные часы беседует он о Руссо, о природном равенстве, о мудрой простоте свободолюбивых греков. Потомок Микель-Анджело Филипп Буонаротти — один из самых просвещенных умов эпохи. Когда во Франции Дартэ и его сотоварищи взятием Бастилии перепугали всю Европу, Буонаротти жил во Флоренции. Он был молод, красив, знатен. Он жил безбедно в этом городе гуманистов, кипарисов и бледноликих Венер. Он бросил все. Сломя голову, поехал он на Корсику. Он издавал там газету, вещал о братстве народов и вскоре восстановил против себя все корсиканское духовенство. Его преследовали. Он скрывался в горах. Он появлялся снова. Он пытался устроить дессант в Сардинии. Он сидел в ливорнской тюрьме. Его имущество в Тоскане конфисковали. Но это его ничуть не огорчило. У него теперь была одна родина — революция. Приехав в Париж, он сблизился с якобинцами. Конвент, «ввиду оказанных им республике услуг», наделил его французским гражданством. Да, в революции было много профессий. Буонаротти не стал прокурором. Он отправился в ряды республиканской армии проповедывать итальянским санкюлотам идеи французской революции. Подобно Дартэ, он любил Робеспьера. Он любил его за другое: Робеспьер был достаточно сложен, чтобы привлекать к себе различных людей. После термидора Буонаротти арестовали где-то возле Генуи. Как Жермен и Дартэ, с Бабефом он сблизился в одной из тюрем. Проповедь всеобщего благоденствия его взволновала до слез. Он ведь был сторонником крайнего равенства с первых же дней революции. Возмущенно восклицал он, глядя на новый Париж: «Как? На место одной шайки поставить другую? Это — революция?..». В лице Гракха Бабефа Буонаротти нашел единоверца, друга и вождя.

Кроме Буонаротти, Дартэ, Жермена, у Бабефа много стойких сторонников. С ними давний его покровитель, чудак Сильвен Марешаль, философ и неудачливый драматург. С ним бывший мэр Лиона гражданин Бертран и бывший маркиз Антонель, флегматичный мечтатель, который во время мятежей прогуливается с книжкой по аллеям Тюльери, не замечая выстрелов. С ним отнюдь не мечтательный Дидье, судья при Робеспьере, человек грубоватый и прямой. К Бабефу идут все. Он пытается разобраться в этой лавине добродетелей и пороков. Иногда ему удается оттолкнуть чью-нибудь чересчур замаранную руку. Так случилось с Фрероном. Этот мелкий грабитель и бездарный болтун разобиделся на всех — почему Баррас директор, а он, Фрерон, не у дел? От него отвер-

нулись даже его пресловутые «молодчики» — ведь для них он продолжал оставаться «якобинцем». И вот Фрерон решил тряхнуть стариной. Он запросился к «бабувистам». В «Обществе Пантеон» двери были раскрыты широко, перед носом Фрерона они все же захлопнулись.

Не всегда, конечно, удается Бабефу и его друзьям отделить «равных» от честолюбцев. Но чистота вождя покрывает все. Рабочий Париж попрежнему верит своему Трибуну. Это не только вера. Это подлинная любовь. В кварталах Антуана и Марсо имя Гракха Бабефа известно теперь каждому ребенку. О нем говорят, как о своем, как о слесаре или о столяре. Над полицейскими посмеиваются: «Что, нашли Бабефа?..». Хозяевам и торговцам сулят: «Вот Бабеф вам покажет!..». Пустую похлебку сдабривают надеждой: «Скоро уж Бабеф выступит!.».

До светских салонов доходят слухи о загадочной славе этого мало кому здесь известного журналиста. «Кто он?» — «Кажется, бывший землемер». — «Он кровожаден, как Марат». — «Это вор, совершивший подлог...» Члены «Совета пятисот», литераторы, адвокаты, иностранные послы — все недоумевают: «Почему Бабеф?..». Недоумевая, они боятся. Они вовсе не уверены в завтрашнем дне. Конечно, Робеспьеру отрезали голову. Конечно, у рабочих отобрали оружие. Но ведь нельзя же заставить людей забыть о том, что было еще так недавно! Кто может поручиться даже за армию? Говорят, что солдаты тоже стоят за этого непонятного Бабефа.

Так в двух лагерях имя Бабефа становится собирательным, оно растет, оно уже обозначает не только одаренного журналиста или смелого философа, нет, теперь Бабеф — это революция.

Среди тысячи слухов, среди ненависти и любви, среди тяжелой тишины решительного года, человек-Бабеф прячется в кельях, в подвалах, на чердаках, — всюду, где только можно прятаться, пишет, убеждает, подбирает сторонников, работает, работает без устали. Он слаб, он хворает. Он живет, как заточник. Он забыл о солнце, о шутках, о детских проказах. Он не может теперь веселиться, даже чтобы бесить тиранов. Постепенно отмирает в нем все сложное, неуверенное, мягкое, человеческое. Он превращается в одну мысль: равенство! Разговаривая с ним, люди чувствуют, что сильнее его слов — сухой огонь глаз, они уходят от Бабефа как бы испепеленные: не так ли добрые католики изображали апостола из евреев по имени «Павел»?..

Декабрьский день. Густой туман. С утра в богатых лавках «Палэ-Эгалитэ» горят лампы. Но масло дорого, и Париж работает в потемках. Все брюзжат, ругаются. Только полицейским агентам этот туман на-руку. Они крадутся по улице Сан-Онорэ, чтобы не привлечь внимания прохожих. Вот в том доме должен сейчас находиться неуловимый Бабеф. По донесениям сыщиков, здесь помещается редакция его газеты.

Но Бабефа сторожат. В комнату, запыхавшись, вбегает мальчик:

— Идут!..

Бабеф в воротах сталкивается с полицейским, он отталкивает его, бежит. За ним гонятся. Полицейские кричат:

— Держите вора!

На углу улицы Революции его останавливает какой-то спекулянт. Он вырывается. Он бежит дальше. Несколько бездельников теперь пополнили ряды полицейских: это уж целая свора. И все они кричат:

— Держите его! Он стянул часы!..

Бабефа снова пытается остановить кучка франтиков. Несколько ударов — и дорога свободна. Но силы Бабефа иссякают. Возле монастыря Ассонпсион несколько человек его схватывают.

— Вор! Стой!

Туман настолько густ, сердце так сильно бьется, что Бабеф не сразу может различить, кто его держит. Он вглядывается. Красные обветренные лица. Запах кожи и пота. Это носильщики с рынков. Тогда доверчиво он говорит:

— Нет, я не вор. Я — Гракх Бабеф. За мной гонится полиция.

Носильщики сначала недоверчиво прислушиваются: полно, Бабеф ли это?.. Но один говорит:

— Я его видал в клубе. Это Бабеф. Иди сюда, гражданин, мы уж тебя не выдадим.

Один быстро покрывает Бабефа своей широкой войлочной шляпой, другой толкает его в подворотню. Несколько минут спустя Бабеф, тяжело дыша, рассказывает о происшедшем Дартэ, который приютил друга в бывшем монастыре Ассонпсион, а носильщики смеются над запыхавшимися полицейскими:

— Что? Поймали Бабефа?

Они веселы и горды: сегодня они, носильщики с рынков, спасли революцию.

Ходы игрока.

Генерал Наполионе Буонапарте привел войска, расставил пушки и приготовился к сражению. Он защитил свой тыл. Он ведь не знал, где неприятель. Этого, впрочем, никто не знал. Говорили, что анархисты всесильны, что против Директории — Париж. Напрасно, однако, генерал поставил на ноги столько эскадронов. Как всегда, гудели хвосты у булочных, ругались водовозы и к небу, вместе с легкой дымкой (зима еще держалась), подымались вздохи: «Доколе»... Было тихо, буднично. Ржали лошади драгунов, солдаты пересмеивались. Порой рабочие кричали им: «Лучше бы вы шли на фронт, чем здесь людей давить!..».

Генерал Буонапарте, наклонив голову, шагом быстрым, и, пожалуй, чересчур крупным для его сложения, подошел к воротам бывшей церкви, где помещалось «Общество Пантеон». Пушкари ждали сигнала. Но сторож безропотно вручил генералу ключи от помещения, огромные церковные ключи, похожие на старые трофеи. Буонапарте, еще не привыкший брать города, усмехнулся, а застоявшиеся кони весело ринулись вперед. Их

цокот оповестил парижан, равнодушных ко всем событиям мира, о новой победе «генерала-вандемьера».

Еще недавно он был героем патриотов: «Он спас республику и революцию». Якобинцы говорили: «Буонапарте наш». Они вспоминали штурм Тулона и зажигательные речи молодого патриота. Даже «равные» сочувственно поддакивали: «Это не Мену! Он, конечно, молод и ветрен, но он поборник равенства. Он был недаром другом Робеспьера-младшего. Он думает не только о военных подвигах, но также об устроении общества. В 91-м этот пылкий корсиканец публично говорил: «Пусть гражданские законы обеспечат каждому необходимое! Пусть жажда богатств сменится народным благоденствием!».

Буонапарте не отвергал подобных восхвалений. Он только начинал игру. Первый ход удался. Что позади? Мечтанья, нищета и одиночество, книги, выстрелы, примеры героев древности, географические карты. О чем он только ни мечтал до вандемьера! Хорошо бы уехать в Турцию и поступить там к султану на службу... Он был настолько беден, что после вандемьера, когда его приветствовал Конвент, он сконфуженно мялся — как же со штанами?.. Ведь на нем были замшевые штаны его приятеля Тальмы.

«Вандемьер» многое определил — в этот день корсиканец связал свою судьбу с судьбою Франции. К чорту султана! На восток?.. Да, когда-нибудь, но не наемным кондотьером, — завоевателем.

«Вандемьер» был случаем; он стал обдуманным дебютом сложной партии. Надо всех в себя влюбить. После «патриотов» — «умеренных», т. е. аристократов, франтов, завсегдатаев «Маленького Кобленца», богатых негоциантов, подрядчиков, недоверчивого Карно, знать, капитал, — всех, кто трепещет при имени Бабефа. Гремя тюремными ключами, Буонапарте радуется, и второй ход верен. Ему не пришлось стрелять в патриотов. Он только повиновался. Ненависть народа падет на Директорию, не на него. Зато сегодня он герой друзей порядка. Он точно и молниеносно выполнил приказ. Те, что кричали «анархист», прикусят языки. Нет, он не с партиями, он с нацией!

Как и Баррас, Буонапарте старается никого не раздражать, он ждет, пока враждующие армии не перебьют друг друга. Между генералом и директором различье только в калибре: один — пример всей одаренности человеческой природы, другой — ее ничтожества.

Сообщив директорам о закрытии «Пантеона», Буонапарте быстро откланялся: он спешил. Баррас игриво подмигнул: «Любовь не терпит». Виконт ведь только и думал, что о бабах. Буонапарте — о славе. Жозефина Богарнэ, которую дотоле звали Розой, была для него не богиней, не пастушкой, не куртизанкой, но очередной победой, третьим «вандемьером». Вдоволь наблюдательный, он хорошо знал свое время. Он говорил: «В Париже ничего нельзя добиться без женщин». Он говорил это скорее с досадой, нежели с улыбкой. Женщинам предпочитал он историю Рима или атлас. От природы скромный и скрытный, он плохо себя чувствовал

в салонах Директории. Но что ж тут было делать?.. Полководец, встречая реку, назад не поворачивает. Он ищет брода.

Роза, или Жозефина, Богарнэ не молода. Если ее красоту и сравнивают с розой, то не с бутоном, с крупной расцветшей розой. Ее возраст несколько смущает Боунапарте: дело не в красоте — в насмешках! Невеста старше жениха на шесть лет! Он даже берет бумаги брата, чтобы постареть хоть на полтора года.

Жозефина — обыкновенная женщина своей эпохи. Ее мужу отрезали голову на гильотине. Она случайно уцелела. Следовательно, ей хочется жить вдвойне. Подруга Терезы Тальен, она носит те же парики и те же туники. Она не привередничает в выборе любовников. Правда, директор Баррас или генерал Гош знамениты, но тому же Гошу она при первом удобном случае изменяет с его конюхом Ванакром.

Занятый иным, Буонапарте сплетен не слушает. Он требует величья даже в спальной. Выбрав Жозефину, он сразу одаряет ее всеми добродетелями. Он женится не на любовнице конюха и конюхов, но на самой целомудренной аристократке.

Дело, однако, не в целомудрии, не в красоте, даже не в богатстве. Брак с госпожей де Богарнэ — новый ход игрока. Он примиряет простого корсиканца, подозрительного якобинца, с кварталом Сан-Жермен, с аристократией Франции. Буонапарте, если угодно, влюблен, даже счастлив. Но среди буколических объятий вздохи быстро сменяются плеском знамен, а признанья — гулом толп, цокотом парадов, ревом победы. Это происходит в особняке Тальмы: Буонапарте купил у своего приятеля, который недавно развелся, этот дом, где некогда бывали Андре Шенье и Кондорсе, дом с колоннами, с лирами, с орлами. Он глядит на Жозефину. Он глядит и на орлов.

Буонапарте обвенчался через десять дней после похода против «Пантеона». Свадебный подарок Барраса был великолепен. Он щедро наградил «скромного генерала, лишенного амбиций», и нежного супруга его, Барраса, любовницы: после некоторых колебаний Директория одобрила приказ о назначении Буонапарте главнокомандующим всеми армиями в Италии. Карно поспорил: «Как можно доверить столь ответственный пост молодому генералу, который отличился в мелких уличных боях?». Карно боялся, что Буонапарте — ставленник Барраса и скрытый якобинец. Но якобинцы еще страшнее под боком, и Карно уступил.

Буонапарте торопится. Он едет завоевывать Италию. Он едет завоевывать и Францию. Он готовится к своей судьбе. Сегодня умер «Наполионе Буонапарте». Чужестранное имя не подходит для национального героя. Он знает, что завтра вся Франция будет его приветствовать виватами. Вот и «Жозефина» звучит гораздо достойней, нежели глупая «Роза». Пусть завтра они кричат: «Да здравствует Наполеон Бонапарт!»...

Революцию на-вывоз.

Уезжая в поход, Бонапарт заботился не только о транскрипции своей фамилии. Он знал, что республиканские армии побеждают не пушками. Париж слал солдат и порох. Бонапарт решил вывезти из Парижа нечто другое — революцию.

Друг Бабефа Филипп Буонаротти получил приглашение явиться в министерство иностранных дел. После закрытия «Пантеона» он ждал со дня на день приказа об аресте. Его вызывала, однако, не полиция, а гражданин Делакруа по настояниям генерала Бонапарта.

Буонапарте знал Буонаротти по Корсике. Он ценил его доблесть, знания, ум. Притом он не пренебрегал ничьей помощью. Если «равные» могут быть ему полезны, надо разговаривать с «равными». У патриотов, может быть, благородные сердца, но у них на плечах нет головы. Вот он закрыл «Пантеон». Он ждал сопротивления, боев, победы якобинцев. Париж смолчал. У рабочих больше нет ни оружия, ни огня. Оружие еще можно достать, но сердце Парижа перегорело. Здесь могут быть теперь десятки заговоров, бунтов. Революции здесь больше не будет по меньшей мере полвека, пока не вымрет это поколение, видавшее своими глазами террор и голод. Зачем раздражать патриотов — они бессильны! Нужно круто править. Пять болтунов вряд ли на это способны. Что же, Бонапарту остается ждать. У него теперь другая цель: победные реляции, любовь армий, страх Европы. Революция — ценный товар: ее надлежит вывозить за границу. Идеи Бабефа — бред. Он, Бонапарт, мог говорить о равенстве в 91-м. Тогда ему было двадцать два года, а революции — два. Теперь он смеется над «всеобщим благоденствием». Однако Бабеф и его друзья еще полны воодушевления. Во Франции их, может быть, и следует арестовать, но у кого же искать революционного огня для Италии — не у Барраса!..

Генерал Бонапарт предложил министру Директории срочно снестись с гражданином Буонаротти и попросить содействия «анархистов».

Необычайное свидание состоялось. Делакруа был по природе высокомерен и груб. Буонаротти ему казался заговорщиком, которого не сегодня-завтра засадят в острог. Однако он пытался говорить с этим анархистом вежливо, почти как с иностранным посланником. Таковы были инструкции Бонапарта.

— Итак, гражданин Буонаротти, мы рассчитываем на поддержку ваших итальянских единомышленников.

Буонаротти недоверчив:

— Я попрошу вас, гражданин министр, ответить мне, могут ли патриоты Италии рассчитывать на вашу помощь?

Делакруа в душе смеется: святая простота! Он-то знает хорошо намерения и Директории, и Бонапарта. Надо выгнать из Италии австрийцев и усилить короля Ломбардии. Отвечает он уклончиво:

— Задача итальянских патриотов — облегчить нашим армиям вторжение в Италию.

— Зачем? Чтобы вы потом их предали, как вы предали патриотов Франции?

Делакруа морщится.

— О внутренних делах мы не станем беседовать. Это не предмет нашего свидания. Что касается итальянских патриотов, то мы их отнюдь не предадим. Если Республика победит, она при мирных переговорах примет все меры, дабы охранить личные интересы итальянских патриотов.

Здесь Буонаротти теряет спокойствие.

— Суть не в личных интересах! У патриотов личных интересов нет. Мы хотим знать, во имя чего вы воюете? Хотите ль вы республики в Италии или военной добычи? В Италии все готово. В Генуе патриоты ждут сигнала. В Сицилии десять тысяч наших томятся в тюрьмах. Там, что ни день, льется кровь героев. Как только покажется у берегов французский флот, вся Сицилия воспрянет. В Тоскане брожение. То же и в Венеции. Патриоты Пьемонта уж неоднократно пробовали восставать. У них, однако, нет оружия. Если мы придем как освободители, вся Италия будет с нами.

— Мы против выступлений Пьемонта... Надо подчинить все поступки патриотов дипломатическому плану. Я прошу вас, гражданин Буонаротти, представить мне докладную записку о всех необходимых мероприятиях. Я ознакомлю с ней генерала Бонапарта.

— Но нам нужны гарантии! Если солдаты снова будут грабить, если снова вы отдадите страну под власть военных самодуров или варваров, вы оттолкнете от Республики весь итальянский народ. Вы рискуете тогда военным разгромом, гибелью патриотов. Лозунгом республиканских армий должно быть: «Мир хижинам, война дворцам!».

Гражданин Делакруа вместо ответа приподнимается: аудиенция закончена. Ему надоело слушать этот нелепый бред. Итак, он ожидает письменного донесения.

Буонаротти вечером говорит Бабефу:

— Труден только почин. После Франции, что им стоит предать Италию?..

Бонапарт перед отъездом внимательно прочел объемистую записку Буонаротти. Два месяца спустя он слушал в Милане речи местных якобинцев: «Мы здесь насадим великие идеи 93-го! Мы установим подлинное равенство!». Он одобрительно кивал головой. Он знал, что, когда настанет время, можно выдать этих говорунов полиции, папе, королю, — кому угодно. Сейчас они полезны. Надо пользоваться всем. Чем эти фантазеры хуже госпожи де Богарнэ?..

(Окончание следует).

Сливы, вишни, черешни.

(Рассказ).

С. Сергеев-Ценский.

Июньское причерноморское солнце, полуденное, самое безжалостное, не давало трем плотникам — Максиму, Луке и Алексею — дышать свободно даже и в балагане около постройки, где они делали просветы и теперь обедали, утопив ноги в кудрявых стружках.

Кроме того мешали осы: нервные, неутомимые, наглые, они вились неотбойно кругом, облепляли ломтики розового сала, жадно пили молоко из кружек и сладострастно дрожали, насыщаясь, их золотые с чернью, ловко скованные узкие тельца.

Но то оттуда, то отсюда подкрадывалось к ним синее лезвие складного ножа и очень метко перерезало их пополам как раз в тонкой талии, и вот, вместо прекрасно устроенной взволнованной хищницы, валяются и вертятся на верстаке два недоуменных желтых комочка, и так, пока обедали, Максим перерезал их не меньше двадцати штук, приговаривая однообразно:

— Еще одна! — и бородатое, светлоглазое, полосатое от загорелых морщин лицо Максима выражало сытое удовольствие.

Лука, у которого вместо правой ноги торчала деревяшка, — человек сухоскулый и моложавый, несмотря на седину в усах, сказал как будто даже конфузливо:

— Однако ты к ним без милосердия!

— Гм... Они же, черти, вредные без конца, без краю, — объяснил Максим.

— Это я без тебя знаю, что вредные: виноград, груши спелые выпивают... А то вот татарки сушку на крыши кладут сушить, — бывает, одни шкурки оставят: все как есть высосут...

— Знаешь, да видать не особо! — зло поглядел на Луку Максим. — А вот я их узнал как нельзя лучше... Я от них две недели в больнице лежал, понял?

— От ос?

— А то от кого же?.. Конечно, я тогда мальчишка был... Эх, и до чего же подлые, — это надо видеть!.. И как собща действуют, не хуже

пчел!.. Прямо, войско... Мальчишек нас тогда человека четыре собралось, и куда же мы вздумали? Сливы воровать... Как раз возле церкви старой, в ограде, слива стояла, — поспевать стала, — мы туда, значит... Церква старая, служения там не производилось, — на это другая церква в селе была. А при этой понамарь только жил, и тот так что глухой и со слепинкой: годов ему семьдесят, и пил шибко... Ну, конечно, мы издалька поглядели, — и понамаря того нет в помине, куда-сь мотанул,— мы работать!.. Я помоложе других был, поглупее, — вот мне и говорят: — «Максимка, лезь на дерево, труси вниз, а сам не жри, — опосля разделим...». — Чего не так? Я, конечно, живым манером, и так что норовил куда повыше залезть... Во-от рву, — вот градом их вниз, сливы эти, сыплю!.. А сливы уж синие попадались, ну, были и с красниной... Ничего, сойдет... Говорится: в русском желудке и долото сгниеть... Какие с красниной — они, конечно, твердые, — ни шу-та-а!.. Знай рву!.. Когда тут, откуда-то возьмись, — оса!.. Другая!.. Третья!.. Я рукой отмахнулся, сам опять же рву, свое дело сполняю... Вроде бы приказ мной такой получен: мальчишки, они ведь чудные... Гляжу, однако, — а внизу прыгают... Ноги, конечно, у всех босые, штаны — не хуже, как теперь трусики, — куцые... Смотрю — прыгают, смотрю — айкают, смотрю — скачут округ и все руками махают. Да кэ-эк ударятся вбежки, — куда и сливы, мой труд, из картузов посыпались!.. Я это думаю: —«Понамарь!..». Давай и себе вниз, — а они вот они: туча! И гудят, все равно — рой хороший!.. И что же ты будешь делать, — штаниной я зацепился, когда слезал, а штаны новые были — казинет серый — крепкие, черти, как все равно опоек!.. Я и повис головой книзу... А рубашка заватилась, они значит — на голое тело... Пронзительно тогда очень я заорал, не хуже, как поросенок... А ребята мои все повтикали, а меня бросили... Стало быть, я один тем тварям достался, на штане висю, качаюсь, а они меня шпарят, а они ж меня уродуют-калечат!.. Как-то сорвался все-таки, упал наземь, и куда же я упал? На самое на гнездо на ихнее!.. Они мне как в глаза повпивались, сразу мне весь свет позамстило, — ничего не вижу, и куда мне бечь — не понимаю, и одно, знай, только катаюсь по тому гнезду — вою... Спасибо, понамарь тот старичок на меня набрел... Вою бы мово не услышал, и глаза у него туманные, а так просто мимо проходил, — наткнулся на такое дело: осы мальчишку едят... Я уж даже понятия не имею, кто это, а он меня — клюка у него была такая с крючком, — он крючком этим меня захватил, да поволок по земле: от гнезда бы ихнего подальше отволочь... Говорят, и его тогда шибко покусали... Все может быть, — они ведь остервенеют, какие дела разделать могут!.. А тут же, разумеется, родимое у них гнездо: вроде, они в полном праве... Ну, матери моей те мальчишки, мои товарищи, дали знать, — прибежала, меня в охапку, — домой... А я видеть ничего не вижу, только чуть ухми слухаю: понамарь будто матери моей говорит: — «От сливы — дерева этого — мы уж два года как отступились, через то, как осы им овладали!.. Никаких силов-возможностей сладить с ними — нет!.. Кипяток для них кипятили, и

только зазря один человек на себя тот кипяток вылил да бежать... Ну, разумеется, весь обварился, — кожа пузырями пошла... А мальчишку свово, говорит, не иначе, как вези ты в больницу: на нем теперь здорового зерна нет: голова, и та как пенек распухла...».— Ну, мать меня повезла... и что ты думаешь? Две недели со днем в больнице я тогда вылежал!.. Вот тебе и осы... Теперь та-ак: чуть я ее где увижу, — что бы я ни делал, — работу всякую брошу, а уж ее, подлую, зничтожу!.. Понял теперь? — спросил он пытливо Луку на деревяшке.

— Тогда дело ясное, — сказал Лука. — Раз они считали, что ихнее, — должны они воевать за это... все одно, как германцы... Ты же в ихнюю державу залез и большую шкоду им делаешь: все у них до тла обрываешь, — денной грабеж, — как же им не загрызть тебя до-смерти?.. Чисто германцы!.. За границей, бра-ат, там свое соблюдают!.. Я когда еще это узнал? Я это об загранице еще до войны, в плену еще не бывши, одним словом, как на действительной служил... Я тогда за кучера у командира батальона состоял, а где это дело было, то уж, дай бог память... Как если забыл, то ничего мудреного нет за столько годов... Однако помню: граница как раз австрийская там проходила,— считалось местечко — Жванец. По эту сторону — Хотин-город, по эту — Каменец-город, а наспроти — Черновицы, — это уж Австрия... А тогда не как сейчас, — время была мирная, — командир батальонный возьмет да мне говорит: — «Запрягай, Лука, до австрияков в гости поедем!..».— Запрягаю, — мне что? — и едут...

— Не должно быть, — сказал Максим строго. — Это же вражеская страна!

— Вот теперь я тоже думаю: — как же так могли? Или тогда времена мирные были, или как? А может я что позабывал... Ну, одним словом, ездили, я сам возил... Или это до панка какого на нашей стороне? Попьют-погуляют, — до зари домой... Чтоб ночевать, никогда не оставались... Хотя бы сказать — до панка, — как же тогда австрияк в шляпе соломенной? Австрияка ж того, старика, я крепче отца родного помню... Так дело было: везу я их, офицеров своих — их четверо сидело, — батальонный да еще трое, — будто по улице австрийской, а уличка узенька и сверху над ней вишня поспелая... А ягода крупная, не как наша, — ну, одним словом, шпанская... Офицеры, конечно, выпивши, кричат мне:—«Стой!..».— Стал я, приказание сполняю... Коней остановил, а они, молодые трое, ну те вишни обрывать стали!.. И выходит тут со двора австрияк в шляпе соломенной, старик, покачал так головой: — «И сразу, говорит, мне видать, что вы — русские!.. Сколько те вишни на улицу ни висели, австрийцы наши ни одной ягодки не обрывали, а вы как у себя дома, так и здесь!» — и говорит по-нашему очень чисто, все можно понять до слова... Оглянулся я на свово батальонного, а он скраснелся весь и мне кивает... Я по коням вожжами, — пошел!.. А потом, отъехали, — слышу, укоряет он их:— «Слыхали, что австрияк говорил? Спасибо, Лука догадался коней пустить, а то застрелить его через вас, господа офицеры, должен был я, австрияка

то есть того, старика, как собаку бешеную... Всю нашу Россию этот в шляпе старик оскорбил!.. А вы же считаете себя образованный кла-асс! А перед вишней спелой устоять вы не могли все одно как свиньи!..»— И так что после того случаю долго мы в те места не ездили. А когда война началась, я уж не в те места из запасу попал, а попал я на германский фронт, в Пруссию... Ну, сначала мы шли, известно, беспрепятственно и большой город мы ихний Лык взяли... Одним словом, названье только ему — город Лык, а лычка там не увидишь... Что дома, что магазины, что протувары на улицах, — эх, чистота! А это еще в начале войны дело было,— народ так еще не особачился, как посля! — гляжу я, — в один магазин мы зашли с товарищем, — а там все как есть побуровлено, поковеркано, только коробки пустые валяются, а обужу готовую всю казаки допрежь нас растаскали, и люстра висит разбитая, а ветер сквозной свободно везде ходит, и стекляшки на ней, какие половиночки остались, так тебе звенят жалко, аж тоска слушать!.. — «Пойдем, говорю, Фадеев, отсюда: прямо здесь как могила!..» — Идем это мы по улице, а нам навстречу девочка беленькая, — так годков ей не больше семь... И откуда такая? — Книжечки у ней в руке, — смотрит на нас с Фадеевым смело-храбро и нам по-своему, по-немецкому... Ну, мы тогда что могли понять? Я даже Фадееву свому: — «Что это она? От нас не бежит, а вроде просит у нас чего, что ли?» — А она опять нам смело-храбро и пальцем мне на живот показывает... Я головой ей покачал: не понимаю, мол... И Фадеев тоже... Стоим, башками мотаем... И та девчонка беленькая что же она сделала? Подходит ко мне храбро-смело и пояс мой в шлевку вложила, потом поклонилась бы вроде и пошла по протувару, каблучками стукает... Я говорю Фадееву: — «Смеется она с нас?» — А Фадеев мне: — Это ж немецкая девчонка... А они, немцы, так с малых лет приучаются, чтобы у них аккуратно все было... — «Стало быть, говорю, девчонка эта с нас смеется, что у меня пояс болтался?» — Поэтому выходит так... — «А ведь мы же ихний город заняли, мы хоть неаккуратные и пояса у нас болтаются, а мы же их сильнее?.. Как же она, девчонка малая такая, с нас смеется?.. — И взошла мне эта девчонка в мысль!.. А не больше прошло, должно, как две недели, немцы нас по грязи по болотной пленных гнали, — ну, не меньше, как тысяч шестьдесят: всю армию!.. А наш начальник дивизии, какой нам речь говорил: — «Братцы! Не больше пройдет месяцу, как мы в Берлине будем!» — генерал этот, немец, — вот фамилию забыл, — он это на наших глазах к немцам в автомобиль сел, сигару ихнюю закурил и дыр-дыр-дыр с ними по-немецки!.. Ей-богу! Все видели!.. А нас по грязи гонят-гонят, как стадо!.. А кто отстанет, пулю в него пустят, да дальше... Вот как мы, — не хуже, как вы за сливами, а немцы за нас взялись, вроде осы!.. Уж когда девчонка ихняя солдата русского учит, как ему пояс носить, чтобы зря не болтался, а в шлевку лез, — куда же нам было с таким устройством? Я в плену четыре года прожил, много горя не видел, а как сюда возворотился — вот без ноги хожу... С ногой это у меня прямо одна чушь вышла... Ну, по-первах, всем известно, как с окопа в лазарет

попадали?.. Выставит из окопа руку правую, — сразу не одну, так две пули поймал... Назывались эти: «пальчики»... А потом строгость на это пошла... Я-то думал тоже так — руку выставлю, — нет, брат: военный суд!.. Я тогда ногу под колесо сунул: мол, ногу отдавит, а сам я весь — живой, в лазарет, и домой отправят... Куда ж тебе — крепкая нога оказалась!.. Под три повозки ставил, — проедет колесо по ноге, и даже боли нет... Или это сапог такой был каляный, все одно лубок? Должно, сапог: он намокнет — засохнет, намокнет — засохнет... железо!.. Это я ночью, как походом шли, а на другой день что же? На другой день это самое и вышло: нас всех в плен забрали!.. Иду я, думаю: — Вот кабы ногу-то я себе отдавил, — это, стало быть, мне чистая смерть!.. Отстал бы я, а немец в меня пулю...

— Все ж таки не уберег ты ее, ногу!

— Ногу-то!.. Так это уж свои... Не досадно бы немцы, а то свои!.. Это ж когда я в Красной армии был, под Мелитополем, мы полустанок один заняли, ночью я в садок залез за вишеньем... а он так на отшибе садок, а часовому и покажись: белая разведка в кустах... Он винтовку на изготовку и даже минуты не думал, — может, это свой... Бац, дурья голова, в кусты спросонья, а у меня кость пополам... Даже лечить не стали, — отрезали...

Тут Лука вдруг ойкнул и замотал ожесточенно рукой: его ужалила в палец уж не оса, а только обломок осы, половинка ее, брюшко, к которому бездумно прикоснулся он, рассказывая о своем. Он сокращался, — этот беспомощный на вид комочек, — и чуть заметно то выдвигал, то втягивал жало и вонзил его в плотную плотницкую руку, так что Лука привскочил, стал дуть на руку, прикладывать к ней мокрую тряпку и ругаться.

— Вон как она тебя, а? — ликовал Максим. — Ты об одной ноге, а она и вовсе без ног осталась, — ноги ее в другую сторону пошли, так она ж тебя и безногая нашла!

— Ну, не стерва!.. — удивлялся Лука. — Жгет прямо, как все одно уголь! — и даже уважение было в его голосе и в глазах, когда он смотрел на этот снова и снова воинственно сучивший жало безголовый и безногий комочек: он даже раздавить его не решался.

Таких комочков золотистых валялось на верстаке много, но ловко отсеченные передние половины ос бродили всюду и шевелили крылышками, а, натыкаясь на лужицы и капли молока, попрежнему, как будто ничего не случилось с ними, начинали жадно сосать и обхватывали лапками крошки и усердно щекотали их хоботками.

Алексей, который был потяжелее и Луки и Максима, бритый, краснолицый, с белыми ресницами и очень подвижными рыжими бровями, с никуда не спешащим вздернутым и так застывшим постановом прямых плеч, с жирной грудью, видной в прорезь расстегнутой рубахи, с закатанными рукавами, обнажившими толстые у локтей золотоволосые руки, до того старательно жевавший остатками пятидесятилетних зубов хлеб

и сало, что даже и не вступал в разговор Луки с Максимом, теперь как раз кончил жевать и вытер фартуком рот.

Он тоже нагнулся над верстаком посмотреть, что могут делать осы, когда они разрезаны пополам в талии и каждая половинка начинает жить особо, и, приглядываясь, заговорил изумленно:

— Ну, не жадные черти, а? Смотри!.. Ведь это ж им смерть, а они об том не соображают, а готовы и после своей смерти все жрать!

— То чорт с ними, что жрут, а вот же руку печет, как огнем! — испуганно удивлялся Лука, держа в молоке палец.

— Ну, так ей же злость свою сорвать надо, а ты что думаешь?

— После смерти своей?

— Хотя бы ж... А то как?.. Раз злости своей не сорвешь, это ж тяжелей ничего на свете нет!..

И три человека, которым в общей сложности было больше, чем полтораста лет, смотрели то на копошащиеся кусочки на верстаке, то друг на друга, и у морщинистого бородатого Максима был вид несколько снисходительный к двум другим: он з н а л, что такое осы (узнал в детстве), и теперь задал эту свою задачу Луке и Алексею, — решайте, — и в мозгу Луки засело без устали жалящее воздух безногое брюшко, а в мозгу Алексея — жадно сосущая молоко и сало осиная головка, как будто может она обойтись без брюшка одними ножками и нелетучими крыльями.

Наконец, точно сразу придя к одной совершенно бесспорной мысли, начали все трое давить эти остатки ос — один сосредоточенно, другой испуганно, третий брезгливо, и когда покончено было с ними, усевшись на досках, где и раньше сидел, только плотнее и покойнее, заговорил Алексей:

— Вот через такую жадность я и черешню свою спилил... Через людскую жадность спилил, — я об людях говорю, которые не хуже тех ос: от них уж и так голова одна осталась, и глазки имеют маленькие, а жадные без числа, и все готовы зубами схрустать, а ты ж оглянись — погляди, куда ж оно может дальше пойтить!.. Ей же итить дальше некуда, — как ты уж пополам порубан и раскидан куда зря!.. Э-эх, люди!.. Спилил к чертям, — как я через эту черешню со всем округ себя соседством поссорился...

— Ка-ак спилил? — жалостно удивился Максим.

— Что-о?.. Скажешь спилить не имел права?.. Она, брат, зле мово дома стояла, сам я ее сажал, сам поливал, а не то что мне ее власть дала! Вчерашний день, с работы придя, и спилил ее к чорту!.. Почему такое?.. Соблаз, — вот почему!.. А ты что думаешь?.. Стоит дерево-красота у всех на виду и кажный глаз к себе манит: почему это у Алексея черешня есть, а у меня нету!.. Должна у кажного черешня быть, а не чтобы мое — твое... По-нашему, по-русскому, так выходит, а в плену я не был, за другие царства я молчок... Э-эх, замечать я стал округ себя, до чего же лютой народ пошел-образовался!.. Сущий зверь! Об мальчишках, девчонках

не говоря, а об том народе я, какой в годах, и какой в виду... Это ж кто того-другого на мушку не посадил, да мне таких людей, почитай, и видать не приходилось... Звездарев-штукатур, весной тут работал, комнаты белил, а потом смылся, — это ж убийца: двух человек зничтожил, — люди с его деревни говорили... Про двух люди знают, про этих говорят, а про каких не знают, про этих молчок... Кондуктор был старорежимный, между Харьковом—Киевом на товарном ездил... Он, Звездарев, к нему и подсыпался в те года... не то в 20-м, не то в 21-м... Да, кажись, в 21-м... — «Вот, говорит, в економии одной, — теперь она совхоз, — двадцать мешков сахару-рафинаду спрятано, человек один продает крадучи, — купить если, это ж товар, лучше не надо! Бери деньги, айда прямо ко мне в деревню!..» — А тот бра-авый из себя мужчина, — известно кондуктор старый, это ж не то, что теперь пошли — один рахит с золотухой, а то и вовсе баба какая... Это ж красавец был, вид имел, при часах серебряных, — приз выбил, когда еще на службе военной... Ну, вот, что скажешь? — Взял да поверил чорту! Явился с женой, двоечкой, прямо к Звездарю в хату... А Звездарев тоже с женой вдвох работал... — «Нехай, говорит, баба твоя посидит пока, как она уставши с дороги, а мы с тобой дойдем — сговоримся, потому, до завтрего ждать, кабы кто другой тот сахар не захватил...» — Вот ведет он его, ведет, — а дело к ночи, — ну, зима, — месяц светит, от снегу, конечно, тропку видать... Завел беднягу за гумна, да как чкнет из револьвера в голову, сзади идя... Тот упал, а еще живой... Он его еще раз!.. Опять живой... Еще!.. Нет, бормочет... А тут патронов больше нема... Он ему веревку за ногу привязал (рук даже боялся и трогать, потому кондуктор этот силу имел большую), — поволок в речку, в пролубь!.. Тут в пролубь ему голову всунул, — давай карманы обыскивать... А у него денег-то самая малость... Как это так? Не иначе у жены деньги!.. Ну, он его под лед спустил, — скорей в хату... Жене своей говорит: — «Души ее!..» — Ну, та, конечно, женщина, — мнется, — робость у ней... Он ее пихнул да сам к той: схватил за косу, да за горло... Женщине много не надо... Деньги, какие были, обобрал, а ее опять куда же? Ее в соломы омет: закидал, и все... Ну, зимой она знаку не подавала, а к весне дело, как уж лед тронулся, он ее из соломы вытащил, веревку с кирпичом ей примотал, да с берега бултых, ночью тоже... Думал, конечно, что ее понесло: полая вода быстроту имеет, ан она и шагов сто не проплыла: кирпич в кореньях запутался, вроде как на якорь она стала, а упала вода, — люди смотрят, — вот она вся: женщина неизвестная, волосья размотаны, а сама страшная... Долго искать не стали, чья такая... Раз баба чужая, — значит, дело не наше... И Звездарев кричит: — «Закопать ее к чертям, падаль эту!..» — Так на бережку, далеко не нося, закопали... А потом, уж год прошел, — родные ее кинулись свою бабу искать: куда девалась? Говорят им: — «Уехала с мужем, и оба счезли». — Как это счезли?.. — Одним словом, там парнишка был у них шустрый, красноармеец бывший... Приехал в тую деревню: — «Где у вас тут женщину закопали? Раскапывай сейчас, — у

ней примета есть!..» — А примета, говорят, какая? «Двух пальцев на левой руке не хватает...» — Ну, значит, уж раньше того была резаная... Раскопали кости, — так и есть: двух пальцев нема! Ну, жена Звездарева от страху того призналась, его и забрали... И что же ему дали за это? Три года он посидел, — выпустили... А люди его здесь на работу берут и знать даже того не знают, — кого же это они берут?.. Эх, дай водицы ледяной выпить, — душа горит!

Максим подсунул к нему жестяной чайник, сказавши:

— У нас уж самая ледяная: тот же кипяток!

Алексей пил сначала из носка, потом открыл крышку, подул и стал пить через край, пил долго, а отставши, наконец, — сморщил нос и губы, вздохнул и заговорил:

— Нет к рабочему человеку внимания!.. Нет и нет... Ему что надо?.. Зимою чтобы чай был горячий, летом чтоб вода ледяная... Вот когда он может ожить... А черешню свою это я через одного мальчишку спилил... Через Петьку Рыбасова... Не знали Рыбасова? Или вы здесь недавние, правда, поэтому вполне можете не знать... Рыбасов сам, это был Федор, свининой с рундучка торговал, а когда свинины не было,—мясом, а когда рыбой тоже... Мы тут только говорится зле моря живем, а рыбу только весной видаем, и та какая рыба? — Камса! Что привезут к нам теперешнее время судака во льду, то и наше... А он, судак этот, какой?.. Мне же это хо-ро-шо известно, двадцать разов видал!.. Поступает она, матушка, рыбка эта на зады, где ямы выгребные, и там, конечно, водопровод есть... Вот под краном жабры ей холодной водой вымоют, крови бычачьей — из мясной возьмут — туда, в жабры покапают, и пошло: — «Эх, рыбка первый сорт, первый сорт, — прямо из моря!.. Наземь упадеть, бегать зачнеть... Вот рыбка, вот рыбка!..» — Подходит хозяйка какая, понюхает: — А чтой-то, будто запах есть? — «Что вы, гражданочка, запах обыкновенный, рыбный: у мяса свой, у барашки свой, и рыба опять же свой запах имеет... Сколько отвесить? Али поштучно желаете? Можно поштучно...» — Так и рассует ее Федор... И что же ты думаешь? На что голодный год был, — и то не помер... Он себе два камушка гладких нашел на пляже, друг ко дружке их приладил, а к камушкам — палочку, а к палочке веревочку, — образовалась у него мельница!.. И так что не только кукурузу, — пшеницу молол, ей-богу!.. Принесет к нему татарин какой пшеницы пуд, он туды-сюды, — за палочку, за веревочку, и камни вертятся, и мука бегит... С пуда четыре фунта ему оставалось, он и сыт... А мальчонка этот, Петька, — тогда пупырь еще был, — стоит за воротами и всех встречает, кто с мешком идет: — «Вам куда? На мельницу?.. Это вот сюда, в калитку, направо!..» — Так что все с этого мальчишки удивлялись... Ну, сколько ему тогда? Ну, пять годов было: пузырь!.. — «Вам, дядя, на мельницу?..» — А там и мельница-то — два камушка да палочка... Концы концов утопнул он... не мальчишка, а сам Рыбасов Федор... Связался со Степкой-матросом... И нашел же с кем связаться! Тот же своей жизни никогда не жалел... Что ни вонючее ему давай, —

слопает, ему ничего... Мешки ли на пристани таскать, другие в поту все, как лошади, а он — скрозь сухой... — «И даже, говорит, не знаю, что это за пот такой!.. Пятьдесят пять лет прожил, потинки на себе ни одной не видал!..» — Камень на соше били, — он в артели с другими, — вдвойне против всех выгонял... а каким же манером?.. Ночью все спят, уставши, а он встанет часа в два, мешок на плечи да на сошу... Пока другие проснутся, он из кучек, — какие подальше только, — из ближних, из тех не брал, а какие пódальше — хитро-о поступал! — понатаскает камню битого мешков тридцать, усядется, колотит свое... Встают другие, — гора у него камню набита. — «Степка, чорт, да ты когда же это?» — А вы бы, черти, дрыхали больше!..» — Один жил и все в земь ховал. Деньги откуда получит, — и те в земь зароет... А курица гребет лапами, — глядишь, выроет. Мальчишки подберут, — легкого табаку себе на его деньги понакупают... А как в сады на работу, на уборку фрукты пойдет, он, бывало, пудами груши в землю закапывал... Наворует, а куда же их? Не иначе в земь!.. Там же, поблизу где, под деревом... А свиньи ходят, разроют весь его клад,— сожрут на здоровье... Ну, так чтобы он не украл,— этого он не мог. Винограду притащит мешок: — «На, Алексей, только бутылку вина становь!..» А в мешке пуда четыре... Это ж четыре ведра надавить можно, а он за бутылку отдает!.. — «Как же это ты умеешь, Степка?»— Вона, скажет, у-меешь! Дивное дело!.. Я когда на службе был, у свово командира часы золотые спер... Пошел их закладывать, а мне там: —«Как ваша фамилия?» — Вам, говорю, часы принесены, а не моя вам фамилия!..— «А, ну, тогда вот к этому окошечку подойдите, — тут нам виднее часы ваши поглядеть, какой у них ход — анкерный...» — Только, говорит, подхожу я, а из окошечка щелк, и ничего больше... Часы взяты, квитанция дадена, а за деньгами завтра в десять утра, а то кассира сейчас нет,— он так поздно не займается... На корабль на свой прихожу, а там уж все до точки известно, и портрет мой туда представлен... Конечно, на фуражках у матросов пишется, какой корабль... Меня к командиру. Тот, ни слова не говоря, хлоп мне в ухо! Я — брык на пол и лежу. Потом думаю: «Должно встать надо». Только подымаюсь: «Виноват, ваше высоко...» — А он мне опять — цоп по скуле! Я — брык, и вроде даже без чувств. Мне этот бой его, конечно, сущий ноль, а ему (это все ведь знать надо!), ему-то лестно, что кулаком матроса с ног сбивает!.. Вот сила у него какая, — несмотря, что седой!.. Так тем и кончилось — боем этим... и даже под суд не отдал, и так что даже и под арестом я не боле недели сидел... — Как начнет рассказывать, где он плавал да чего с ним было,— скажешь ему:— «Степка, чорт, а ты же не врешь?»—А он: — Разве же так складно соврать можно?.. — А здо-ро-вый, несмотря, что рост имел небольшой... Купаться разденется, — ну, прямо сиськи у него на руках!.. Так что раз мы купались так-то, а Мирон-кровельщик мне: — «Замечаешь, сиськи какие у него оповсюду торчат? Это ж и называется си-ила!..» — Он, как у нас тут красный фронт открылся с татарами, подался в Севастополь: — «Принимай меня, товарищи, у орудия стоять буду!» — Там ему: — Ста-

риков нам не требуется, — молодых хватает!.. А я, говорит, как осерчал:— «Давай, говорю, молодых твоих дюжину, в минуту половина за бортом будет!..» — Ну, конечно, ему поворот... Он сумочку на плечи, опять сюда пришел. — «А только, говорит, дачу брошенную где-то нашел, ночевал в ней, а утром проснулся, поглядел, — округ его мебели всякой полно, а такого, стоющего не-ма-а!.. Искал-искал, шарил-шарил, — уж до него обобрали... Гардеробы пустые да книги разные толстые... Книг до ужасти много было... Как схватил я, говорит, палку, да как начал направо-налево крестить да все рвать, да ногами топтать!.. Ну, стоит статуйка какая небольшая, — девка голая, — это же разве мыслимо?.. А чего стоющего не-ма-а!.. Таких там черепков наворочал, — гору!.. Кабы спички были или хоть зажигалка оказалась, я бы, говорит, подпалил все к чорту,— ну, не было!..» Эх, а терпенье ж у человека было какое!.. Сроду другого такого не видал... Мы раз с ним мост поправляли... Вот через речку мост какой стоит, — это ж наша с ним работа... Он, конечно, за рабочего, — балки подымать... И случись, — одна балка дубовая ему на пальцы закатись... Два пальца отдавило... Не то чтоб их прочь долой, а уж кости живой не осталось... Балка ж дубовая, толстая, — для моста, известно, сосна не идет... А рука неважная, левая... Обмотал он ее тряпкой, — ни черта, опять ворочает... И так что два дня он виду не подавал, а на третий малого скрутило... И чем же его доконало? Подмышкой начало пухнуть... Я его в больницу турю, а он мне: — «Сроду в больнице не был, а то из-за такой пойду ерунды!..» — Так и не пошел. Полушубком укрылся, лег... День лежит, два лежит... — Ты ж, говорю, пропадешь без больницы! — «Нехай, говорит, пропаду!» — Ну, лежи, когда ты такой огнеупорный... — Дня через три опять к нему захожу, а он что же делает?.. Зеркальце, — так шибочка маленькая, — у него на подоконнике стоит, а он с лампочки горелку отвертел да карасином себе подмышками мажет... карасином!..—«Ты ж говорю, чорт, что же это делаешь?» — Огурцов, говорит, мне соленых поди расстарайся, да вина покрепче, а то я четверо сутков совсем не жрал! — «А опух же твой как?» — Выдавил, говорит, к чертям... И черви, какие там завелись, — белые, в палец, — и червей тех долой!.. — Вон он какой был, Степка этот матрос!.. — Дай-ка, Максим, еще водички выпить, душу промочить!..

— Ты же об черешне своей хотел... — заметил было Лука на деревяшке, но Алексей, напившись, уставился на него красными глазами в рамке белых ресниц весьма удивленно:

— Так, а я об чем же?.. Об черешне ж тебе и говорю... С Рыбасовым Федором будто за султанкой поехал он, а ялик, конечно, спер... А разве хороший ялик спереть можно, — ты подумай!.. Это уж ялик был такой, на произвол брошенный... В нем, конечно, течь, — руку закладывай, а как следует заделать — гудрона даже, — и того не было... Где его по тем временам найти, гудрон? Шуточное дело, — гудрон!.. Тряпками кое-как забили, — по-да-лись!.. А Рыбасов этот — он такой, что его редко кто и Федором называл, и фамилию его забыли, а назывался он Бас. Из

себя сухощапый, и росту был, ну, не выше меня, а как крикнет вечером, лампа тухнет!.. Вот скажи, отчего это, а? Пятнадцать человек нас было, — ей-богу, я сам считал, — изо всех сил мы по команде кричали, аж посинели от крику, а сами на лампу смотрим: хоть бы тебе шевельнулась! А он как запоет божественное (он, кроме божественного, не признавал), — глядим, — лампа наша миг-миг — и потухла!.. Прямо, два бы дня даром работал, а деньги бы ему отдал: пой! Вот до чего нравилось мне того баса слушать!.. Он раз в столовую на базаре зашел, а денег на обед нема, а хозяин-болгарин ему: — «Спой, говорит, Бас, обед поставлю». — Я, говорит, кроме божественного, не могу, а теперь народ леригии не приверженный, — ну, как смеяться будет? — Тут ему все уверяют: — «Пой, ничего!..» — Он и пошел обедню жарить. Прямо, — гром с неба, и весь базар сбежался!.. Конечно, милиция запретила... Прежде бы ему с таким голосом, когда по церквам хоры, — эх-эх!.. Он и видать в хоре хорошем пел, все службы знал, и так что даже попа нашего раз пощунял на Пасху: — «Что же, говорит, ты величанье Пасхи пропустил? Мы же зачем здесь в церкви собрались? Мы чтоб ее матушку-Пасху провеличать, а ты это самое главное и пропускаешь!» — Так что поп наш тык-мык, и, что отвечать ему, сам не знает... — Извиняюсь, говорит, величание, действительно, я пропустил... В другой раз этого уж не будет! — «А в другой раз меня в вашей церкви не будет, когда такое дело!..»—Вон он, Бас этот, как тонко все знал!.. Да он на службе церковной самого бы архирея сбил!.. Он ведь тоже не хуже Луки — вот в плену у немцев находился, по шахтам там работал, уголь копал, и так мне потом рассказывал: — «Составили, говорит, мы там на шахтах хор, да такой вышел хор знаменитый, что ихнее начальство немецкое на ревизию приезжало, как нас послушало, как мы поем, аж заплакало да говорит: — «Выдать им, сукиным детям, по бутылке рому на брата!» — И выдали!.. — Пятнадцать человек их в хоре было, пятнадцать бутылок с немца заробили... А так мужик он был тихий, этот Бас, — не знаю, ни в чем не замечен, — а мы ведь рядом жили... Ну, семья, конечно, одолевала: жена больная да ребят трое... Он и на то и на се кидался... Печи класть кафельные мог, а печи кафельные класть это не всякий печник согласится, — с ним надо уметь, с кафелем, как его поставить, чтобы он обратно не шлепнул, ну, да в то время какой-такой кафель? Его и сейчас-то нигде нет... Иконостасы мог он золотить тоже... И-ко-но-ста-сы!.. Кому теперь нужно? Об них и думать забыли!.. Свининой торговал, — опять толку нет... да и свиней тогда, — у кого они были, сам тот и резал... Нужда! Вот он Степке-матросу и попался... Тот дела свои по ночам завсегда один делал, а спал если дома, — он же рядом со мною тоже жил, — никакой каравати-маравати не знал, — прямо на полу, и нож с ним рядышком... Проснулся, — первое дело он так руками цапает: нож в руку взять!.. Нож схватил, — тогда только глаза открывает и сразу на ноги — хлоп: готов!.. Может куда угодно итить... Умываться, — это он никогда не занимался... «Я, говорит, человек чистый, — чистей воды...» И всегда один... А тут,

с Басом, он уж иначе: в море, видишь, одному нельзя, — море компанию любит... Ну, он, Степка, другого никого не искал, только Баса, — знает, что мужик тихий... «Поедем, Бас, султанки привезем!..» А у того ж семейство, он об нем болеет... Хорошо даже не расспросил...—Ну, что ж,— поедем... — Чем свет и пошли... А султанку, ее где ловят? Ее зле берега: это рыбка недальняя... А, между прочим, человек один их заметил двух: «Сели, говорит, двое в ялик, — один повыше, другой пониже, и поплыли себе в море... думаю так, — рыбацкие крючья щупать, какие на камбалу поставлены... Потому, — для султанки сеть такую надо иметь, вроде ятеря... Сеть эта ялику на нос кладется и издаля она очень заметная, — между прочим, я не заметил...» — Одним словом, с сетью ехать за султанкой надо, а сеть, конечно, сперва достать, а он, Степка, только ялик этот калеки пригнал... — «Купил, говорит, и буду теперь рыбальством заниматься, как я есть моряк природный...» — Ну, уж как поехали тогда, так больше ни Степки, ни Баса мы уж не видали... Не иначе, на худой посуде залились... Ну, Степан хоть отчаянный, а Басу — нужда подошла... Жена больная лежала, детишки... Я их потом хлебом кормил... Или так где, бывало, свинятники борова купят, режут-смалят, я туда Петьку посылаю: — «Беги, потроха проси, как твой отец-покойник тоже по свиной части занимался!..» — Глядишь, ему печенку, легкое дадут... А мальчишка шу-устрый был!.. Ну, что ж, на такого он доктора наткнулся, на неука... Как Степка-матрос докторов не терпел, так и я, признаться, пользы от них не вижу... Крепко много они на тот свет людей загоняют... Ну, и я ж зато одного доктора на тот свет загнал, — во-от загнал!.. Лет семнадцать, а может, все двадцать назад дело было. Доктор тут жил один приезжий, — я ему дачу строил, а пришло время ему бассейн бетонный делать для воды, он опять же ко мне: — «Так и так, Алексей, сделай!» — Я же, говорю, есть плотник! — «Это я, говорит, хорошо сознаю, только я к тебе потому, что за честного человека тебя признал, — на мошенника очень боюсь нарваться!» — Это-то, говорю, хоть так... Мошенники теперь кругом... — Ну, что ж, тогда возьмусь, говорю. — Нашел из рабочих, какие на толчке стоят, знающие бетон мешать, — взялси!.. А, конечно, выставки становить — обшивать, упоры давать, это, все равно, моя же работа: без плотника не обходятся... Я это форму сбил, ребята, трое, бетон мешают... — «Сыпь!» — Валят-трамбуют, знай, валят-трамбуют... Смотрю, — что за страсти? Как в прорву!.. Влез я в яму, — как тут и была! Вся наша форма разъехалась!.. Стоп, — бетон назад выгребай!.. А жарко, лето, не хуже вот этого, — июнь, — боюсь, бетон погибнет!.. Я сейчас одного малого вниз на базар: — «Бери еще двоих-троих, сколько на толчке окажется!..» — Другого на лесной склад: — «Тащи бегом доску вершковую!..» — Третьего за водкой: — «Неси две бутылки!..» — Сам тут около в сад за виноградом сходил... (Значит, это уж в августе дело, — виноград тогда был!..) Поел фунта три, лег, от мух закрылся. Только это сон меня взял, а он тут и есть, доктор этот... В яму посмотрел, заметил, да ко мне!.. То-се, подобное... «Ах, ты, говорю, чорт

старый!.. Ты что мне каркаешь в уши? Не видишь, — у меня тоска, и рабочих куды зря погнал?.. Да как следует его, как следует!.. Схватился он за живот: — «Ох! Ох!.. Сердце зашлось!.. Я — человек дюже крепко ученый, а ты меня так не по-печатну!..» С тем и лег, — ей-богу!.. Лежал с неделю, а потом жена-старуха в Москву его потащила, лечиться... Нет, брат, не вылечился! Больше уж не приехал, помер там... Вот как я его: — словом одним убил!.. Что значит, народ-то ученый!.. Нашего брата обухом колоти, мы все живы, а они от одного слова дух спускают!.. А еще хотели спроти нас войну весть!.. То-то мы от них клочья оставили... Не хуже, как я взялся трубы в одном доме чистить... Это в двадцать втором годе, — тогда люди за все брались, лишь бы подковок не отодрали... Может, лет пять, а то все десять не чищено, — понимаешь? И дымоход от печки до чего по-уродски сложен: косяком так идеть вдоль стены, камнями заложен, и пошел косяком до потолка, — как его чистить? Стенку, что ли, ломать?.. Взял я соли котелок, карасину туда, в соль налил, в печку поставил и сижу около: что будет!.. Как начала моя соль рвать, как начало там стрелять!.. Сижу, не жукну... Кэ-эк загудело!.. Думаю даже, может, это прибой такой сильный?.. Ан это моя соль так работает... И до чего ж я тогда спугался! Что вспомнил? — Трубу, вспомнил, я не открыл!.. Выбежал на двор посмотреть, а моя сажа прямо клочьями из трубы чешет!.. Значит, это я другую трубу не открыл, а эту открыл, а то бы пожар явный... Ну, тут уж и безо всякого пожара такое пошло, — весь дом сбегся!.. Огромадные клочья из трубы кверху, и горят!.. Я опять к своей печке, — прижук... Думаю: «Сейчас команда пожарная прискочет, и мне труба!..» Бунит, понимаешь, как все одно море... Ну, слава богу, пожарные другим делом заняты были: два года своей жизни справляли... а то бы за такое дело... Так всю сажу ее и вынесло к чертям!.. Со-оль!.. А бертолетой, я слыхал, на Кавказе, когда деревья большие корчуют, вон какие махины рвут!.. Так и летят с земли, как галки! И никакого тебе пороху не надо: наука!.. Лектричество, ты думаешь, штука мудрая? Ан я до нее сам достиг... Как что где по складам найду — прочту насчет этого, какой порошок надо взять или что, — сейчас в аптеку: — «Давайте мне этого вот!» — Да это, говорят, тебе ни к чему, да дорогое: два рубли стоит... — «Что за дорогое, говорю, два рубли, когда я в день пять обгоняю? Сыпь, тебе говорят!» — Таким манером я сколько там денег на это извел, а все ж таки я добился... Хлористый цинк главную роль играет...

— Ка-кой цинк ты назвал?

— Хлористый... Тридцать пять граммов, — понимаешь?.. Одного тридцать пять, другого, третьего, — я уж забыл чего, — и ведь как действует!.. Хлористый цинк этот, его года на два хватает... А тут есть у нас Коротков Евсей, тоже плотник, — теперь уж он дюже старый, — тоже вот, как с вами, вместе работали... Идем с работы, — а он же старый, — ворчит мне в ухо: — «Ты, грит, лектрическим светом занимаешься, а над просветами должей меня провозился!..» — А он — подслепый: раз

сумерклось, — шабаш, — вроде куриная слепота у него... А зле дома его — яма: для столба телефонного выкопана или так зачем... Вот я иду с ним да на яму эту потрафляю... А он, знай, свое: — «Ты же, говорит, и когда пьешь, примерно, так ты же пей с толком... Я, говорит, и сам всю жизнь пью, а только я пьяный никогда ще не валялся!..» — И только это выговорил, — в яму!.. А тут жена его зле дому... — «Бери, говорю, мужа свово, должно, крепко дюже пьяный!..» Ух он же тогда и расшибся!.. Пришлось нам его с бабой на себе тащить... Ден пять пролежал, — с места не вставал...

— А ты же хотел насчет черешни своей, — грустно напомнил ему Лука, все еще дуя на свой палец, укушенный полуосою.

— Ну, а я ж тебе об чем же? — удивился Алексей. — И я же тебе об Петьке Рыбасове... Он, Петька, мальчишка уважительный очень был... Куда его послать, что принесть, это он сбегает, слова не говоря... И собой ничего был... Так ему уж годов двенадцать, должно, сполнилось... Корпус справный, и с лица тоже... Или уж я привык к нему? Да нет, безобразным никто не звал... Только шишка с орех, — вроде как кила́, — желвак такой на шее... С орех волоцкий... Ну, желвак и желвак, — и пусть... Что ему, замуж выходить? А мать же его, мальчишки этого, в больницу служить поступила, а как белый халат надела, — отступись, не подходи! — «Ти-ти-ти, ти-ти-ти, — так и поет щеглом. — Операцию, операцию!..» А у ней же еще двое ребят, — ну, те девчонки... А я ей даже говорю: — «Кабы прежнее время, я бы его к себе по плотницкому делу взял...» Ну, конечно, теперь уж не возьму, — теперь учеников брать не полагается, а откуда мастера новые возьмутся, как мы, старики, подохнем, этого нам не говорят... Опе-ра-ци-ю!.. Дюже крепко умна стала! «Ти-ти-ти, ти-ти-ти...» А черешню, ее у нас скворцы одолевают... Чуть они поспевать, — тут и скворцы поспели... Чем свет прилетят стаей, — в пять минут всю дерево оболванят, — только косточки одни болтаются, а листья — все одно, кровью попрысканы... Тут уж не зевай, — чем свет выходи смотри... А у меня ж сорт был крупный, красивый, называемое «бычье сердце»... Стемна красная... Вот я четвертого дня чем свет встал, смотрю, а на черешне вместо скворцов Петька Рыбасов сидит. Тут в картуз рвет — поспешает, тут трудится!.. Я ему: — «Ты же, стервец этакий!.. А ну-ка, слазь!.. А ну-ка, я тебя ремнем!..» Слез он, сам мне картуз протягивает: — Дяденька Алексей! Дяденька Алексей!.. — Одним словом, отмолился... А я ему: — «Ты бы, говорю, у меня попросил лучше: — Дяденька Алексей, дай черешни!.. — Я бы тебе, слова не говоря, дал... А теперь, раз ты такой воришка оказался, то и картуза ты не получишь!» — Ну, он пошел, и так что день цельный мне на глаза не попадался. На другой день является: — «Картуз дай!» — На тебе картуз! — Отдаю, ни слова не говоря... А он шишку свою рукой трогает: — «Меня, говорит, нонче резать в больнице будут...» — Ну, что же, говорю, пущай, ежель мать твоя стала такая крепко умная... — «А ты же мне, говорит, обещал черешен дать, ежель я попрошу... Я, говорит, рвал, действительно,

а съесть я ни одной не поспел». — А я ему на это, конечно: — А ремня не хочешь? Ишь ты, черешней ему! А за вухи к матери отведу, — не хочешь?.. Ты же мне, лазявши, две ветки обломал, дерево попортил!.. — Ну, он пошел, а сам невеселый... А у нас тут старых докторов-то их не осталось, — все пошла молодежь, неуки... Эх, доктор был раньше Молчанов, — вот того одобряли! Бывалыча, куда бы ни позвали, хоть к бедному, хоть к богатому, — без сороковки из дому не выходил... Войдет в дом, — он сначала сороковку из кармана на стол... Нальет, выпьет, аж потом только глазами лупает: — «Где больной? Давайте его сюда!..» — Вот раз так-то его позвали, — пришел, выпил сороковку... — «Давайте больного!» — Говорят: — К больному подойтить надо... Он тоже вот так-то, как вы, — пил-пил, да теперь трое суток сидит не разгибается... Только молоком его поим... — Подходит доктор Молчанов: — «Что-о, брат! Залил в печенку?.. Теперь же у тебя кишка, как бумага папиросная... Ни боже мой, тебе такого кусочка хлебца нельзя!.. На-ка, вот пилюльку одну проглоти: сам такие от пьянства принимаю...» — Проглотил малый, — и что же ты скажешь? На наших глазах разгибаться стал!.. Эх, до чего же был доктор знаменитый!.. А эти теперь что?.. Мальчишка пошел вроде бы пустяк сделать, а его там зарезали: жилу какую-то сонную перерезали, — кровь и пошла винтом!.. Туды-сюды, метались, как кошки, а мальчишка кровью истек!.. Как я про это услышал вчера, пришел, — у меня на глазах аж слезы... Что же это вышло, — до чего же я-то зверь стал, что раз мальчишка у меня перед смертью черешни попросил, а я ему взял да не дал!.. Сущий я после того азият стал! Перед смертью мальчишка, а я ему чепухи пожалел!.. Вот посмотрел я на ту черешню тогда да говорю жинке своей: — «Когда такое дело, — выноси мне пилу двухручную, я ее сейчас долой!.. Полное право имею, раз она в моем дворе, а чтобы мне через нее зверем быть, да чтобы воров через нее делать, — не надо!.. Другой бы и не хотел, да у него нет возможности, понимаешь? Терпенья к ягоде нет!.. Давай, жинка, ее лучше от греха спилим!..» — Ну, баба моя, было, на дыбошки. А я ей кричу: — «Хочешь живая остаться, берись за тот край, пили!.. Пили, а то изуродую!» — Ну, она после этого пилу бросила да бежать!.. Я уж тогда этой плотницкой своей спилил ее, ягоды обобрал, топором ее порубал, в кучку склал, нехай сохнет, — осенью спалим... Жинка ругается, а я ей одно свое: — «Когда раз народ такой округ нас живет, что без того он не может, чтобы на черешню не залезть!.. Глазки у него маленькие, а он весь свет норовит обворовать-ограбить!.. Зле такого народу живешь, напоказ ничем как есть не выставляйся, а подальше ховай!..» — И когда ж у нас те воры переведутся?.. Будет у нас когда такое время?..

Алексей приподнял кепку и почесал лоб, потом поднялся и сам.

Кончился обеденный отдых, — нужно было снова начинать выстругивать филенки для дверей.

Максим, наскоро разрезав пополам еще двух ос, сложил свой ножичек, вздохнул и сказал задумчиво:

— Али пойти опростаться?

И когда он вышел из двери балагана, а за ним заковылял Лука на деревяшке, Алексей внимательно поглядел на ящик новых трехдюймовых гвоздей, стоящий под верстаком, потом еще внимательнее на сквозящие стены балагана, кашлянул и, решительно запустив правую руку в ящик, набрал гвоздей, сколько могла держать рука, и, отвернув фартук справа, проворно высыпал их в карман широких штанов... Потом он зевнул, еще раз оглядел обшивку балагана и, не желая терять ни секунды, запустил в ящик левую руку, отвернул левую полу фартука и уверенно высыпал гвозди в левый карман.

Большое Седло.

(Рассказ).

Иван Новиков.

Те, кто вырос в маленьком городке, едва ли не на всю жизнь хранят не одни лишь воспоминания об игрушечных годах младенческого своего бытия, но крохотные эти улицы, тесный домишко и тесный семейный уют кладут отпечаток на все их и взрослое существование. Они вырастают чувствительными, с тонким, порою даже немного болезненным чутьем к мелочам. Какая неправда, будто провинция груба, примитивна, что будто бы всю ее психику можно удобно расположить на пятачке — все равно царского, все равно и советского времени!

Но есть несомненно и какой-то ущерб, какая-то неширота органическая: несправедливость их только ранит, обида может пригнуть, неудача — сломать.

Клавдия Плаксина выросла в семье часовщика, жившего впроголодь с большою семьей на углу Протопоповской и Крестовоздвиженской в крохотном городе, богатом церквами и славным весеннею конскою ярмаркой. Пестрое тиканье и разнобой по стенам, кукованье кукушки на собственных, перешедших от деда, «фамильных» часах, утренний звон колоколов и колокольные сумерки, — все эти звуки неспешного времени качали ее с колыбели. Раз в году, вместе с весной, зацветал городок и зацветала семья: на ярмарку ехали люди и ехали с ними часы — надобно их было чинить; немало часов, прибывших здоровыми, рушились в городе — во время катаний, в жарких биллиардных боях. В тесной каморке часовщика это были дни праздника, ибо всегда был безработному праздник — найденный труд. Мальчики переставали ходить в школу, женщины вовсе стушевывались, ступали на цыпочках; Клавдия предоставлялась сама себе. И, предоставленная сама себе, она убегала с подругами, такой же скуластой и замызганной детворой, на базарную площадь, где сновали цыгане, похожие на бородатых красивых чертей, лихие помещики-недоросли в шелком расшитых рубашках и синих поддевках, с талией в рюмочку, с крепкою трубкой в зубах и с не менее крепкою руганью, родовитые (из поколения в поколение) маклаки и барышники в засаленных, потных полухалатах и картузах и, наконец, главное племя,

уже не человеческое: каурое, рыжее, гнедое, соловое и вороное, серое в яблоках. Кони были стройнее, нервнее, а подчас и умнее людей; суховатые головы их с настороженными ушками, остро заточенными, кивали над спинами и головами толпы, подобные гребням волны в этом живом взбаламученном море.

И как бывает (идешь бережком) — играет в волнах, дробясь и сверкая, яркое, резвое солнце или плещутся ночью в лунных сетях серебристые рыбки, так и это серо-сизо-стальное море мужское было расцвечено, как позументами, женскою бязью: золотая финифть сверкала в улыбке, во взглядах — косых и как будто нечаянных, — в заливчатом смехе; плечи были покаты, груди высоки, шали пестры.

Городок зацветал, базарная площадь смеялась, ругалась, шумела, и едва ль не звончее всего был уголок, где карусель. Туда-то и устремлялась вся детвора из переулков и улиц, неотличимых от переулка, а подчас и от простого оврага. За медный пятак можно было верхом вскочить на коня — по-мужски, по-казацки, или сесть в лодочку и локотком опереться на борт; скрипнет, качнет и замелькает, помчится навстречу разноголосое пестрое марево: крутая, цветная стена, лента иль радуга.

Раза два или три случалось и так: кто-нибудь взрослый увидит застывшее детское личико, невинную жадность в глазах, судорожно сжатый крохотный кулачок и напряженную бровь, что-то мелькнет у него в суровых глазах — копеечный огонек доброты, рука окунется в карман и вытащит... целый двугривенный: счастье на четверых!

Но один раз с маленькой Клавдией произошла очень грубая вещь, отвратительная. Какой-то медовый стал рядом с ней старичок, он ее трогал, ласкал; по-детски она не отвернулась. Да и чего было отвертываться? Это была сама доброта. Напротив того, крепко она прижалась к нему, когда они сели вдвоем в пеструю лодочку, никогда еще не было так: просторно, как баре в своем экипаже! У старичка руки дрожали, голос немного хрипел; захрипела машина и закружился народ... Но Клавдия вдруг закричала и кинулась прочь. Старичок завозился и еще крепче прижал к себе девочку; крики ее потонули в звоне бубенчиков, в реве трубы, извергающей музыку. Клавдия билась, как рыбка, в грубых и цепких руках. Она ничего, ничего не понимала, но ей было мучительно больно и тошнота томила ее: старичок ее всю исщипал.

Она не посмела ни звука произнести и не умела пожаловаться, когда, наконец, карусель замедлила ход и старичок ее отпустил. Он протянул ей, смеясь сквозь слюну, горстку конфет, но она, задрожав, перекинула ножки за лодку и мягко скатилась в песок; старичок испарился, девочку подняли, она ничего себе не повредила. Но когда, ложась на покой, она подошла, чтобы мать перекрестила ее на сон грядущий, та почти закричала: все тельце у девочки было в больших синяках и кровоподтеках. И что-то, должно быть, еще было у нее повреждено и внутри — какая-то та потайная пружина, что, как в часах, движет весь механизм: бедная Клавдия стала заикой. Через несколько месяцев, впро-

:ем, это прошло, но иногда, значительно позже, как что-нибудь крепко 'дарит по нервам, Клавдия Плаксина — в школе, а потом и в Москве — іачинала опять заикаться; совсем ненадолго, какой-нибудь час-полтора, ю это было очень мучительно.

Революция в городе подобна была буре в скорлупке; городок был іичтожный, от железной дороги за сорок верст. Наиболее дерзкое, что делали сразу: переменили названия улиц, да и то наполовину, и Клав-,ия оказалась теперь на углу Красноармейской (вместо Крестовоздви-кенской) и все той же нетронутой Протопоповской; может быть, впро-ем, сочетание это: красноармейца и протопопа, отражало почти симво-.ически социальные главные силы (церквей было в городе много, как мы 'же помянули) и отражало их, под прямым углом, пересечение. Что о помещиков, то их смыло, пожалуй что, еще и до Октября, а в городе кили, едва ли не сплошь, кустари и ремесленники, мелкий торгаш. Го-одного года, однако, хлебнуть довелось в полную меру. Но к голоду бедной семье часовщика за долгие годы был приобретен известный ммунитет, и, еще подтощав и подтянув животы, они пережили тяжелое ремя без катастроф. Мальчики повырастали, все трое прошли через {расную армию, нынче служили — кто где осел. Они помогали сестре ем могли, и чумазая девочка Плаксина, со ступеньки на ступеньку, до-ша до железных ворот огромного желтого дома на Моховой: «Наука — рудящимся»; Клавдия Плаксина стала студенткой физмата.

Москва ее не оглушила, не потрясла, как потрясла когда-то детская пестрая карусель. Уши ее, привыкшие с раннего детства к шуму, жуж-каныо часов, мелодически просто приняли грохот трамваев. Революция сех — на свой лад и по-особому — развязала, и Клавдия не затерялась шумной толпе, в аудиториях; она научилась прочно стоять на ногах. 'на пришла в Москву за наукой, звезд с неба не собиралась хватать, но зой путь на земле наметила прочно и осознала. Тянуло к природе, но інуло и к людям. Еще со школьной скамьи бегала она по урокам и по-юбила возню с детворой: буду учительницей! Но ученье связала с цве-ıми, с камнями. Зимою ученье, а летом — попутешествовать и побро-ıть...

Все шло хорошо. Клавдия между студентами была, что называется, :ереднячок»; училась отлично, политику остро не чувствовала: не была ыдвиженкой, но и от дела не бегала. От стародавней, патриархальной юей чистоты и тихости внутренней не отрекалась, но жадно пила и сов-:менное. На этих путях для нее не вставало никаких мучительных слож-)стей, как для поколения более старшего, и все ж иногда приходилось і спорить — иной раз направо, а кое-когда и налево, и при этом могла .ма за себя постоять. Таких, как она, было немало: органический сплав ›ллективного духа, социально очищенных чувств и крепких каких-то :тоев семейственности, того далеко неплохого, что по-старинке плыло крови. Была она очень здоровая и краснощекая, молодость в ней зацве-ла дичком, подобно тем травам, что, убежав от косы, закоренились и

зацвели на рубеже: дикая рябинка, ромашка; очень она была недурна, подвижна, весела. Глянуть со стороны: какие там сложности! — сложностей нет и в помине! Не партийная и не комсомолка, она ненавидела всею душою «белогвардейцев». — «А вы когда-нибудь видели их?» — спросил у нее один гражданин. — «Нет, не видала», — призналась она, но умолчала о том, что два ее брата (из трех) были белыми ранены и один едва выжил. А любимый писатель ее, однакоже, был не Демьян, а Достоевский. Не знала сама, что ее так увлекает и мучит в этих бегущих одна на другую страницах — ранит, зовет и терзает, одновременно лаская. Или Федор Михайлович нынче переселился из шумных столиц в глухую провинцию и приезжает обратно с краснощекою вузовкой? Но и он приезжает какой-то другой: мистики нет, а есть... надо найти эти слова: есть тоска по чему-то огромному, и не во вне, а в душе, во внутреннем мире.

Клавдия знала, это огромное есть: миллионы людей шагают толкаясь, немного мешая друг другу — от непривычки, — но стиснули зубы и по ухабам шагают вперед к той самой жизни, где не должно быть «униженных и оскорбленных»: огромная страна вся в пути — великое переселение народов из одной древней родины в новую родину, будущую, ими самими рождаемую, но... Клавдия жадно искала отблеска той красоты, что должна осветить лицо человека, свободного гражданина этого будущего безгосударства; осветить изнутри; и не одним только пафосом преодоления, но и чем-то уже достигнутым, существенно новым и человеческим. Тут был разрыв; красоты этой не было. Больше того: великие ценности — нежность, любовь, доброта — были совсем в небрежении. Клавдия спрашивала, добросовестно вглядывалась (верная дочь часовщика, она обладала внимательностью, пристальным взглядом), говорила себе: это в пути только мешает; чтобы достигнуть поставленной цели, надобно многое выкинуть и, в первую очередь, все, что расслабляет; а доброта — расслабляет; нежность — конечно; любовь... На любви спотыкалась. И, спотыкаясь, самое это полное слово (более полного нет) произносила с запинкой, с заминкой. Его ли выбрасывать? А если нести, ежели дать ему процвести... У Клавдии Плаксиной, выросшей в тихой провинции, близко к природе, именно это и было тою тоской по огромному, о которой шептал Федор Михайлович, и, реалистка, она ждала воплощения всех своих тайных мечтаний. О, ничего чрезвычайного! Но крепко рукою сжать крепкую встречную руку!

И Клавдия руку такую однажды пожала. Это было именно так, то-есть буквально. Рука была крепкая, плотная и удивительно нежная, ласковая. Это было именно то сочетание, по которому непроизвольно тосковало все девическое ее естество; весь ее организм был сладко и радостно потрясен.

Отчего, в самом деле, из тысячи тысяч людей, мимо которых проходим мы ежедневно (зачем говорить: равнодушно? — но надо сказать: без малейшей взволнованности), вдруг выступает один, и радужный круг

одевает его сияющим нимбом? И отчего даже этот — единственный (или таким показавшийся) — может не сразу открыться, а только в какой-то особый момент? Самый верный ответ, это — «пересечение линий». Вдруг в чем-то, может быть объективно ничтожном, в странности, в мелочи, предстанет для вас в яви осуществившейся та полнота вашей мечты (осознанной или нет), через которую вы проникаете изнутри и овладеваете всем человеком. Рушится тот стеклянный барьер, холодноватый и скользкий, что отделяет обычно людей и создает это священное равнодушие, без которого самая жизнь стала бы невозможной, заменившись целым потопом гнева, любви, сострадания, слез, самопроизвольного хаоса обнажившихся душ. Природа мудра и дает эти минуты преодоления нашей раздельности скупо, нечасто. Но ежели это случилось, пришло, — в этой единственной точке — жизни слились. И Клавдия Плаксина — максималистка в области чувства — ощутила себя на горе, и мир — у подножия.

Говорят: «отдалась»; и она отдалась. Но, пожалуй, сильнее сказать: «предалась»; и, действительно, вся, без остатка. И началась для нее необычайная жизнь, бодро приподнятая, залитая блистающим солнцем. Всю свою страсть, всю чистоту, отточившую эту ее внезапную страстность почти до сверканья кинжала, всю нежность души, опрокинувшуюся с водопадною мощью, как бы несла она на открытой ладони и в крепком пожатии все целиком вручала в другую, любимую руку.

Совместная жизнь товарища Клавдии и товарища Гриши длилась три месяца, и это была хорошая, дружная жизнь. Он был грубей, примитивней, но даже и тот холодок, что был присущ самой натуре его, был пленителен Клавдии, как если бы на разгоряченный ее, экзальтированный лоб ложилась прохлада верной руки. Ей нравилось все: непокорный хохол, белый прерывистый шрам над рассеченной бровью, косматая грудь и пушистые ноги, напоминавшие звериную шкурку; все ей казалось необыкновенным; все было в нем сильно и ласково.

Любовь их и страсть не мешали занятиям, даже напротив: дружно работалось вместе; он был немного с ленцой, но с нею подтягивался.

И вот на исходе третьего месяца молодая жена упала с горы, на которую себя вознесла. Что же случилось? Да, поглядеть со стороны, ничего, «мелочь», пустяк. Гриша уехал на несколько дней в Нижний на подвернувшуюся ему небольшую работу. Поехал в компании, мало знакомой для Клавдии, и вернулся оттуда — другой; она его не узнала. Глаза были спрятаны, едва поздоровался.

— У тебя неприятность какая-нибудь? — спросила она.

— Да, неприятность, — ответил он глухо и отвернулся.

Она осторожно и нежно взяла его за плечо, он отклонился; сердце упало у ней, и она ничего не могла больше спрашивать. Был уже вечер. Он оделся и вышел, ничего не сказав; Клавдия его не удерживала.

За окнами глухо шуршал и потрескивал март. Синеватая мгла мягко дышала на дне колодца-двора; в открытую форточку доносилась

прохлада; снег таял и замерзал, таял и замерзал. У Клавдии было тоже борение чувств. В своей заботливой нежности она была оскорблена; и ей было больно за друга, за мужа: на нем лежала какая-то тяжесть, неведомая, и она была бессильна помочь. Почему он ушел? Куда он ушел?

Издали она посылала ему горячие токи, в ней самой закипавшие, и внезапно она их замыкала: эта его неоткрытость и замкнутость была, как глухая сырая стена, где умирал самый звук. Перед нею лежали часы и медленно она сообразила, что время то останавливалось, то сразу куда-то проваливались — в пропасть — целые большие куски. Эта ночь для нее навсегда осталась незабываемой.

Утром Гриша вернулся, сказал, что был у товарища; на ночь опять покинул жену.

Дальше так не могло продолжаться. Он, видимо, тоже томился, но порою держал себя почти вызывающе. Клавдия как-то увидела, что у Гриши торчал из кармана крохотный, с кружевами, лиловый платочек; от него шел запах духов. Сразу она не догадалась, не поняла, наивно спросила; он с нарочитою грубостью ее оборвал.

Гриша Лисицын отнюдь не был чудовищем, но надо сказать, что он совсем ничего не сделал, чтоб им расстаться по-человечески. Даже, как если б хотел, чтобы все вышло наоборот, как можно грубее. И у Клавдии было горькое, горькое чувство, как будто бы мишура, отливавшая радугой, спадала у ней на глазах, с глухим и пустым шуршанием жести.

Клавдия, может быть, даже была бы готова понять (разлюбила бы, но поняла), когда бы не это молчание и одновременный — грубый и оскорбительный тон. Знала она свою молчаливую требовательность, часто над нею задумывалась... Но — пусть полюбил он другую, линия жизни его пересеклась с какой-то еще подвернувшейся линией; пусть с нею ему тяжело: сладкий, но тяжкий пал ему на плечи груз и захотелось ему освобождения, да: обернулся зверюгой и веревки свои — рвет без оглядки... Но зачем же над ней издеваться?

Последнее их расставание (он каждую ночь уходил) произошло в день ее ангела. По-старине она этот день всегда отмечала. Но теперь не сказала ему ничего: какие уж там именины! Днем он отсутствовал, а под вечер пришел и принес бутылку вина. Ее покоробило, она сухо спросила: зачем еще это?

Но он был очень ласков, какая-то горькая нежность легла на его молодое лицо; Клавдии было трудно смотреть — точно из далекого прошлого: милое и потерянное для нее лицо.

— Клавдия, — сказал он, — я думал, ты прогонишь меня, но ты меня терпишь; я сам от тебя ухожу и пришел с тобой нынче проститься.

— Ты оставляешь меня? Ты полюбил... другую? — Она заикалась и сдерживалась; говорить было трудно.

Он промолчал; молчать было трудно:

— Выпей со мной!

Клавдия вообще не пила, но в ее полынную горечь капнула горячая слеза нежности. Вино было крепкое и густое. Гриша с ней говорил, сначала о чем пришлось, о каких-то текущих пустяках, потом о своем волжском детстве. Это не была великая Волга под Нижним или у Жегулей, а глухой Осташковский ручеек, вытекавший из Волхонского леса. Отец был лесник и охотник; мальчик, подросши, бродил за ним по пятам; порою они уходили на несколько дней к самым озерам.

— И ты убивал?

— А как же!

— И не страшно? Не жалко?

Гриша задумался.

— Раз было так. Отец подстрелил далеко лисицу. Я побежал. Он выстрелил плохо: лисица жива была, он отбил ей ноги и зад, она не могла убежать. И она поглядела на меня... так... После все снилась...

Клавдия слушала, видела; Гришин голос звучал для нее одновременно далеко и близко.

— Мне так ее сделалось жалко... Я вынул ножик, закрыл глаза и прирезал ее. Она меня укусила.

— Как ты теперь хочешь прирезать меня?

Клавдия была почти совершенно пьяна; с непривычки; от горечи. Но опьянение это было особого, странного свойства: голова была необычайно легка, было просторно, мысли летали, как ласточки, одна не задевая другую, точно куда отплывали, а сердце в груди стучало, стучало... серебряным молодым молоточком. Рука же казалась огромной, вроде весла; тяжело; и тяжелы были ноги.

Гриша в ответ поднял глаза; они были пусты, прозрачны, но быстро потом стали темнеть. Клавдия не испугалась, — хотя бы и самая смерть! В какой-то почти веселой тоске, преодолевая рычаг, она подняла занемевшую руку и обняла мужа за шею; на секунду она затомилась от знакомого запаха Гришиной кожи. Он круто хотел откинуться прочь, она не пустила его.

— Ты что-то скрываешь, не говоришь... — Она улыбнулась и взяла его рюмку. — Я выпью, и все твои мысли...

Гриша тяжелым ударом выбил у нее рюмку из рук.

— ...узнаю... — договорила автоматически Клавдия; осколки стекла, как изморозь, усеяли пол.

Клавдия встала и прикрыла рукою глаза; потом отошла и полуприлегла в изнеможении на кровать, ноги не слушались, как если б они были подбиты. Но и глядеть, как лиса, она не хотела. Пусть. Все равно. Нужен конец.

Ненадолго она потеряла сознание и очнулась — одна. Гриша к ней больше не возвращался.

Март и апрель. Проталины. Ветер. За пределами города каждую ночь бродит весна. Клавдия — дома и дома. Часами теперь лежала она на кровати, думая, думая... Это были думы особые — не в одной голове;

ныло, думая, сердце; ныло все существо, точно оно к неразумному предъявляло разумный запрос.

Детство и карусель... С этой жестокой историей... о, ничего не было общего, не было даже и синяков, но недавняя каждая ласка, каждая именно малая, милая мелочь, обертывались для нее больнее, чем синяком — ядовитым укусом.

Клавдия стала болеть, похудела, Федор Михайлович от нее отвернулся: книгу развертывала — книгу бросала; великие чувства, великие страсти ее обманули. Во рту была серость и преснота, жеваная резина; заикания не было, но вообще говорить стало ей тяжело. Как-то вяло, покорствуя подвернувшейся удаче, в конце уже мая, она взяла случайный урок: семья уезжала на Кавказ на все лето. Смутно она соображала, что ей уже трудно было, даже, пожалуй, опасно оставаться одной.

Но когда ей теперь пришлось быть с людьми, с еще бо́льшим отчаянием ощутила она, как ей тяжело с ними быть, какая она сделалась грузная — внутренно, — неповоротливая. Порою она начинала терять координацию движений и ощущение расстояния; иной раз протягивала руку к предмету, чтобы взять его, и брала другой, или казалось далеко, а он лежал совсем рядом. Лица людей стали серы, с трудом различаемы одно от другого. В вагоне — тревога ее, что она ни к чему не способна теперь, все возрастая, достигла предела. С горячей тоскою она ловила себя на том, что никак не ощущает даже детей, будущих своих учеников. Одна эта мысль, что она, может быть, их обманула, что она никуда не годна, и совершила, пусть в полусне, какую-то чудовищную недобросовестность, доводила ее до отчаяния.

В купе было полутемно, лампу завесили; родители мальчиков спали, дети расположились на лавочке вместе — «рыбками»: ноги и голова, ноги и голова; о чем-то во сне они спорили и толкались коленками. Клавдия и не посмела прилечь, ей было странно даже подумать про сон. Глухо шумели колеса, точно ворчали, подрагивая, подземные недра. И голос их был, быть может, единственно внятным, это был зов... к небытию. Клавдия крепко, до боли, прижимала к раме окна захолодавшие голые руки: не двинуться и не упасть.

Скворцовы, Игнатий Ефимович и Анна Ефимовна, родители мальчиков, были необычайно похожи между собою, оба одутловаты, мало подвижны, неразговорчивы — торговый народ. Благодаря одинаковому отчеству, мало знакомые люди часто их принимали за брата и за сестру. Когда поутру они без стеснения оба, на лавочках, обнажили одну за другой свои пухлые ноги и, очевидно, в полугипнозе после докторского диагноза, пославшего их на Кавказ, сосредоточенно созерцали, печально посапывая, белесые круглые ямки на слоноподобной их коже, долго не заплывавшие после давления пальцем, — глядя на них, действительно можно было задуматься, как это были когда-то они и влюбленными — женихом и невестой; и еще поразительней было, пожалуй, откуда у них такие прелестные мальчики — живые и умные, подвижные зверюшки.

Полуобморочная неразговорчивость Клавдии старшим, похожим в итоге на два пропыленных с мукою мешка, даже видимо нравилась, это было солидно; а мальчики — Женя и Гриша (последнее имя заставляло учительницу по-настоящему запинаться) — пока что резвились на воле, гуляя по всем открытым купе, и они тоже, может быть, соображали, что «мадам» ничего — не строга и не придирчива.

Да, впрочем, она и сама понемногу начинала овладевать собой: разве она не мечтала о путешествиях, разве это не счастье — увидеть Кавказ: вершины, хребты?

Она закрывала глаза и видела... серый ручей по оврагу за городом, а по склону оврага — изъеденный камнем валун. Тут она в первый раз улыбнулась: совсем еще маленькой, бывало, увязывалась она со старшими братьями, когда они летом ходили за город поваляться в жидкой грязи; и они называли это — Кавказом. Постарше ходила она туда и одна, читала там Лермонтова. Под нею был серый валун, хранивший следы неведомых раковин. На нем было очень удобно сидеть, посередине его была большая выбоина, и она его окрестила «седлом». Мечты ее уносились далёко, Терек шумел на глубине, влажно дышала внизу черная пропасть, а в высоте, над снегами, распластанный на голубизне — огромный орел; она поднимала глаза, чтобы увидеть орла, и видела жидкое сероватое небо и на засохшей березе воронье гнездо. И все-таки все это было — Кавказ! Она и теперь ему улыбнулась.

Улыбнулась — чему?

Уже и тогда, сидя на этом малом седле, что-то она в себе размечала, планировала, где-то, за мелким его горизонтом, неясно чертились, вставали контуры жизни большой и значительной. В противоположность больному воспоминанию о жуткой поездке на карусели, теперь так мучительно связавшемуся еще и с личной ее трагедией, этот серый двугорбый валун, этот ее детский «Кавказ», был всегда для нее точкой опоры; ощущение мужества и горизонтов — одного за другим — неизменно и крепко с ним было связано.

Сквозь гуденье колес внезапно она услышала крик и подбежала. Маленький Женя, в проходе, защемил себе палец, откидывая боковое сиденье. На секунду она встрепенулась и ловко его освободила. Из-под ободранной кожицы брызнула кровь. Клавдия быстро достала из своей дорожной картонки скляночку иода, прижгла и перевязала. Мальчик поныл и затих. Гриша стоял и глядел неподалёку — внимательно, сосредоточенно; Клавдия чувствовала — точно она держит экзамен.

— Надо за ними следить, так они себя покалечат, — сказала недружелюбно и сонно Анна Ефимовна.

— Ничего не надо следить, мы не задачки решаем. Я ему говорил: не балуй, а он не послушался!

Гриша себя оберегал: свободу шалить и самому отвечать за свои шалости; тут экзамен был выдержан. Мамаша брюзжала, это в порядке вещей. А Игнатий Ефимович?

Клавдия невольно и на него повела глаза: встречные глаза эти были мутны и... выразительны; он ничего не сказал, но губы его пришли в движение: он как бы что про себя пожевал и даже посмаковал эту свою тайную мысль, которая, видимо, доставила ему удовольствие. Этот мучной мешок точно сделал внезапно какое-то не лишенное приятности открытие и затаил его для себя про запас: это когда она нагибалась. Клавдия вспыхнула и отвернулась; в ту же минуту почувствовала она привычную свою легкую тошноту — совсем особого свойства. С ужасом она поняла, что ее интимная тайна была отныне разгадана.

Жизнь ее на Кавказе этой короткою сценкой была предопределена. Анна Ефимовна с нею была вяло придирчива и подозрительна; с детьми она подружилась; Игнатий Ефимович, после нарзана, окреп и пытался себя «обозначить». Намеки его Клавдия просто не слушала, и до времени это ей удавалось.

Скворцовы усердно лечились, но похудеть не удавалось ни ей, ни ему; они мало гуляли и ели за четверых. Вся их общая жизнь была на редкость сера и тесна, дальше Ольховки и нижнего парка они никуда не выходили; впрочем, разве еще на «пятницкий» (кстати — бывавший по средам) верхний базар. Детям и Клавдии также было запрещено далеко отлучаться, и Кисловодск понемногу грозил остаться для них какою-то мертвою панорамой, в которую были они заключены; Клавдии это было невыносимо, порою она делала вылазки.

Вылазки эти ее особенно радовали, когда удавалось сбежать в раннее утро, пока все еще спали. На «пятачке» бессонные частники расставляли цветы, свеже нарезанные, зевал милицейский, редкие люди забегали к нарзану на улице — «простонародному» — и пили из горсти. Клавдия, мимо каштанов и белой акации, поднималась одна на Крестовую, а порою и дальше, мимо Кубу и Дагестана, к Красным Камням. Тут еще вовсе было безлюдно, лежала роса, слабо дрожали листы. Воздух аллеи, за ночь захолодавший, походил на бутон, открывающий с каждой минутой, со всяким сделанным шагом, новые и новые благоухающие свои лепестки. Боярышник — белый, подобный невесте, стоит, не шелохнувшись, холодный, немой; но вот что-то дрогнуло, одновременно качнулись листы, купы цветов: утро и пробуждение. Ранние птицы — редкие, малоречивые — точно прочертит какую-то краткую мысль и замолчит. И город внизу — молчаливый, дремотный; прохлада на нем, и крыши блестят, подобные крыльям жука. И с каждым пригорком ландшафт изменяется — новый, живой; точно проснулись — тут, там... подняли головы.

По вечерам иногда удавалось ей одной уходить к верховьям Ольховки; не верховья, конечно, а в изголовьи нижнего парка. Река была здесь другая, чем между тенистых миротворных дерев. Огромное плоское ложе камней, почти отшлифованных весенними и грозовыми полными водами; под месяцем камни скрытно и скупо блестят; похоже на кость, веет пустыней. Узкий поток ютится тотчас под горой, но, сжатый, он прядает, бугрится горбом между таких же горбатых и узких камней.

Клавдия сядет на камень, кругом никого, рокот воды, мелкие брызги ложатся на платье, на волосы. Здесь она думает. Думы густеют, плотнеют, но и на них словно бы бисер мельчайшей воды. Порой возникают гиганты. Они идут по дорожке в самом низу, у обрыва, но над водой. Это не призраки и не видения, это живые, огромные люди. Клавдия так никогда и не могла понять, почему это видится так, когда сам сидишь на камнях у воды в полном безмолвии, и гиганты проходят в полном безмолвии, возникнут и исчезают; не понимала, но это так было, и такова — особенность этого места.

Под журчанье воды, среди легкого, почти завороженного бытия, вдруг Клавдия вздрагивала; она вспоминала, что была не одна; ей об этом напоминали.

Когда это случилось впервые, днем, на прогулке, очень вскоре после приезда — сразу она не поняла: мягкий толчок, подобный удару мяча; это тогда потрясло весь ее организм. Дети остановились и с изумлением глядели, как их учительница схватилась рукою за старую морщинистую кожу ольхи, точно это было не дерево, а старая нянька; солнце тогда сияло высоко, под солнцем дрожали листы, и колыхалась внизу сетка полутеней; так же сбегала и набегала улыбка у Клавдии, перемежаясь недоумением, напряженной внимательностью: она слышала то, что никому другому не было слышно; никому во всем мире. Теперь это уже не поражало, но все же — каждый раз она сладостно вздрагивала; это там шевелилась новая жизнь; и она же была ее собственной тайною жизнью.

Всякий раз одинаково начиналось толчком — то ручкой, то ножкой; словно сигнал: «алло! алло! слушайте!» — и она слушала всем существом, и сама отвечала. Тут уже не было дум, все в ней шумело и колыхалось, как крона ветвистого дерева. Но движенья стихали — умиротворенные, сами собою насыщенные — и постепенно — облаком, быстро плотневшим, голову Клавдии окутывали — одна за другой набегавшие думы; в сущности, это была дума одна — и о двоих. Муж и отец в этих думах отсутствовал, он был в такой бесконечной дали, что его как бы не было вовсе; оставались лишь двое: мать и дитя. Как это будет? Как потечет ее жизнь, как она справится дальше? Все это было неясно, темно.

Для хозяев ее это теперь уже не было тайной, и надо сказать, что эти грубые люди не сделали из всего этого какой-нибудь драмы; не бранили ее и не стыдили, не совестились. Иные интеллигенты давно бы перепилили деревянной пилой. Отношение было простое, домашнее. Анна Ефимовна стала с нею даже гораздо добрей. Правда, что Клавдия не закрывала глаза, она видела и соображала, откуда идет эта мягкость: пожилая женщина стала тéперь гораздо спокойней за мужа: «Кто ж за тобой станет ухаживать, с брюхом-то!» — как-то проговорилась она, и раз на всегда махнула рукой на двусмысленные шуточки Игнатия Ефимовича. Но Клавдия именно здесь, за последнее время особенно, очень должна была настораживаться; Игнатий Ефимович что-то хранил про себя, и тайное

это коварство пухло в нем с каждым днем, почти физически ощутимо для Клавдии.

Она теперь кое-что начинала читать для себя; время романов прошло, это были книги по медицине и гигиене, она хотела все знать, приготовиться. Был серенький день, после обеда все спали, Игнатий Ефимович недавно завел, из обезьянства, как в санаториях, эти мертвые часы отдыха; Клавдия этой фантазии его была рада, кое-когда она уже ощущала теперь потребность в покое. Все ее в этих сереньких книжках интересовало. Шел седьмой месяц беременности; книжка была не из новых. «Может быть, это и вовсе не так, — думала Клавдия, — может быть, это всего только какой-нибудь предрассудок, но что-то есть в этом...» Читала она о преждевременных родах: на восьмом месяце беременности дети не выживают, а на седьмом — ничего. «Как у меня, как сейчас; конечно, он жив, у него все уже есть, носик и глазки, чуточный рот». Она мысленно видела капельные его ноготки на крохотных, как бы перетянутых ниточкой пальчиках и ощущала, как тихо он там пошевеливается.

В доме была тишина; соседи уехали, об этом еще с вечера был разговор. Но не было слышно ни мальчиков (редко когда они засыпали), ни храпа супругов. Клавдия также сидела не шевелясь. В крохотной комнатке стол и кровать; цветы на столе и, под простыней в уголке, Клавдины платья; шляпа на гвоздике. Книга была перед нею раскрыта, но Клавдия как бы отсутствовала, строчки слегка рябили перед глазами, как цепкие ниточки торопящихся муравьев; в траве за окном тренькал и обрывал черноголовый кузнечик.

Вдруг какой-то предмет упал перед нею и как бы расплескался по книге; одновременно она услышала сап над головой; и едва успев разобрать, что на книгу упали чулки, и даже, пожалуй, еще не успев удивиться, быстро она обернулась и встретила жадные мокрые губы. Сивая шапка волос, пропахнувших пбтом, нависла над нею и закрыла глаза, грубые руки тискали грудь. Ей было трудно вскочить, как если б ее охватили и привязали канатом. Она дико рванулась, но не могла сразу вырваться; нет, не канаты, а скорее удав, сомкнувший кольцом. Она закричала, но крик вышел слабый, глухой — как из подполья. Омерзение, охватившее Клавдию, было столь велико, что, казалось, она сейчас задохнется. Он целовал и шептал; Клавдия слушала страшные вещи:

— Я знал, что согласна... Отчего и не так? Другого ребенка не будет! И-эх, хорошо! Ну, иди! Ну, ляжем — иди! Чулочки какие... а! Взамен алиментов!

Клавдия дико качнулась назад, дернув ногой под переднюю ножку старенького, непрочного кресла; оно запрокинулось, рухнуло, и, вместе с ним, они рухнули оба. Игнатий Ефимович и между обломков не сразу, однако, ее отпустил. Он сопел и ворочался, губы его запеклись.

— Не услышит... никто... — бормотал он почти как в бреду, — я их всех... спровадил из дому... обдумано, да-с... Ты не упрямься!

Клавдия свободной рукой схватила ножку от кресла и, зажмурившись, ударила где пришлось; старик дико взвыл. «Ну... не убила... А и убила бы — а... все равно!» — подумала Клавдия и открыла глаза.

Игнатий Ефимович сидел на полу, поджав под себя ноги и обеими руками крепко держась за скулу. Боль его отрезвила. Он тихо сидел и покачивался; Клавдия встала.

— Дай их сюда! — коротко он приказал, все еще не поднимаясь.

Клавдия молча взяла чулки, смяла и кинула ему; неприязненно она ощутила, как слабо скрипнул меж пальцами шелк. Это движение его оскорбило.

— Ты не умеешь подать. Дура ты. Стерва! И ты задаешься. Я рассчитаю тебя.

Сквозь корявые пальцы сомкнутых рук проступала липкая кровь. Он отнял одну и, обтерев о сидение кресла два пальца, осторожно засунул за пояс свой неудачный подарок. Потом посопел, повозился, встал и деловито, уже у порога, как если бы обращался к приказчику, добавил еще:

— И за кресло заплатишь! Только посмей так удрать!

Клавдия у окна так простояла в каком-то оцепенении (детская карусель опять к ней вернулась), пока веселый смех мальчиков не разбудил ее. Они ворвались к ней с шумом и криком, они кричали наперебой:

— Большое Седло! Большое Седло! Нас отпустили на Большое Седло!

Давней мечтой ребятишек была эта прогулка на Большое Седло. Самое название очень их интриговало; да и то, что его не было видно: Малое — сколько угодно, пожалуйста! А Большого никак не видать! И вот те знакомые, которых встретили в парке и к которым спровадил их нынче Игнатий Ефимович, едут сейчас на Большое Седло; мать отпустила, но непременно, чтобы с ними ехала также и Клавдия; теперь было надо отпроситься и у отца.

— Ты попросишь его! Ты попросишь его! — теребил ее маленький Женя.

— Он тебе ни в чем не откажет, — смешным полубаском добавил и Гриша и покраснел; вероятно, он что-то подозревал.

Для Клавдии эта поездка — почти совсем так, как и для ребят. Когда в первый раз услыхала про гору Большое Седло, тотчас же и вспомнила, как вспоминала не редко, детский свой малый Кавказ и камень у речки. И вот теперь — когда этот кошмар... и когда ее... выгнали... — это Седло как бы придвинулось к ней и позвало к себе. И по-молодому, именно даже почти по-мальчишечьи, ей так захотелось туда... вот сейчас — через полчаса: фыркают лошади, зелень и горы. Она тряхнула головой, как бы отрясая с себя этот гнусный старческий бред, и на секунду зажмурилась; перед глазами легкая дымка и синева, а через дымку резко скрипит черноголовый кузнечик.

К Игнатию Ефимовичу, конечно, она не пошла. Он заперся у себя на крючок и не показался. Клавдия слышала только, как детям он закричал через дверь:

— А мне что за дело! Хоть к чорту, хоть к дьяволу! Оставьте меня в покое!

На крик этот Клавдия — даже, нечаянно для себя самой, рассмеялась; в ней что-то быстро и молодо перестраивалось: «ну, что за беда... брошу, уеду... заработанных денег хватит уехать в Москву... а в Москве...» Кто-то внутри отвечал ее мыслям, вступал с ней в беседу... Вдруг резкая боль от спины к пояснице пронизала ее; она замерла, дыхание у ней занялось, но боль отпустила. Не ехать?

— Отпустил! Отпустил! — Дети смеялись в восторге и прыгали возле нее.

Клавдия все же решила поехать; с мылом умылась и переоделась в чистую кофточку.

Детворы на двух экипажах оказалось пять человек: со смешными косичками чужие две девочки — лет десяти и двенадцати, и мальчик — восьми; их перетасовали. Клавдия ехала с матерью этих детей; на передней скамейке напротив — Гриша и Сонечка, старшая девочка. Позади, во втором экипаже — старая тетка с другими детьми, там же громко покрикивал и бедовый маленький Женя. Анна Ефимовна ехать не захотела, и Клавдия, поддаваясь какому-то внутреннему задору, охватившему ее от этой внезапной поездки, невольно посмеивалась, как там наслаждаются в одиночестве дорогие супруги и как объяснит Игнатий Ефимович рану свою на скуле. «Большое Седло... хорошо. А вернемся, тотчас соберу свои вещи... Мне теперь надо беречься».

Ехать было чудесно. Синие горы, замыкавшие круг Кисловодска с востока, были теперь обойдены и высились справа, зеленые, мягкие и необычайно успокоительные; между сочных кудрявых кустов порою теплели куртины желтых азалий; воздух меж гор, недвижный, насыщенный запахами, покоился как в колыбели; горы налево были еще более высоки и, среди них, уже обозначилось и Большое Седло. Издали оно не казалось таким уж большим, но все чаще и чаще приходилось детям соскакивать: дорога становилась крута, лошади приостанавливались. Проходило время, а гора оставалась также все близко и далеко одновременно; в широкой ее седловине разостлан был яркий и солнечный, изумрудно зеленый ковер.

Дети бежали наперегонки, звонко выкрикивали. Их восхищали цветы: огромные, необычайные. Обыкновенная белая кашка была гигантских размеров и напоминала в зажатой ладони пушистого круглого цыпленка; только что разве была холодна. Гриша нашел желтую лилию с девятью распустившимися, блестевшими золотом, восковыми цветами; четыре еще, зелено-тугие, были в бутонах. Он то-и-дело подбегал к Клавдии спрашивать, это еще что за цветок, и тотчас отбегал — объяснять своей даме; мать глядела на них из экипажа и улыбалась. Дети были

дружны и резвы. Гриша, как старший, с высоты своих тринадцати лет, старался держаться немного по-взрослому; Сонечка даже ему, видимо, нравилась. Однако ж и он забывался и прыгал козлом. Но самым забавным из всех был маленький Женя; по горам он катался розовым мячиком, и говор его задорно звенел одновременно с разных концов: обернутся взглянуть, а он уже кличет с другой стороны. И он не раз подбегал к экипажу и неизменно клал на живот Клавдии какой-нибудь новый цветок.

— Что ты сюда все кладешь? — неосторожно спросила его Анна Петровна, спутница Клавдии.

— А маленькому, — сделав серьезную мину, выпалил мальчик. — Вы разве не знаете? Он еще меньше меня, он в животе, и вовсе не ходит, а только ворочается.

— Откуда ты знаешь все это? — не могла не улыбнуться Анна Петровна.

— А знаю, — ответил он почти с деловитостью: — люди ведь скрещиваются, ты разве не знаешь? Мальчик и девочка; но только, конечно, большие.

И рожица у него была при этом такая простодушная, как будто кто зачерпнул из ручья ковшик воды, а в воде заплескалось домашнее деревенское солнушко. Он подождал минутку ответа, но тотчас же забыл, что и сам говорил, ухарски щелкнул во рту языком, соскочил с подножки и покатился на гору.

Он же первый нашел огромный цветок орхидеи — багрово-кровавый, похожий на разверстую окровавленную пасть. Цветок паразита для Клавдии был незнаком, он очень ее заинтересовал и чем-то одновременно был ей неприятен. От него шел густой дурманящий запах.

— Не нюхай, гражданка, этих цветов, — обернулся к ней с козел извозчик. — От них большой происходит вред.

Клавдия его не послушалась, но когда их в руке набрался целый пучок, она явственно ощутила неприятную тошноту.

— Бросьте! — сказала и Анна Петровна. — Вам это особенно нехорошо.

Она вообще проявляла заботу о Клавдии. Той, наконец, вздумалось слезть, но Анна Петровна не пустила ее.

— Вам это вредно, — настойчиво-ласково запретила она, — вам можно только недолго и тихо гулять.

Немного они разговорились. Клавдии женщина эта, жена инженера, была симпатична; у нее были полные мягкие руки и голубые глаза. Ей захотелось спросить у нее о чем-то интимном, своем, теперь уже близком.

— Это бывает по-разному, вы здоровая девушка (оговорилась она), вы не тревожьтесь. Боли ужасные, но как хорошо... потом, какое освобождение... легкость!

Анна Петровна помолчала минутку и, немного замявшись, спросила:

— А ваш муж... где же он?

— У меня нет больше мужа, — ответила Клавдия, и обе они замолчали; Анна Петровна дальше ее ни о чем не допрашивала; может быть, и у самой у нее — так почудилось Клавдии — не все было ладно...

На полугоре, оставшись одна в экипаже, неспеша колыхаясь в огромной сочной траве, Клавдия заметила группу людей, подходивших к самой вершине. Это была молодежь; шли они дружно, немного теснясь и толкаясь: какой-то веселый поход! На Клавдию живо пахнуло Москвою, студенчеством. Тут было две или три девушки и шесть или семь пареньков, один — чуть-чуть в стороне. Он снял свою кепку и, на ходу, она то ныряла в траве, то из нее вырывалась; это маханье рукой на ходу заставило Клавдию насторожиться; и линия плеч... поясок... Она забыла себя, рванулась вперед и выскочила из экипажа. Все обошлось благополучно, лошади шли медленным шагом; но когда, вскинувши руки, она устремилась наверх, одна нога ее зацепилась, и мягко она упала в траву. На минуту ее охватил этот особый зеленый, колеблемый мир, поглотивший ее; точно она утонула и лежит на большой глубине: ни гор, ни простора; нет ничего, кроме трав; зеленые сонмы обстали ее и погасили видение, теперь на минуту ставшее сном. Слабый, но внятный шум от движения стеблей и листвы прошелестел в ее ушах, как дальнее эхо. Так пролежала она несколько долгих секунд. К ней подбежала встревоженная Анна Петровна.

— Что это с вами? Вы выпали из экипажа? Вы сильно ушиблись?

Клавдия с трудом отвечала:

— Нет, ничего... я сама. Лошади очень тихо идут.

Она поглядела на склоненное над нею лицо Анны Петровны, в большие ее голубые глаза и, сделав усилие, прошептала:

— Там, на горе, это мой муж. Помогите подняться.

На самой горе было ветрено. Еще за несколько шагов внизу — тишина, а на вершине било в лицо, путало волосы, развевало платье, ветер был почти ледяной. Огромная даль со снежною цепью на горизонте полна была облаков; они были в непрестанном движении и толкались одно о другое подобно льдинам на половодьи: ныряли и вырывались, накатывали, при столкновении дыбили шерсть. Зрелище это было дикопрекрасно. Но всего необычайнее был Эльборус. Этот огромный и нежный одновременно гигант первый обычно чувствителен: редко когда в эти часы покажется он без кокетливой восточной вуали, сейчас же на нем, при этом кипении снизу, ни единого облачка; точно вышел вперед, открытый, простой, и стал совсем близко, смотрит на бурю у ног. Пространство обманывало: на солнце сияли снега, и казалось, что видишь отдельные, играющие в свете снеговые крупинки. Все, выбегая наверх, замирали и приостанавливались. На минуту примолкли даже и дети.

У Клавдии было в душе очень сложно. Потрясение дома — эта взбесившаяся обезьяна; увидела мужа, про которого сказано (и утверждала это в себе): «у меня нет больше мужа»; ребенок (семь месяцев!) стучит у порога, стучит в самую дверь. И вот на вершине Большого

Седла — этот штурмующий ветер, это смешение планов: пространства, большие масштабы — ближняя даль, дальняя даль; и все до краев вздымается, пенясь, дикою жизнью; и все, до краев, опять-таки залито ветром: ветер, какого нигде нет на равнине — ветер на вышине. Так было внутри, так было вовне; и оттого, может быть, Клавдия острее, чем кто бы то ни было, ощутила все это именно так: все это было дико-родное; все так же вскипело и в ней.

Поход молодежи, как оказалось, не был задержан вершиной; здесь никого уже не было видно, но голоса, восклицания доносились отчетливо снизу. Можно было подумать: как кидаются в море с отвесной скалы, все они ринулись вниз в эту огромную чашу, полную облачной пеной. Клавдия, сделав немного шагов, подошла к самой черте, к ближнему горизонту, и стала над ним. Перед нею открылись зеленые скаты, долина; здесь облаков еще не было, здесь было мирно, тепло. И там она снова увидела мужа; в эту минуту как раз накинул он кепку и, заслонившись рукой, обернулся, поднял голову кверху. Видит ли он и узнает ли? Она замахала рукой, он увидал, но продолжал неподвижно стоять в недоумении.

— Ты его знаешь? Хочешь, сбегу — позову?

Клавдия слабо кивнула: да, позови. И маленький Женя тотчас, цепляясь за траву, в обход, ловко и быстро покатился в долину; за уступами он то исчезал, то снова опять вылетал розовой пулей. Гриша увидел посланца, ждал его. Вот — через десять минут.

«Вот, через десять минут, — думала Клавдия. — Как мы увидимся? Что он мне скажет? Захочет ли видеть?»

Дети шумели; ветер их почти подымал от земли и рассыпал по горам, как звонкие мячики, задорный их смех. Клавдия медленно подняла голову, ей захотелось увидать Эльборус: близкий, огромный, простой, как он взглянул на Большое Седло, когда она только что на него поднялась. Но и он был в костре облаков; это случилось непостижимо-мгновенно: точно седые огромные космы разметал он ветрам. Успокоения не было.

— Только одно, — услышала она сзади себя голос Анны Петровны. — Только одно: не волнуйтесь; мужчины не стоят того, чтобы из-за них умирать. А детей я уж тут попридержу. Да и ехать бы надо, как бы в грозу не попасть.

«Не стоят того, чтобы из-за них умирать»... Клавдия, не оборачиваясь, протянула назад Анне Петровне горячую руку; у Анны Петровны рука, напротив того, была холодна. Почему «умирать»? Нет, ни за что! Клавдия повела головой и окинула глазом: как широко! Какая огромная жизнь! Не только пространства, но и века! И как же все это назвать на языке человека? Быть может: преодоление — своей — ограниченности?

Около Жени внизу целая кучка ребят, товарищей мужа; малыш им понравился, его тормошили.

— Женя! Назад! — крикнула Анна Петровна, но мальчик ее не слыхал.

Клавдия видела: насунувши кепку, Гриша кусал ноготь на пальце; Клавдия чувствовала: как тяжело оторвал свои ноги, двинулся. Она сделала также немного шагов, спустилась с камня на камень. Ей было видно отсюда, как он ступал по горе, неспешно-размеренно, скупо, и рука была очень коротко протянута перед собою: точно он на ладони взвешивал мысли, перебирая их и отбирая, что собственно было из них самое верное и самое нужное. На лицо его пал еще первый загар: верно недавно сюда. Должно быть, на розыски, на горную практику: Гриша хотел быть горняком.

Клавдия села у небольшого бокового выступа; ветер сразу затих, но у нее не затихало внутри; изнутри поднималась и обжигала едкая горечь.

— Вот не думал тебя здесь увидать.

Гриша стоял в небольшом отдалении и не протянул ей руки; из-под кепки торчал упрямый вихор; ноги были косматы.

— Сядь. Посидим, — ответила Клавдия, и сама удивилась своему спокойному, твердому тону.

Он подошел и неловко опустился на землю.

— Там ветер, а тут совсем тихо.

Гриша ей ничего не ответил; не говорила и Клавдия; странное оцепенение нашло на нее: чувства внезапно как бы окаменели, мозг был, напротив, в движении. Но это нельзя было также назвать и мыслями, шла в голове какая-то самостоятельная, независимая от мыслей, работа: мозг, на минуту покинутый сам на себя, познавал, наслаждаясь задачей, игрой, какие вблизи, внизу у тропинки, — какие там крошечные были люди, и как в огромной дали, в поясах облаков, стояли огромные горы.

Москва и март, и их объяснение — странно казались уменьшенными, надо почти напряжение глаза, чтобы увидеть и различить. И Клавдия так и молчала бы — сидела, молчала, — когда бы не услыхала, как Гриша вдруг тяжело задышал. Все встрепенулось в ней — обида и горечь, любовь; захватило дыхание. Внезапно, не думая, она кинула ему свою горячую, вдруг завлажневшую руку.

— Почему ты покинул меня?

Объяснение их шло угловато, зигзагами, с одного уступа на другой, еще более острый уступ; Клавдия, томимая горечью, говорила с напором и заикаясь, как через камни прядает горный ручей.

— Я изменил тебе, Клавдия.

— Знаю. Я думала, что я это уже пережила. Ты уходил к ней каждую ночь.

— Я ночевал у товарища.

— Гриша, не надо неправды!

Оба сидели они под трепавшимся дико плащом горного ветра.

— Не надо неправды?.. Напротив... Не знаю, может быть правды не надо... Я не хотел тебе говорить. Но... все равно. Я ночевал у товарища. Я хотел... я хотел, чтобы ты думала, будто и вправду я тебе изменил.

— Я ничего, Гриша, не понимаю.

— То, про что я говорю, это совсем не измена. В Нижнем... Ну да. Я был пьян. Это всего, просто-на-просто, гадость. Но я... я хотел, чтобы ты меня прогнала, а ты не гнала. Я был груб, я дерзил, я выдумывал разные вещи... Я надушился духами, чтобы ты думала, будто бы я тебя разлюбил. Ты поняла?

— Ты, значит, хотел, чтобы я тебя разлюбила?

— Хотел. Мне было больно, я мучился. Видишь ли ты, я... я себя презирал. Чепуха! Не за измену, ты это знаешь, как я смотрю. Но тут... Мне и сейчас очень больно.

Клавдия быстро соображала: гадость, был пьян, но... не убита любовь, измены... измены не было вовсе. Не говорит, но, конечно, думает так: буржуазная ложь, лицемерие, буржуазная слабость. Это не стал бы скрывать: гадко, но что же поделаешь? Дело простое!

Для Клавдии это «дело простое» отнюдь не было просто. Но за этим одним горизонтом, как это бывает в горах, открывался другой горизонт, более дальний; и медлить на этом было нельзя. Перед нею был муж — молодой и любимый; духи и платочек... все пустяки... внутренно он не изменял. Что же тогда стоит на пути? Какая-то горькая честность не позволяла ему кинуться к ней. И какая при этом гора всяческих сложностей: нарочитые грубости, желание, чтобы она разлюбила! Этого вовсе, пожалуй, не знал и сам сердцевед — Федор Михайлович.

Гриша, помедлив, с трудом повторил еще раз:

— Мне и сейчас очень больно. Мы не могли вместе жить.

— Но отчего? Отчего?

— Ты ни о чем не догадываешься?

Гриша медленно поднял глаза; в них была боль.

Клавдия пристально стала глядеть в эти глаза; Гриша не отводил встречного взгляда. Глаза эти — серо-зеленые — были честны и прямы. Но чего-то еще все-таки он не говорил.

— А теперь... ты хочешь?.. Не можешь... вернуться?

Про себя она думала: какая неправда, что нет у меня больше мужа! Она крепко, до боли, сжала рукою его — любимую — руку. Не хочет — не надо; можно без слов. Она услышала громкий, почти повелительный говор — вверху. Сейчас позовут. Расстаться? О, невозможно! И невозможное это надо преодолеть. Если нет слов, можно без слов!

С силой она его притянула к себе; из-под Гришиных ног мелкие камешки брызнули в пропасть. На секунду от этого шума падения у нее зашумело в висках, и надобно было прижаться плотнее к скале, чтобы не кинуться вслед. Гриша дышал тяжело, лицо его сделалось бледно, остановились глаза. Клавдия стиснула зубы.

— У меня ведь ребенок... скоро ребенок... твой сын. Иди, поцелуй!

Она сильно его рванула к себе. Она была тоже груба: долгая жажда, внезапная страсть.

Но, как когда-то, в вечер их расставания, он круто отвел и запрокинул голову вверх; он руками схватил ее руки и отрывал от себя.

— Я не могу. Я боюсь... тебя заразить.

Клавдия вскрикнула и отпустила сама крепко зажатые руки.

— Теперь поняла? — Он говорил с долгими паузами. — Я любил тебя и люблю. Но мне было трудно... это сказать. Это уже преступление. Я боялся тебя заразить... и его... я боялся... ребенка.

Наверху громко звали:

— Женя! Же-е-е-ня!

Клавдия автоматически отозвалась:

— А где ж это Женя?

— Он увязался с ребятами.

Так никакого финала их разговора и не было. К ней прибежали, она ничего о Жене не знала; ей и самой было трудно стоять на ногах. Анне Петровне она отвечала как в полусне:

— Он остался внизу. Я пойду отыщу. — Живот ее колыхался и под глазами было синё.

Анна Петровна взглянула на нее и замолчала.

Гриша сказал:

— Он увязался с ребятами. Они пойдут через Синие Горы, — и сделал движение, собираясь уйти.

— Нет, нет! Ни за что! — воскликнула Клавдия и сделала порывистый шаг — прямо к обрыву.

— Держите ее! — закричала Анна Петровна.

— Клавдия, слушай. Я сам приведу к тебе мальчика... в городе. Я их догоню. Не беспокойся.

— Да, ты вернешься; ты приведешь..., — ответила Клавдия и грузно повисла на шее Анны Петровны: как сквозь сон она видела, минуту спустя и немного оправившись, как белый туман облаков поглотил ее Гришу.

Все это сдвинулось в очень короткое время; ветер переменился, и облака уже оказались в долине; соседнее Малое Сёдло было неразличимо. Извозчики думали, что гроза пройдет стороной или, в крайнем случае, низом. Но и еще облака — другие, вершинные — неслись на большой вышине; нечего и думать было ехать. Стало пронзительно холодно; влажный туман, еще и не видимый, пронизывал дрожью до самых костей. Все приютились в хибарке, носившей, пожалуй, в насмешку, название ресторана. Хозяйка, пока не залило углей, разводила гостям самовар; сюда же забились и две хозяйских собаки. Лошади фыркали неподалёку; извозчики сумрачно озирали белое клубящееся море внизу, и второе такое же — над головами; приближалась двойная гроза.

Для Анны Петровны эта поездка была вдвойне беспокойна: она очень тревожилась и за своих детей, и за пропавшего Женю, она очень ворчала на «безобразников», потащивших с собою мальчишку пешком — через горы — в грозу; но главное ее беспокойство было, конечно, за Клавдию.

— Куда же домой? От места ведь мне отказали...

Да, пожалуй, и не отказали бы, все равно ехать теперь уже никуда не возможно: женским чутьем, верным, испытанным глазом Анна Петровна знала и видела, что развязка близка: она торопила хозяйку, чтобы скорей был готов самовар: кипяченая вода должна очень понадобиться. Поглядывая на лежавшую Клавдию, — ей постелили все чистое на постели хозяйки,— она отдавала еще кое-какие распоряжения.

Гроза не заставила ждать; для Клавдии это совпало с первыми схватками. Схватки были мучительны; все существо ее содрогалось, она то корчилась, стискивая зубы и кулаки, то крепко и длинно вытягивалась, а набухшие губы ее раскрывались безвольно и вяло. Ей в эти минуты казалось, что гроза проходит по ней; тысячи гулких копыт попирали ее; гиганты трубили в рога, громыхали колесами; небо упало на землю и раздавило ее.

Скорчившись в уголке, бледная Сонечка, похожая на хорошенькую испуганную белочку, тихо шептала:

— Нет, ни за что! Никогда! Никогда!

Гриша Скворцов также глядел на учительницу и также был бледен. Он сжал в своих крепких руках пальчики девочки. Он не сразу нашел что сказать, но какая-то мысль томила его. Наконец он нашел; он сказал это шопотом, но шопот был слышен:

— А если бы этого не было, не было бы на земле ни тебя, ни меня.

Это была настоящая мысль мужчины, сильная мысль! Сонечка со страхом и уважением взглянула на него снизу вверх; у них был давно сильный и нежный роман, и решение было принято также давно: вырасти и пожениться и не разлучаться до самой смерти!

Нельзя было долго понять — вечер еще или уже настоящая ночь; во всяком случае, стало темно; серо-чугунные били в землю потоки; дикая сила кидала их в землю, в верхушку горы, как если б действительно шорник, чернобородый, как уголь, осатанев, гвоздь за гвоздем забивал в остов седла.

— ...«не было бы на земле ни тебя, ни меня»... — в полузабытьи повторяла Клавдия слышанные ею (казалось, когда-то давно), запавшие в сердце слова, и словечко одно в сознании было курсивом: «ни *т е б я*»; это был он, найденный муж. Туманы бегут и бегут; призраки, сложности в ней опять возникают и исчезают. И, сквозь бегущий туман, все яснее — простое, прямое лицо. То, что узнала, было ужасно и отвратительно, но то, как он сделал... — не только был муж, но у нее — честный был муж!

И вот услыхала еще, как ее ученик, тезка ее любимого мужа, так же раздельно и громко опять зашептал:

— Я тебе не могу рассказать, но мой отец — негодяй! Как же он мог?.. Он мог бы совсем изувечить ребеночка!

— Нет, ты расскажешь! Нет, ты расскажешь! — горячечно жарко откликнулась Сонечка.

У Клавдии странно, в воспаленном мозгу, отозвалось опять о своем: а его отец, отец моего, любимого мальчика... (Клавдия давно уж решила, что у нее будет мальчик!) — он... нет, он совсем не негодяй... он совсем не хотел изувечить ребенка. Он не протянул к нему рук, но вот тем, что не протягивал, этим как раз оберегал! И опять она увидала, как он от нее скрылся в туман — за чужим... побежал... охранять... И она думала, думала: знаю, погибнет, но охранит!

Клавдия улыбнулась и увидала голубые глаза Анны Петровны. Она потянула ее за рукав и прошептала:

— Нет, за мужчин — отчего ж за мужчин нельзя умирать?

Дальше опять мысли мешались. У изголовья на секунду встал Эльборус; он был без единого облачка, видны снежинки; он придвинулся близко и глядит на ее смятение, бурю. Ей холодно и мучительно жарко одновременно. Так и в мозгу: половина одна точно лед, другая — в огне. И вдруг—все это кинуто вместе в какой-то один адский котел; боль поглотила все ее бытие. Как струи дождя, она набегала сама на себя, удесятеряясь. Но где-то за нею, в тылу, гоня ее перед собою, подобная солнцу и свету, стремительно возникала огромная радость: конец! Конец и — начало.

Ребенок родился между людей и собак, в запахе мокрой овчины и при свете коптилки. У матери не было дома, но у нее и у ребенка, рожденного ею на вершине горы, был один большой дом, общий для всех, кто в пути. В нем не было вовсе того, что именуется словом «уют», но вместе с тем не было и веками накопленной плесени, призраков и привидений; воздух был свеж, просторы огромны, сквозь тучи на небе глянули мокрые блестящие звезды.

Дождик стихал, фыркали где-то поблизости лошади. Клавдия тихо лежала в блаженной усталости. Крошечный сын был действительно крошечным, но он был живой и шевелился, не зная еще, не понимая, что это с ним и куда он попал.

Дети под утро заснули, но раннее солнце их разбудило; все они выкатились: как горох — через порог. Вышли и старшие. Клавдия не видела ничего — ни снежных вдали зубчатых гор, ни Эльборуса, как он розовеет в низких лучах, ни дымящихся свежею влагой скатов Большого Седла, полных сверкающих капель и легкого шороха расправляемых листьев, стеблей. Но, лежа, она ощущала, как все становилось на место — прочно, уверенно. Радость и горечь — всему свое место в этих суровых — зеленых и голых — важно-спокойных пластах.

Она лежала недвижно, легко; дыхание сына было едва уловимо, но она его слышала: тут! Это был маленький мир, и для него впереди — вся полнота бытия. Воздух из двери струился, пронизанный светом, розовый и молодой; он ложился на щеки и шевелил ей ресницы.

И еще, подымая глаза, видела мать, как, блистая на солнце, в отворенной двери, с крыши падали частые капли воды; казалось, они упадали и поднимались, играя, резвясь. Они упадали и поднимались живой непрерывной цепочкой, струей; и все это было — как пульс.

Последний пират из Хиоса.

(Рассказ).

П. Павленко.

Стояло одно из тех утр, шафрановых от солнца и зноя, какие часто бывают в июле у берегов Эллады и Азии. Море багровело в оцепенении штиля, и горизонт его был скрыт в желтизне морских испарений. Море было густым, прохладонепроницаемым и глухо отражало звуки. Ночью у берегов Измира облака и ветер предвещали свежую погоду, и «Тузла», парусно-моторный бот, осторожно ковыляла ночью хромоногим винтом по валкой дороге моря, не теряя из глаз береговой черты.

Но рассвет был пухл и густ, и за рассветом встало тяжелое утро, и в вязкой волне, как в меду, стал путаться винт. Тогда пришлось уйти дальше от берегов, чтобы поймать какой-нибудь ветерок, но жар опережал судно, и всюду была тишина и неподвижность. Горячий воздух, настоенный на пряностях моря, жег, как перечная пыль, но люди глотали его широко, по-рыбьи раскрывая рты и шевеля ушами, как жабрами. На невысоком узеньком мостике, на ковре, расстеленном впереди штурвала, под дырявым и морщинистым тентом, на корточках сидел капитан «Тузлы». Он был сухо сбитым анатолийцем, с голодными коричневыми руками, с лицом беспокойным и потертым у острых скул; на нем висела терпеливо заношенная белая куртка с золотыми оборками на рукавах, серенькие шерстяные штаны и туфли без пяток — на босых ногах. Свернув ноги узлом, он читал рассказы Джека Лондона в переводе Абу-Зии-эфенди. Мальчик матрос, обжигая ноги палубой, волочил ему подносики с кофе. Виски капитана набухли кровью и нехорошо дрожали, под веками скопились слезы.

Жар, полдень, глиноподобное море, скука. День очень долог и пуст— и медленно и неохотно обсасывал капитан края чашечки с горькою и густою жижей. Солнце стекало дымком к морю и фелюге. В глазах людей на фелюге возникали оранжевые круги и полосы, за которыми почти не видно того, что есть на самом деле. Жуя утренний хлеб, рулевой сонно ворочал штурвал.

— Пой,—сказал капитан ему,—пусть будет ветер. Пой!

Проглотив кусок хлеба и очистив рот лихим поворотом языка, рулевой запел песню, коротковолную, как всхлипы чайки.

А капитан вернулся к книжке. Он читал о детях волка, о героях морей, и невольно чувствовал и себя одним из них. Опускаясь в память и находя в ней следы прекрасных авантюр, сшивая их с приключениями других — реальных или вымышленных — людей, он чувствовал себя подчас подобным Джеку Лондону. И хотя, отрываясь от вымысла, он не мог бы найти в своем прошлом ничего, что перекипало бы через будни, но он знал, что это только просто случайность — не больше.

Соловыми голосишками стрекочут волны. Густая и клейкая тишина вываривается из зноя. Она заполняет все трещины сознания, заклеивает все мысли в трещинах, и жизнь соприкасается с сознанием через медвяную проклейку тишины. Слова застревают, подобно мошкам, в настилке тишины над сознанием.

Винт тяжело взбивает горячий сизый желток моря. Легкая рябь волн стремится застыть в желатиновом трансе. Крупною дробью и брызгами спадают с лица капли пота.

Капитан был родом из Хиоса. Алжир и Хиос — старые гнезда средиземноморских пиратов, но Хиос древнее: корсары Хиоса были известны эллинам. Хиосские пираты украли Павла, апостола азийских язычников по пути его в Рим. И старинные хиосские песни говорят, что Павел был подменен шутом из Галатии.

Левант — страна клондайкская в Европе — родился из Хиоса, где жили беглые Перуджино, делла Грамматики, Байроны и Казановы. Одни из них были католиками, другие — сынами восточной церкви, третьи — евреями, но все между собою родственники. Раввин Казанова хранил при себе испанский паспорт, а Казанова-шкипер был настоящий бритт. Жители Хиоса — рыбаки и контрабандисты. Граф Алиоти старший держал на Хиосе трактир, где заседал в дни безделий геральдический капитул острова, и именно там слышал капитан, что его земляками были знаменитые пираты Джеллино Раввачи и Магомет-Хильми-Ибн-Суад, тесть Байрона.

Этого было довольно, чтобы капитан считал себя носителем всех славных хиосских традиций, жестокосердым убийцей, защитником слабых, хитроумным политиком и доблестным мореходом, но был он худ и паршив, с коричневыми голодными руками и, набравшись ума от книг Абу-Зии-эфенди, рисовал он себя Лондоном, корсаром новых времен.

— Хорошо пишет Абу-Зия-эфенди, — говорил он сквозь пот и пыль. — Отлично рассказывает о Чек Лондре. Сам я немножко — Чек Лондра.

Рулевой пел, чтобы вызвать ветер, но попрежнему было недвижно море. Голые люди спали на юте. Капитан дремал, лежа на мостике. Дремал и думал.

В счастливых морях, омывающих Элладу и Азию, весело плавать неторопливым кораблям. В этих морях, часто утыканных островами,

цветут зеленые закаты. Здесь воды моря лапислазурны, а каменногорбые берега багровеют иодным румянцем, и в мудрых старых морях этих, объезженных корсарами и философами, живет еще и по сегодня былинный лом самых чудесных разноречий. Пути из Африки и Египта касаются путей из Европы в Азию. Крестопуть Эгейи звонок людьми всех стран.

«Ну, где же мог встретить Чек Лондру почтенный Абу-Зия, весь век проживший в Конии, среди плоскогорий, не знающих моря?—думал капитан. — А ведь выходит, что он, капитан, не раз должен был встречать отважного Лондру в своих морских переходах. Именно в этих морях часты флаги всех стран и языки всех народов, в карманах—деньги различных чеканок, в трюмах—товары разноплеменных марок».

И опять он думал о подвигах и людях, и прочная уверенность в том, что краем дней своих он когда-то касался движения великой и прекрасной жизни, росла в нем. Он плавал давно и любил героические рассказы. Он твердо знал в уме, в снах, в бреду безделья все странности судьбы и верил, что волокна героических свершений бродят над человеком, как хлопья зноя, как пушинки цветочной пыли, и нужно лишь уметь схватить их и сделать явью.

Перестрадав героическое по жизни Чек Лондры, часто выдумывал капитан свои собственные истории, такие, какие всегда могут быть пережиты любым мореходом. Он охотился за вдохновением, рождающим убедительность истины, как искусный охотник за диким и пугливым зверем. Он находил тысячи уловок, чтобы обмануть враждебную бдительность вдохновения. Он заманивал его искусно придуманными встречами, разговорами, событиями, разложенными на самом краю подсознательного. Зверь вдохновения, прельщенный вкусной приманкой, осторожно подбирался к сознанию, сетью нервов капитан опутывал его, втаскивал к себе и заставлял оплодотворять рассудочный вымысел огнем и кровью неповторимого порыва.

С течением времени он научился всем тайнам беспроигрышной охоты. Он знал, что поймает зверя, и приманка становилась проще, капкан небрежнее. Однажды он заметил,что и зверь вдохновения привык к нему, почуяв свое бессилие и вечное превосходство охотника, и теперь являлся покорно на самую маленькую, дурно приготовленную приманку. Так вдохновение было приручено, оставалось его дрессировать. Прыгать через кольца или играть мячом — вдохновение отныне делало самые обидные вещи. Ручное — оно потеряло свою силу и необычность.

Капитан знал, что капризную своенравность его не вернет вымысел, переставший раздражать обоняние зверя, и он искал в самой своей жизни куска с кровью правдивых событий, чтобы пробудить инстинкт вдохновения...

— Парус на краю моря! — сказал рулевой сквозь пение.

Из мглы солнца медленно подвигался навстречу клок паруса, беспомощно спадающий с костяка мачт. Устало шевеля многовесельными лапами, парусник гусеницей подползал к «Тузле».

Капитан приказал сбросить веревочный шторм-трап.

Араб-обезьяна, обернутый в бурнус и бинты, зыбко поднялся на палубу «Тузлы».

— Мне нужен турецкий берег, — сказал он по-арабски и передернул забинтованными плечами.

— Франки? — спросил капитан, касаясь рукой бинтов.

— Франки. Куда держишь путь, капитан?

— К нашему берегу.

— Ай-ва! Давай тогда полный ход, — сказал араб и прошел под тент. Он был высок и худ, страшно высок и страшно худ, без костей, гибкий, как хрящ, перевитый жгутами узких, как морщины, но быстрых и опытных мускулов. Лицо из темной глины, чуть-чуть закоптелой на солнце, глаза — два паука, медленно шевелящие лапками, ресниц и зубчатый голос, змеиный, негромкий, но убедительный.

Глядя на араба и нюхая вонь бинтов, капитан радостно шевелил языком. Его сердце, уставшее от лживых видений, суетилось теперь от радости живой встречи.

— Откуда держите путь, эфенди? Где изволили быть? — спросил капитан.

Рулевой замолк и, не шевеля штурвала, запоминал человека из другой, незнаемой жизни.

— Пой! — обернулся капитан к рулевому. — Это наш гость, араб.

— Где я был и с кем говорил — это неважно, — ответил гость, — но я видел цвет ислама. У всех нас теперь один язык: и в Халебе, и в Недже, и в Хауране, и в Геджасе люди разучились говорить: они то и делают, что считают жизни: свои и гяуров.

— Валла! — охнул капитан. — И кто победит?

— Мы, — ответил араб. — Я должен переплыть море, чтобы рассказать всем вам о победе.

Капитан говорил на грубом анатолийском арго, изредка, для вежливости, вставляя арабские слова, смысла которых он часто не знал, а араб отвечал ему на наречии племени «сбаа», но в общем они хорошо понимали друг друга.

— Чох эи, — сказал капитан, — давно пора бить гяуров. Я одобряю.

Он раскрошил сухими пальцами несколько новых слов и крошками их пытался набросать арабу намеки о своих героических снах и о несвершенных, но в душе выношенных походах. Он говорил, что он привык к опасностям и любит их, потому что в нем кровь мировых корсаров, а душа всеобъемлюща, как душа Чек Лондры. Он говорил, увлекаясь рассказом. Араб из страны войн, продырявленный франками, пахнущий порохом и чадом войны, волновал его.

Героическое, как запах пота, исходило от араба, кралось из-под синих сырых ресниц его, поднималось от пальцев рук, блестящих и проволочных.

Араб кивнул головой и сказал:

— Я слышал. Чек Лондра—это отлично. Ты не предатель, я чувствую.

Он вынул из-под бурнуса кожаный мешочек, в нем звенело золото и шелестели бумаги.

— Спрячь у себя, — попросил он. — В моем плече копошатся черви. Спрячь до того, как покажется земля, брат.

И медленно замкнул глаза.

— Ах, сколько горя ты причиняешь мне своими словами, — сказал капитан. Он сполз, скинув туфли, с мостика и побежал на ют, где спал его экипаж — трое голых людей.

Он разбудил их резкими криками и строго рассказал им об арабе, переплывающем море, чтобы поведать о войне в пустыне. Из трюма, парящего взмокшим инжиром, поднялись головы удивленных пассажирок, девушек из Макри.

— Запомните этот день, женщины, — сказал капитан, — запишите число. Вы видели человека.

Жар был побежден волнением. Таинственным и важным становился день. И шептал капитан, сидя на корточках:

— Иншаллах, пусть будут все дни мои, как сегодняшний!

Говоря так, он чувствовал себя властителем моря, свершающим страшный поход против гяуров.

* * *

«Тузла» — старый плоскодонный бот — обслуживала мелководные рейды вокруг богатой Смирны. Она ходила из порта в порт, как коробейник, подбирая груз для океанских пароходов, и свозила его в пакгаузы пароходных компаний в Смирну или подавала на борты тысячетонных кораблей.

Благодаря этому капитан толкался всегда среди новых людей, среди иностранцев, он плавал десятки лет и знал всех штурманов и их корабли, помнил на память их рейсы — и ночами, в море, вздымающем черные хляби, в ветрах, выдувающих из груди все страхи, он искал знакомых огней, чтобы принять или ссадить пассажира, продать ящик опия или получить в подарок за услуги десяток бутылок виски.

Когда подходил сезон экспорта, «Тузла» стояла у причала неделями, капитан пьянствовал в кабаках, братался с моряками дальних морей, которых он знал по морским и товарным делам. Плимутские и гаврские штурманы заказывали ему для себя, для своих спекуляций, смирнский опий, табак или фиги и предлагали в обмен чудесный «коко» и сигары. Быстро пьянея от смердящего пойла, капитан готов был тогда запродать им сразу всю Анатолию, он предлагал иностранцам многие тысячи тонн валонеи и уверял, что может подписать на них контракт, не сходя с места, или рекомендовал взять в концессию какие-то рудники, обещающие золотые горы, или расхваливал девушек из Аданы и обещал их каждому по две и даже по три души за самую справедливую цену.

В кварталах за старой Смирной, носящих имя Кемер-Алты, что значит застенок, в полутемных хибарках ждали моряков женщины. Плимутские и бергенские капитаны братались здесь с капитаном Чек Лондрой. Он умел болтать косноязычно на многих языках, а они ничего не знали о стране, у берегов которой бросили якорь, и ложь его рассказов была для них экзотической правдой. Они называли его Чек Лондрой, как он того хотел, находя, что это очень смешно и остроумно и что их капитан, рассказчик и хороший парень, заслуживает хорошего прозвища.

В кварталах Кемер-Алты капитан знакомил друзей с женщинами неосторожных профессий, — он знал их всех по именам и был в курсе их дел, и отбирал для друзей лучших красавиц, женщин с тонкою и пушистой кожей, мягких, как спелый банан. Потом он поил ребят горьким и вонючим зельем от всяких французских неожиданностей и, пьяный, накурившись опия, пел, зверски увеча языки, песни шведских матросов, негритянские куплеты и печальные мелодии азийских мореходов.

Часто ему передавали привет из Каира или весточку из Сиднея. Да и сам он любил вспоминать хороших ребят, разбросанных по кабакам и притонам от Киао-Чао до Одессы. Когда не было работы в море, капитан проводил дни в кофейной, на пристани, пил десятками чашек кофе и чай, рассказывал землякам небылицы об иностранцах, а иностранцам — о земляках и, выслушивая ругань и похвалы, мурлыкал песни и до поздних звезд любовался собою — капитаном веселых морей.

* * *

Шафрановый день еще длился, когда араб встал. Он вылез на палубу; бинты его были серы и отдавали гнилью, он баюкал здоровою рукою иссеченное плечо и скрипел вполголоса непонятными словами. Матросы, лежа на юте, оглядывали его острыми взглядами. И из трюма, где на тюках фиг было место пассажиров, выбралась на палубу женщина. Утконогой походкой она прошла меж матросов — тоже поглядеть на таинственного араба. Возжелав женщину, матросы вполголоса бросали ей шутки, они говорили о деньгах и страсти, о том, что нижние трюмы темны и что в них безлюдно и тихо, что за любовь платятся деньги и что деньги для хорошей любви у них сейчас есть.

Араб тяжело вздохнул и сказал капитану:

— Брат мой, покажи мне турецкую землю.

— К вечеру, не раньше, — ответил капитан.

Он обрезал на ногах ногти, и ему было некогда рассказывать долго.

— К вечеру? — спросил араб. — К вечеру черви съедят меня, вот что!

— Ну, не съедят!.. — ответил капитан. — Что ж я сделаю!

Женщина подошла и спросила араба:

— Больно?

Араб не понимал турецких слов и ответил, вздернув голову вверх, что могло означать: «эх, ничего, нет, бог с ним, все равно». Тогда женщина,

еще больше смутившись, сбежала в трюм и принесла широкую, в сборках и кружевах, юбку, которую она аккуратно везла, чтобы надеть в праздник в городе, и, разрезав ее на узкие полосы, дрожа и высовывая язык, сменила старые бинты.

— Кто твой мужчина? — спросил араб глазами и жестами.

— Я — ничья женщина, — ответила она плечами.

Араб щелкнул языком и, легонько хлопнув ее рукой по спине, сказал:

— Эй-ва. Возьми мой мешок к своим.

Оставив недообрезанный ноготь, капитан спросил, недоумевая:

— Почему так?

Ему никто не ответил. Женщина послушно пошла за мешком. Араб, хрустя зубами, смотрел в море. Дергаясь всем животом, открытым из-под расстегнутой тужурки, капитан подошел к арабу.

— Наш закон един, — сказал он. — Будь таким, каким подобает быть гостю.

— Не дразни меня, капитан, — ответил араб. — Черви едят мою грудь, я зол.

— Это все очень печально, — развел губами капитан. — Ты — герой, но хочешь показать себя хищником. Оставь эту женщину, я везу ее в один дом, в Чанак-Кале, за нее уплачены деньги, я в ответе. Кем ты хочешь показать себя?

— Таким, каким еще не был.

«Кто он? — соображал капитан. Душа его искала ответа на любознательность сердца. — Кто он? Впрочем, черствость и ложь часто сопутствуют великим и благородным характерам».

— Он не в своем уме, — шепнул капитан женщине, вернувшейся из трюма с вещами. — Лезь в трюм и сиди там тихо.

— Нет, — оборвал его араб, — она не уйдет. Дай нам скорее землю, чортов Чек Лондра!

Капитан ударил себя руками по штанам, и пыль взвилась над ними медленной тучкой. Он закричал, что обратится к закону, что беглые всюду караются строгою карой, что он, бедный и честный моряк, не понимает людей с сердцем из грязи.

— Нет, — пробормотал араб, — моя душа проста. Я, как и ты, хочу быть лучшим, капитан.

И, поскоблив где-то за поясом, он вытащил рукоятку ножа и сказал:

— Таким, каким еще не был. Можешь попробовать.

Капитан взбежал на мостик и сел на скрещенные ноги. День застрял и не мог выбраться из трясины солнца. Ничего не видя и не соображая, убитый неожиданным горем, капитан тупо вращал белками глаз, политых рыжим потом.

«Арабы лживы,—говорил он себе,—и я должен был это знать».

Он подсчитал в уме убыток от ухода женщины и мысленно перебрал золотые монеты араба. Теперь-то он хорошо понимал, что араб ни за что

не оставит ему монет и что он — капитан — не сумеет отбить их у сурового гостя.

— Ах, какой характер у этих арабов, — шептал он и бил кулаком по колену. — Дикий народ!..

Штаны курились пыльным дымком.

— Пой, чатлах,—крикнул он рулевому. — Пой, не видишь, какие у нас гости, старый осел?

И, перебрасывая, как четки, колесо штурвала, рулевой негромко и скучно запел.

* * *

Солнечное оцепенение дня еще длилось необъяснимо долго, облака, перекипевшие в солнце, опадали крутым белком за горизонт, дымящийся сизым маревом.

— Молчи, — сказал капитан рулевому, — можно подумать, что очень весело.

Он взял в руки бинокль.

— Дай два градуса лево.

И, зажав бинокль меж ног, начал вечерний намаз, шепча пересохшими губами:

— Аллах экбер... Аллах экбер...

Солнце погрузилось в море раскаленным докрасна жерновом, и море вскипело во всю ширь зелено-вишневыми дымками заката.

«Тузла» осторожно прижалась костистым боком к деревянной пристани глухой и безлюдной Астаньи. Женщина взяла два мешка, свой и араба, и первой вышла на берег.

— Чек Лондра, — позвал араб капитана. — Иди сюда, чортов Чек Лондра.

Капитан, шмыгая туфлями, почтительно подошел. Голос араба был мягок, как храп засыпающего буйвола. — Монетки...

— Сейчас, дорогой эфенди...

Но араб продолжал:

— ...возьми себе, брат.

Капитан приложил руки к груди и ко лбу.

— Эфенди, не сберечь ли их для тебя?

— Для меня? Сбереги. Или отдай женщине. Или возьми себе, — сказал араб и махнул рукой.

Капитан решительно запротестовал:

— Женщине не отдам. Ни себе, ни женщине.

— Ну, хорошо, — сказал и улыбнулся араб. — Прощай.

* * *

И в тот же вечер, попозже, в кофейной на берегу, где скучно играли в карты рыбаки, жандарм и контрабандисты, капитан рассказывал о своем последнем переходе.

— Шайтан вас знает, — говорил он, разводя руками, — вы живете, как черви, ничего не знаете, ничего не видите. То ли дело я — я все вижу, везде бываю. Вот вчера... Но это, братья, был рискованный шаг...

И, вытаращив глаза и веселя речь движениями рук, он поведал им чудесный случай — встречу с гонцом из кипящей Аравии.

— Следите теперь за газетами, — сказал он, — уж этот араб обязательно выкинет что-нибудь особенное.

— А как его имя? — спросили.

Ах, имя! капитан не знал его имени. Нет, он знал, знал. Имя араба вертелось в мозгу, цепляясь за волосинки памяти.

— Да, Чек Лондра! — вспомнил он, захлебнувшись восторгом. — Клянусь аллахом! Безумный и храбрый человек. Абу-Зия-эфенди — спросите-ка у судьи — написал о нем целую книгу.

И вечер был легок и светел, и пьяным было кофе, которое пил капитан с друзьями.

Шхуны спали у мола, как псы, изредка вздрагивая телами и ворча сквозь сон.

Мой отец, дед и бабушка.

(Из семейной хроники курских Тувыдовых).

М. Волконская.

Мой отец был друг Кропоткина, Бакунина и Дегтерева. Умер он, не дожив до революции, но я знаю, что он, несмотря ни на что, и теперь, если бы был жив, не отказался бы от своих убеждений. И гражданская война, и голод, и потеря, разумеется, средств, недвижимого имущества, ничто не изменило бы его убеждений. Ничто!

Происходил мой отец от вольтерианца-помещика Николая Тувыдова и его жены Александры Павловны Романовой, потомка одного из братьев патриарха Филарета. Народу тогда, при воцарении Михаила, было сказано, что этот брат Филарета погиб, был замучен Годуновым, что ли. На самом деле он с семьей сослан был самим Филаретом на юг в «презрепогибшую Украину», как тогда называлась Южная Украина, — с воспрещением выезда из нее навеки и с приказом, тоже навеки, забыть о родстве с царем.

Дедушка мой Николай Тувыдов участвовал, как огромное большинство дворян Екатерининского времени, в походах Суворова, но вразрез с этим большинством — вдруг разочаровался в своей родине, в ее миссии, в самом Суворове, дезертировал, жил в Италии и, прожив все, что имел при себе, т. е. все деньги, вернулся на родину пешком, странствующим певцом. У него был удивительный голос, и русские песни, аккомпанируя себе на скрипке, он исполнял с неподражаемым мастерством.

Намерением его, деда моего, было, возвратясь на родину, в Сунженский уезд, Курской губернии, продать землю, дом и крестьян тому, кто даст за них хорошие деньги, и снова поехать в Италию, уже навсегда. Но... но...

Этому намерению вольно или невольно, — неизвестно, — помешала бабушка моя. Дед мой зашел в усадьбу Романовых, близ Винницы, стал петь там, как везде, чтобы заработать на пропитание, свои песни, сначала дворне, потом господам. Бабушка, тогда юная девушка, восхитилась его пением, ее братья тоже. Они стали разговаривать с бродягой-певцом, и инкогнито его очень скоро было открыто.

Сначала старшие, т. е. родители бабушки и ее братьев, гувернантки, разные дядья и тетки, усомнились в этом открытии, но Тувыдов очень

скоро представил несомненные доказательства своей личности, т. е. назвал по имени всех своих родственников, свойственников, соседей... и с улыбками и с смехом его приняли в дом к Романовым, как милого чудака и оригинала. Последствием этого случая был брак дедушки с бабушкой.

За границей он много видал людей, много читал философов — хорошо говорил, с воодушевлением рассказывал о Марате, которого лично знал или видел — не помню, рассказывал, что он был выдающийся доктор, что его боготворили бедняки, которых он лечил даром. Рассказывал, как его убила женщина, т. е. девушка Кордей (Кордэ). Она была внучатая племянница французского писателя Корнеля и, чтобы проникнуть к Марату, к которому никого не пускали, написала ему два письма, в которых умоляла принять ее ради спасения отечества от врагов. Когда ее, наконец, допустили к нему, — она нашла его, сидящего в ванне, и на слова его: «Кто же враги? Говорите, не мямлите...» назвала жирондистов: Пэтион, Гадэ, Женсинэ и еще каких-то, которые скрывались в Кане.

Ничего не подозревая, Марат взял таблички, на которых делал записи, и стал вписывать их имена, с усмешкой проговорив: «Я всех их отдам гильотине. Недолго им коптить небо», как вдруг Кордей выхватила нож из-под складок своего платья и вонзила его в горло Марата.

— Странно вспомнить, что произошло тогда в Париже, — говорил дедушка. — Какие несметные толпы разъяренного народа наводнили улицы. Как полиции еле удалось доставить в целости убийцу в тюрьму. По дороге она впала от страха в обморок, а к Марату шли, шли и ехали все: и власти, и литераторы, и художники, и бедняки. Знаменитый художник Давид — величайший французский художник, со слезами воскликнул: «Я сохраню его обожаемые черты...», и он написал его портрет, который был шедевром искусства, так поразительно были переданы на нем сходство и выражение лица «друга народа». Портрет был выставлен с надписью: «Святой Марат»...

Похоронили Марата в Парижском Пантеоне, говорил дедушка. Народ каждый день приносил Марату горы цветов и украшал ими его мавзолей. Сердце Марата положено было в самый драгоценный сосуд, который нашли и взяли из бывшей королевской сокровищницы...

Дедушка знаком тоже был с братом Марата — Давидом Маратом, который эмигрировал в Россию, — дедушка смеялся: «ради безопасности, как тот человек, который стал под самую пушку, чтобы его не убили». Давид Марат в России назвался «де Будри», откинув фамилию Марат. Будри была деревушка в Невшательском княжестве. В этой деревушке и родились и жили Мараты, и де Будри просто означало: из Будри, а у нас в России вообразили, что «де» означает дворянский титул, происхождение и назначили Давида, как знатного, но бедного француза, преподавателем и воспитателем в Царскосельский лицей. «То-то в душе смеялся «аристократ Давид»... — прибавлял дедушка, рассказывая об этом, и сам потирал руки от удовольствия, хохотал. — Многим Николай I обязан 14 декабря этому назначению в лицей... Многим...

Помню я еще рассказ деда о празднестве Высшему Разуму (fête de l'Etre suprême), который устроил для парижан Робеспьер. Он, дед мой, так живо рассказывал о нем, что мне всю жизнь казалось, что я стою сама на стуле, прижавшись спиной к стене дома, против сада Тюльери (Тюиль— значит черепица. Сад черепичника. — Вначале, на этом месте, была фабрика черепиц. А дедушка за мои «Тюльери» всегда давал мне пальцем по носу). Ну, вот, стою я в страшной толпе, а рядом со мной стоит молоденькая девушка, дедушкина подруга, как он ее называл, веселая-веселая Мищелина, и вся толпа и мы с Мишелиной ждем конвент и Робеспьера. Вся толпа — это движущийся цветник — столько у всех цветов в руках, и запах роз пьянит и веселит сердце. На улице воздвигнута громадная арка в гирляндах зелени и цветов. День чудный, солнечный, но не жаркий. Ждать приходится долго, но вот, наконец, показывается процессия. Идут члены конвента в голубых мундирах с трехцветными перьями на головных уборах, в трехцветных шарфах через плечо. В руках у каждого очень большие букеты из красных маков, васильков и пшеницы. Впереди всех идет Робеспьер. Его мундир светлее, чем у остальных членов конвента, его букет еще больше, чем у остальных, но... толпа молчит, не встречает его радостными возгласами, и он идет пасмурный, опустив голову. Вдруг возгласы: «Тиран! убийца Марата! убийца Дантона!.. убийца Камиля!..». В одном, в другом, в третьем месте. «Заставляешь себя ждать!.. Завтракаешь в павильоне Флоры!..» Затем, громкий приказ: «Расступитесь! Дайте пройти комиссару конвента...», и показывается друг Марата, величайший художник Франции — Давид. За ним идут всевозможные депутации, тысячи депутаций. Старики несут дубовые ветви, молодежь — виноградные, женщины — цветы. Депутатов — 25 тысяч, и все идут, идут, идут, направляются к Марсову полю. Там воздвигнута гора для конвента, депутаций и музыкантов. Неожиданно раздаются громкие звуки труб. Это сигнал. Значит конвент, во главе с Робеспьером, показались уже на площади. Тут начинается давка, суматоха. Народ бежит, как сумасшедший, стремится на Марсово поле. Все боятся пропустить зрелище, которое там готовится. — Стол, на котором стоит дедушка с Мишелиной, рабочий Кадюс и еще кто-то (а в моих фантазиях я) сдвигают, чуть не опрокидывают, и мы тоже бежим к Марсову полю. Там, на горе, чудно украшенной растениями и гирляндами цветов, на самой вершине сидит, как идол, — Робеспьер. Ниже его члены конвента, а дальше, т. е. еще ниже, депутации... Распорядитель празднества — Давид... Ах, да много интересного рассказывал дедушка. Всего не припомнишь.

Бабушка — та была совсем другая. Она тоже была «либералистка», как тогда говорили, но вроде императрицы Екатерины II. — Екатерина себя называла революционеркой, а Давыдов, партизан, написал про нее известные строки, как она говорила энциклопедистам: «Messieurs, vous me comblez...» и тотчас прикрепляет украинцев к земле...

Вот такой «либералисткой» была и моя бабушка.

Когда они поженились и приехали с дедушкой в Ситницкое, имение дедушки, его намерением, как я уже говорила, было продать все и ехать за границу. Бабушкино намерение было другое. Она, никуда не выезжавшая из своей усадьбы, любила русскую деревню, скептически относилась ко всем «Италиям» и устроилась так, что на всю жизнь она и дед — остались у себя в именьи, в Курской губернии.

Чтобы он не скучал, она выписывала ему всевозможные, запрещенные в России, книги. Старший брат ее был в Петербурге цензором, и ему легко это было делать. Выписала из Вены трех музыкантов для составления вместе с дедушкой квартета. Выписывала всякие новые камерные вещи, квартеты, квинтеты, а также и оперные партитуры, — словом, ублажала деда, как могла, и совершенно захватила его в свои руки.

Неуравновешенный и воспламеняющийся (бабушка трунила: «у тебя, Николаша, семь пятниц на неделе», и с очаровательным кокетством, таким редким в отношениях мужа и жены, покоряла его сердце восхищением перед его умом и музыкальным талантом), он покорился бабушке, скромно, незаметно, но строго соблюдающей свою «единственную пятницу в неделю», и только изредка ворчал и обижался, когда бабушка противоречила ему насчет Марата и его святости.

А бабушка неуклонно вела свою линию. Она занималась домом, детьми и приумножением состояния. Скупала соседние участки, сеяла на них то, что они способны были родить, руководствуясь одной заботой, чтобы было больше дохода. Когда дети подросли, она разделила всю землю на участки, по числу детей, на участки с равной доходностью и так, чтобы дети могли меняться продуктами, выстроила в каждом участке дом, т. е. усадьбу, выкопала по пруду, служившему, каждый, демаркационной линией, где кончается собственность одного владения и начинается собственность другого.

Историк Сергей Михайлович Соловьев, — женившийся позднее на бабушкиной родной племяннице, дочери цензора, — называл бабушку «министром», так это прозвище и осталось за ней до смерти: «министр!».

Соловьев, кстати сказать, читал бабушке свою историю и выслушивал ее замечания, умные, точные, а иногда и вдохновенные.

Вот от этой четы — дедушки Николая Ивановича и бабушки Александры Павловны — и родился, между прочим, мой отец, Вадим Николаевич Тувыдов, его единомышленник, брат его Авенир Николаевич и совершенно противоположные им братья Никита и Леонтий Николаевичи, словом по образному выражению русского писателя: «вышилась полоска узорной Руси и татарской и парижской, великолепной и невозможной».

У бабушки и дедушки, надо сознаться, была одна большая странность. (После, в семье, смеялись, что бабунька, должно быть, воспитание выбирала, как посев, смотря по тому, какой грунт.) Странность эта заключалась в том, что они направляли сыновей учиться в Петербург попарно: Двое мальчиков и дядька. Двое других мальчиков и другой дядька. И каждая пара в диаметрально противоположное по духу заведение.

(«Должно быть, для лучшего дохода, для товарообмена в случае надобности», — смеялись у нас в семье.)

Вадим Николаевич, — мой отец, — и его брат Авенир были посланы в морской корпус, Никита и Леонтий — в сухопутный кадетский корпус. Среда и выработала из них диаметрально противоположных людей.

Никита и Леонтий стали квасными патриотами и бурбонами, как, вздыхая, отзывался о них отец. Позднее, когда они были уже в зрелых годах, они сделались предводителями дворянства. В молодости же они трудились над усмирением Кавказа, т. е. резали горцев, как... как саранчу, что ли. Их разговоры, в молодости особенно, ограничивались военными анекдотами, рассказами и воспоминаниями о войне, псарне, а также рассказами о женщинах. Мой отец и дядя Авенир были либералы, поклонники энциклопедистов, которых они читали еще в морском корпусе. (В корпусной библиотеке, благодаря цензору Романову, все иностранные издания получались без цензуры.)

Здесь, впрочем, следует указать, что отец мой не сразу стал либералом. Когда он поступил в морской корпус, он весь, казалось, еще был под влиянием бабушки и соседей К. А они, надо признаться, были консерваторами. В 1832 году, весь начиненный еще всякими рассказами о мужестве государя Николая Павловича, об его твердом решении вывести воровство и взяточничество у высших чиновников, так же как и у мелких, — отец мой, тогда двенадцатилетний Кадя-морячек, ел глазами Николая Павловича, когда он приехал в морской корпус, да так ел, что Николай Павлович обратил на него внимание. А он был некрасивый, мой отец: высокий, худенький, с зеленовато-бледным цветом лица.

— Кто этот кадет? Как его фамилия? — спросил государь у директора и, узнав, заметил: — Этот будет мой.

Будущее не оправдало этих надежд Николая Павловича. Он оказался плохим физиономистом. Но тогда отец задыхался от счастья, что государь заметил его, и отец мой стал его панегиристом. Он рассказывал товарищам то, что сам слыхал от бабушки и К. Он рассказывал, как Николай Павлович раз утром, в Петергофе, в саду Монплезир, заговорил с гулявшим там мальчиком. Мальчик был очень мил, хорошо одет, гулял с гувернанткой, слушался ее, не трогал растений, — а там у дворца были целые шпалеры чудных гортензий... — Словом, государь залюбовался ребенком и, не показывая вида, кто он, стал шутить с мальчиком, как обыкновенный человек.

— Ну, а скажи мне, — смеясь, сказал Николай Павлович на прощание, — кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Кучером или пожарным?

Мальчик на шутку хитро улыбнулся и ответил:

— Я хочу быть инженером, как папа.

— Как папа! — повторил Николай Павлович, удивленный необычайным ответом. — Это хорошо. А отчего же ты хочешь быть, как он?

— Оттого, что инженеры могут много красть, — покраснев от удовольствия, что так хорошо ответил, сказал мальчик.

Государь насупился, спросил у гувернантки фамилию тех, у кого она служит, отошел, а через 24 часа инженер, отец ребенка, получил отставку.

— За правила, внушаемые сыну, — сказал Николай Павлович, отдавая приказ об увольнении.

Рассказывал отец мой и о том, как Николай I, услышав, как какой-то интендант или архитектор нагрелся на поставках настолько, что выстроил себе огромный дом, как Николай I поехал посмотреть, что это за дом, и, увидев его величину и великолепие, подарил его первому попавшемуся прохожему бедняку. Рассказывал и о том, что царь, раз убедившись, что какое-то дело, несмотря на его повеление, не двигается с места в консистории, в прошение, возвращенное из консистории, вложил сто рублей, сказав: «Что же, верно, без этого не обойдется! Они сильней меня...», и эти сильные, разумеется, слетели. Но все эти милые рассказы в один прекрасный день рухнули, как игрушечные домики, выстроенные детьми с помощью нянек и гувернанток из песку. Дунул ветер действительности, и их не стало.

В морском корпусе воспитатели, почти все без исключения, придерживались педагогического правила: не скрывать от воспитанников и «педелей» или дядек, матросов, вестовых и других низших служащих правду о воровских наклонностях и поступках начальства и вообще правительства, не скрывать и об их развратном поведении.

Мой отец и его товарищи сначала со смущенной улыбкой выслушивали эти рассказы (воспитателей), проверяли их, насколько каждый мог, в воскресные и праздничные дни, когда шли в отпуск, у родителей и знакомых, и, убедившись, что рассказы верны, — с каждым месяцем теряли и теряли свои детские представления о начальстве, великих князьях и царе.

Неизгладимое впечатление на кадетов производили следующий и подобный ему разговор:

— Скажи мне, Ягодкин, за сколько можно построить бот, или вельбот, или катер, или шлюпку — частному лицу, тебе, скажем, или мне? — спрашивает офицер.

И, получив ответ, после короткого, а иногда и длинного мысленного подсчета и размышления матроса или кадета, — офицер подбодрял:

— Так. Верно. А во что обошлась бы постройка казне? Та-ак! Заметь сам — в восемь или десять раз дороже. А ведь это все народные, мужицкие денежки.

— А что стоило бы тебе или мне вызолотить Адмиралтейский шпиц?

— В 1 400 рублей.

— Верно!

— А какой счет подал морской министр казне? Не знаешь? В 30 000 рублей! Да... Вот ты и смекай.

Неизгладимое впечатление произвел и следующий факт или случай на моего отца и двух его товарищей.

Был между ними один юноша, прекрасно игравший на кадетских спектаклях роли барышень, — и вот раз пришла ему в голову дурь, и

он выкинул следующую штуку: явился в женском бальном платье и домино на маскарад в Дворянское собрание, где была вся знать и сам царь и его брат Михаил Павлович — и стал интриговать великого князя. — Что он ему говорил, я не помню, да, кажется, я никогда и не знала, но заинтересовал он до такой степени Михаила Павловича, что тот совершенно потерял голову! Влюбился в свою маску, влюбился, сам стал говорить что-то невероятное и ни на минуту не захотел отпустить ее от себя. Кадета в холодный пот прошибло. Он и так и эдак. Не отпускает. Зовет ужинать, говорит о своей страсти. Что тут делать!!. Ваше высочество, — лепечет кадет, — ваше высочество... умоляю Вас... А Михаил Павлович тянет его к государю, который с своей стороны увлекся какой-то дамой, хочет ужинать вместе с братом. Уж не знаю, не сумею сказать, как кадет на миг высвободился от него. Кажется, сказал, что волоса растрепались. Великий князь понял по-своему, сжалился и отпустил свою даму на минуту. — Кадет вышел в дамскую комнату и с ужасом стал наблюдать из-за двери, через открытую щелку за Михаилом Павловичем, что он будет делать. А тот подозвал кого-то и стал отдавать ему какие-то приказания; потом к великому князю подошел еще кто-то, какие-то дамы тоже, видимо, старались заинтересовать, ревновали его к его фальшивой даме. Тут, опять уж не знаю как, кадет постарался замешаться, затеряться в числе выходивших из комнаты домино, и ну бежать, пробираться к лестнице, уставленной тропическими растениями и между и ними лакеями в расшитых ливреях, да по лестнице вниз сломя голову. Добежал до выходной двери, а к нему какой-то господин: «Обождите, говорит, его высочество приказали»...

У кадета потемнело в глазах. Пошел он за своей шубой или, вернее, дамским бархатным салопом, взял он его для маскарада у кого-то, а у самого зуб на зуб не попадает. — Михаил Павлович был во главе всех военно-учебных заведений, всех корпусов и так далее.

«Кончено, — думает кадет. — Кончено все; и карьера, и жизнь». И такой его страх взял, что лакеи почтительно накинули на него салоп, а он стоит и тихо плачет. И вдруг Михаил Павлович.

Вышел он из подъезда, а впереди него вывели кадета в дамском салопе на улицу. Зима. Снег белый выпал. Кучер великого князя причмокнул и подал великолепные парные сани. Михаил Павлович сел в них, а маску лакей и жандармы подсадили к нему.

— Где ты, маска, живешь? Куда тебя отвезти? — спрашивает вдруг великий князь. — Ты, безжалостная, ледяная, удрать от меня хотела... Хорошо же, я сам отвезу тебя к мужу домой.

Кадет прошептал какую-то улицу.

— Слышишь? Туда-то, — приказал кучеру Михаил Павлович.

Поехали, а великий князь снова стал говорить маске о своей страсти и вдруг властным движением схватил ее руку, вытащил из короткого, «как у двуутробки» (лапы), рукава салопа и поцеловал ее.

— Боже мой! — вырвалось у кадета.

— Неужели я тебе так противен? — выговорил Михаил Павлович и заглянул под капюшон маски, протягивая губы.

Но тут явилась неожиданная помощь кадету. Дорогу саням перерезали возы, выезжавшие с мусором из ворот какого-то казенного дома. Кучер на миг принужден был остановиться. Этим, а также и ужасным запахом от возов воспользовался кадет, выпрыгнул из саней и вбежал под ворота. Он сообразил или знал, уж не могу сказать, что во всех казенных домах дворы сквозные. Во дворе стояли, готовясь выехать, еще возы с мусором и сложены были поленцы дров. Кадет, между возами, за них, между поленцами... Слышал, что кто-то кричит: — Лови, лови! Да держите же ее! Но он ловко лавировал, по счастью, как-то выскочил во второй двор, и оттуда тягу... Салоп сброшен, чтобы легче было бежать... в одном домино. — Ну, и спасся. Но потом без отвращения не мог вспоминать и слова великого князя, и его поцелуй.

Вот этот факт страшно подействовал на отца. Все же молодежь (не знаю, как теперь, а прежде) хотела всегда видеть в старших, в начальстве, уж не говоря о царях, — все хорошее, возвышенное, благородное, честное, а тут...

Ну, и стал мой отец и его брат Авенир чувствовать негодование все больше и больше и ко всему строю, и к его царственным представителям. Побывав несколько раз в заграничных плаваниях, они стали задыхаться у себя, на родине.

В Европе плыло послушное ветрило революции, «волновался людской океан» и «трепетало крыло свободы, подбитое стрелой смерти», по выражению французского писателя, а «в стране закрытых ртов», как называли нас в Европе, было мучительно спокойно... и решили отец мой и дядя ехать туда, где дул животворящий бриз, — как говорил отец, рассказывая о своем прошлом. — Решили эмигрировать. — Оба они были уже тогда полными атеистами. Девизом их было и осталось на всю жизнь знаменитое трехчленное «credo» или исповедание, кажется, воспринятое еще от Галлиена:

«Бога нет. Души нет. Ничего нет».

Дядя Авенир и исполнил свое намерение. Экспатриировался и жил в Лондоне и служил в каком-то торговом, что ли, флоте. Но с отцом судьба сыграла ту же шутку, как и с дедушкой моим. В Курской губ., неподалеку от родного Ситницкого, отец встретился с высокой, стройной красавицей-девушкой, моей матерью. Девушка была из состоятельной семьи, носящей двойную немецкую фамилию Дюрер-Крюммель, но мать девушки или мать моей матери была рожденная Дубново. Отец посватался к моей матери. Ее мать наотрез отказала моему отцу.

— Отдать дочь за революционера и безбожника — никогда! — кричала, а не говорила она, и сколько раз ни пробовал отец смилостивить будущую тещу, — химическая реакция, как уморительно говорил отец, всегда получалась отрицательная, т. е. в данном случае нежелательная.

Тогда, на помощь отцу, неожиданно пришла наследственность у девушки. В ней сказалась кровь баварских выходцев Дюрер-Крюммель, талантливой богемы: музыкантов, всевозможных артистов, даже клоунов. Она обманула родителей, поехала, будто, к каким-то соседям на бал, — на самом деле у этих соседей повенчалась в церкви с отцом моим и тотчас явилась к «министру», то-есть к бабушке моей, под ее крыло.

Впоследствии, когда появились у молодых дети, — Дюрер-Крюммель простили дочери ее побег и брак с Тувыдовым, но сама она впоследствии не могла простить его себе и с отчаянием, ломая руки, говорила по-французски всегда одну и ту же фразу: «le gouffre qui se creuse и т. д.», т. е. «бездна, которая обнаружится между душой и действительностью, между ожиданием исполнения выношенного вместе или порознь идеала и применением этого идеала в жизнь, — непроходима»..

Отец мой унаследовал от своего отца любовь к философии «энциклопедистов» и музыкальность, ту и другую развитые воспитанием в морском корпусе. Ученик знаменитого в то время гитариста Сихры, однокашник знаменитого будущего композитора Римского-Корсакова, он устраивал в имении, по примеру своего отца, музыкальные вечера и читал великих западных мыслителей, но, унаследовав от своей матери, моей бабушки, ее энергию, не ограничивался одним чтением и игрой на гитаре, а завел близкие, дружеские отношения с Кропоткиным и с Бакуниным и с их единомышленниками. Ситницкое стало пристанищем для тайно-приезжавших из-за границы и тайно уезжавших туда. Кого-кого только ни принимало оно тогда в свои гостеприимные стены и чего-чего ни хранило в них любовно, под эгидою ничего не подозревавших предводителей дворянства. А мать мою это коробило. Когда же в один преплохой день, потому что в этот день «палочками оземлялся дождь» (он лил, как из ведра), приехал с рекомендательным письмом красавец-незнакомец в красной шелковой рубахе, плисовых шароварах и ямщицкой шапочке с павлиньими перьями, и незнакомец этот сказался Николаем Дегтеревым, завладевшим с первого разговора моим отцом, мать этого уже никак не могла простить отцу.

Вскоре после приезда Дегтерева у соседей С. вырос фаланстер, т. е. убежище, что ли, с общими мужьями, женами и детьми. — Отец считал его последним словом социальной науки. Мать ожесточенно восстала против этой «науки»... Как на беду, тотчас после возникновения фаланстера у моих родителей из трех старших детей умерло двое от дифтерита, мальчик восьми и девочка шести лет. Дети, говорил мне дедушка, были что называется не от мира сего. Какие-то особенные. Красоты удивительной, умные, талантливые и добрые, как ангелы. Мне было тогда два месяца. — Мать сочла смерть старших детей наказаньем за свальный грех, за фаланстер. Она была, как сумасшедшая. Отец сжег дом, и на его месте стал строить церковь, но его покаяние быстро потухло. — Он вспомнил, как он мне потом рассказывал, тот знаменитый опыт с разными молекулами, которые, если перемешать в сосуде, соединяются случайно, неиз-

вестно и необъяснимо почему — некоторые в бессмысленные неудачные сочетания, другие — в более удачные, третьи, наконец, в новые, прекрасные... Припомнил и махнул на церковь рукой: «Все случай. Бога нет. Души нет. Ничего нет!..».

Меня мать не любила, совершенно забросила меня и извивалась, как от раскаленного железа, от слов утешения глупых людей, говоривших ей, что, когда я подрасту, она увидит, что я заменяю ей мою умершую сестру. Свою старшую девочку мать обожала. — Я явилась на свет нежеланной, и мать не могла допустить, чтобы она могла забыть ушедшую крошку и заменить ее кем-нибудь. Для нее заменить означало — забыть. И она, мать моя, почти с ненавистью смотрела на меня и мою кормилицу или няню, когда мы попадались ей на глаза. А добрые люди подливали еще масла в огонь, уверяя: «Нина Александровна, да посмотрите, что за прелесть Наденька! И как похожа на покойную Оленьку!.. А как постарше станет, пожалуй, еще красивее Оленьки будет...».

— Ах, оставьте меня, — кричала тогда мать со слезами и все больше отдалялась от меня.

Я не помню, чтобы она когда-нибудь приласкала меня в детстве, чтобы она позаботилась обо мне, когда я бывала больна. Ласкал и заботился обо мне отец. Заботились обо мне бабушка и дедушка, — дядья и тетя и ее сын морячек. Мать — нет!

Семи лет меня сдали француженке-гувернантке. Муж ее был русский, служил раньше лакеем в богатом барском доме, где она была гувернанткой в молодости. Вышла она замуж, потому что «c'était si doux d'être aimée!» (так сладко было быть любимой). Произошло это так. Лакей пил запоем и когда напивался, и она, выходя в буфетную или на кухню, замечала это, — она всегда с ласковой укоризной качала головой и говорила: «ah, monsieur Lucques! monsieur Lucques!» (ах, господин Лука! господин Лука!..) и, вздохнув, тихо проходила мимо него по какому-нибудь делу.— Лука, наконец, тронулся этой нежной укоризной и сказал дворне, которая передала его слова гувернантке, что он готов для нее на все, в огонь и в воду, на все муки, что первая пожалела его... что он бросит пить... Ну, и бедная француженка поверила русскому Луке и вышла за него замуж. Его господа устроили его чиновником на почту. — Но не прошло и нескольких лет, как monsieur Lucques стал снова пить и, в довершение ужаса бывшей мадемуазель Тимрель, бить ее и таскать за волосы.

Когда она поступила ко мне, ей было уж лет за-сорок, звали ее уже не мадемуазель, а мадам Тимрель, и вся она была какая-то измученная, жалкая, морщинистая, желтая.

Со мной у нее случилось прямо особенное несчастие. В тире, куда мы с ней ходили, она нечаянно прострелила мне бок, т. е. бедро. Она страшно рыдала, когда это случилось, боялась, что лишится у нас места, но, так как ее оставили при мне, привязалась ко мне всей душой.

Мать моя умерла, когда мне было четырнадцать, почти пятнадцать лет, и умерла на моих руках. Болела она долго. Перед самой смертью

велела мне взять ее икону из киота и благословила меня ею. Это для меня и тяжелое, т. е. грустное, и сладкое воспоминание до сих пор. Не будь его... Ну, да это не к делу. После смерти моей матери — отец мой предложил мне стать в его, в их политические ряды. Из слов матери я уже знала, что «их» — это ряды Дегтерева. — Я потупилась, но, выслушав отца, твердо заявила, что учение его мне не нравится.

Отец вспыхнул, стал убеждать меня, но я уперлась. Настали для меня тяжелые часы. Я любила отца, помнила его ласку, его заботы, его баловство, видеть его нахмуренное лицо было мне тяжело. Но я помнила последние беседы матери. Поддержкой мне была и мадам Тимрель. Она оповестила обо всем дядю моего, бурбона (как называл его отец), Леонтия, он рассказал все «министру» и остальной родне, и меня решили отправить и отправили в гостеприимный дом моей двоюродной тетки, жены историка С. — в Москву. В Москве я прожила более двух лет, и там мне было хорошо. Все у С. были ко мне ласковы, но особенно жалел меня и трогал своей задушевностью Владимир Сергеевич. — Он был тогда на зените своей славы... К нему тяготели все и тоже Аксаков, — знаменитый славянофил, издававший тогда журнал «Русь». В этой «Руси» Владимир Сергеевич поместил свое сочинение «О четвертой ипостаси» (настоящего названия я не помню, меня оно не интересовало), и тогда у него начались неприятности с Аксаковым, а потом наступило и полное расхожение, полный разрыв. — Аксаков упрекал его не только в тяготении к католичеству, но и в антихристианстве.

Вообще жизнь в семействе Сергея Михайловича была страшно интересная, но неспокойная. За самим историком следила полиция, цензура «обижала» его, и обо всем происходившем рассказывалось и рассуждалось в семье и, разумеется, бранилось правительство. — Мне это было не в новинку. За отцом и его перепиской с дядей Авениром тоже следила полиция, а они писали друг другу ежедневно. — Представить себе только труд, радость и удовольствие жандарма — прочесть 730 писем в год одних Тувыдовых! — говорил отец, и сердился, и хохотал. Братья писали друг другу о каждой своей мысли, о каждой прочитанной книге, — волюмы, словом писали... Когда у С. становилось очень «жарко», я временно переселялась в семью моей родной тетки, сестры отца. Через два с лишком года отец позвал меня с собой ехать за границу. В то время он уже был активным деятелем. Писал сочинения, воззвания, печатал их за границей и провозил с опаской в Ситницкое. Талантливый вообще был мой отец! Он изобрел новый инструмент — «гитарарфу». Сделали ее в Вене. Впоследствии она была отдана в музей при Петербургской консерватории. Изобрел первый снегоочиститель для железных дорог и получил за него премию. Изобрел железнодорожную стрелку и еще, и еще что-то.

Связи с отцом я не порывала, я любила его и чувствовала, что, несмотря ни на что, несмотря на Дегтерева... он любит меня.

С радостью поехала я в Ситницкое, чтобы из него ехать на год или больше в Италию и Швейцарию, но в Ситницком ждали меня новые тре-

ния с отцом. Я воображала, что я, как взрослая девушка, поеду с ним одна, на полной свободе. (Мадам Тимрель ушла от меня раньше.) И вдруг оказалось, отец хочет, чтобы со мной ехала компаньонка. Оказалось, больше: что он выбрал для меня уже эту компаньонку... Компаньонка эта была сунженская учительница Серпигеева.

Я протестовала, я спорила, я огорчалась до слез. Отец не уступал.

Помню особенно один день. Грустно мне было ужасно. Я была одна в нашем доме в этот день, подошла к роялю, открыла его крышку, хотела вытащить, т. е. выдвинуть, пюпитр — он почему-то застрял, не двигался, и, вдруг я увидела, почему он не вытаскивается. На нем лежали ноты дедушки: «Героическая симфония» Бетховена. «В ми бемоль, в ми бемоль...» поднимая указательный палец, говорил всегда с ударением дедушка. Это был его любимый мажорный лад, лад торжества, свободы, братства и равенства.

Слезы хлынули у меня потоком. Я положила голову на рояль и в один миг увидела и отца, когда он ухаживал за мной, как самая нежная мать, во время моей кори, и дедушку с его живыми рассказами о революционерах, о Бетховене, которого он лично знал, о том, как Бетховен думал посвятить «Симфонию Heroica» Наполеону, но когда ученик его Риис прибежал к нему с газетой, в которой было напечатано, что Бонапарт объявил себя императором, как Бетховен застыл на месте, потом прошептал: «Этот тоже тщеславный!» — подошел к своей рукописной еще тогда «Симфонии», перечеркнул слово «Наполеон» и надписал по-итальянски: «Героическая симфония», чтобы почтить память великого человека («Simfonia Heroica per festeggiare la memoria d'un grand'uomo»), а затем тут же стал переделывать всю вторую часть из гимна торжества в песнь траура... Все это и еще многое другое припомнилось мне (на нотах дедушки была крупная надпись его рукой: «En mi bemol!»), переплелось с моими мыслями о свободе, о путешествии с отцом...

И я твердо решила: ни за что не уступать отцу в его причуде насчет компаньонки: пусть едет с ней один...

И отец уступил мне, должен был уступить.

Мы поехали вдвоем с ним в Киев, там остановились с ним в гостинице... Ну, а там произошло следующее:

В чудный солнечный день я собиралась итти к знакомым. Отец уже ушел по делам, как уходил каждый день, как вдруг в дверь моего номера постучали. Я сказала: войдите. Дверь отворилась, и в ней показалась молодая дама, блондинка с очень большими светлыми, несколько выпуклыми глазами. Дама была мне совершенно не знакома. Я подумала: вот она сейчас извинится, что попала в чужой номер, и уйдет, но... не тут-то было. Она поглядела на меня, точно удивляясь моему удивлению, потом, войдя в комнату с плэдом в свертке и чемоданчиком или саквояжем, обратилась ко мне со словами:

— Простите. Ведь я не ошиблась? Вы дочь Вадима Николаевича Тувыдова?

— Да.

— Я думала, вы ждете меня? Нет?.. Я Ольга Федоровна Серпигеева...

Вся кровь мне бросилась в лицо.

Отец, значило, обманул меня, обманул, как обманывал мать, хитро, низко, недостойно, под видом уступки...

Мы долго смотрели друг на друга, — я и... вошедшая дама, — потом стали взволнованно объясняться. Оказалось, она тоже ничего не знала о моем нежелании иметь компаньонку. Отец тоже скрыл это от нее.

(После некоторые говорили мне, что это была ложь, что все это подстроила она сама — и свой приезд в Киев, и свой приход ко мне, и разыгранное удивление моему удивлению, и разыгранное негодование на отца, словом — все. — Может быть! Но я до сих пор этого не знаю, не думаю, чтобы это могло так быть!)

Мы долго говорили с Ольгой Федоровной и долго не знали: что ж теперь делать? Как теперь быть?

У нее разболелась голова. Два ярких пятна разгорелись на ее щеках. Она только что приехала из Херсона, куда отвозила к своей матери своего семилетнего сына, и чувствовала сильную усталость.

Я предложила ей чаю. Она согласилась, но — главное — попросила разрешения прилечь на диванчике.

— Миг полежать, и голова пройдет, — говорила она, улыбаясь.

Улыбка у нее была очаровательная, согревающая собеседника. Чудесная улыбка.

Глаза серьезные, холодные, почти каменные и суживались и делались лучистыми от этой улыбки, освещая лицо Ольги Федоровны, а также душу каждого человека, беседовавшего с Ольгой Федоровной.

Я чувствовала, что неизвестно почему, но я поддаюсь, покоряюсь обаянию этой — Серпигеевой... Ну, вот она... она прилегла и, через мгновение, неожиданно заснула тихо, как ребенок. А я, боясь двинуться, сидела и думала, думала... И мысли мои были, как осенние, ни к чему не прикрепленные, летающие по воздуху паутинки, и неотвязные, и липкие... и ни к чему не приводящие, бессмысленные мысли.

Поспала она недолго. Полчаса, я думаю, — не больше. Выпила потом чаю, который принес по моему приказанию гостиничный лакей, потом мы долго с ней рассуждали: как же быть? (Я возмущалась отцом.) И, наконец, мы пришли с ней к следующему решению, выдвинутому ею: я ничего не скажу отцу. Не буду попрекать его... Ничего!.. — Через два дня мы едем за границу. Ольга Федоровна сядет в вагон и поедет с нами до Волочиска. Там расходятся поезда. Один идет к границе, к Австрии, другой — на юг, в Херсон. Ольга Федоровна выйдет в Волочиске из вагона, перейдет в другой поезд и поедет в Херсон. Мы же с отцом поедем дальше, за границу.

— Согласны?.. — спросила меня Ольга Федоровна, и когда я сказала: да! невольно восхищаясь ее умом, советом и находчивостью, а в душе, кроме того, радуясь этой мысли, что мы так славно накажем отца, — она

улыбнулась своей чудесной улыбкой, которая тотчас внушила мне силу и уверенность в успешном исходе нами задуманного.

«Поделом будет ему, — думала я про отца, — поделом».

После этого первого решения мы пришли ко второму. Ольга Федоровна предложила мне вместе осматривать Киев, его старинные памятники. — Обедать и ночевать она решила, что будет у своих знакомых.

Я, разумеется, согласилась и на это с радостью. Она прекрасно рассказывала об археологических раскопках в Киеве. Кажется, сама была членом археологического общества, и я, никогда не интересовавшаяся стариной, заинтересовалась и «Ирининским столбом», и названием улицы «Подвальная» (раньше оно мне казалось таким бессмысленным, пахнувшим грязью, сыростью. Теперь я узнала, что эта улица была дорогой, проложенной «под валом», устроенным еще Ярославом).

Ну, и так далее, и так далее, многое я узнала о Киеве, многим заинтересовалась.

Два дня перед отъездом мы бегали с ней по городу. Отец виновато молчал. В первый день приезда Ольги Федоровны он вернулся поздно, вошел ко мне в номер и при моих первых словах: — Папа, как же это так? Серпигеева приехала... — он до того сконфузился, до того растерялся, что мне стало жаль его. «Наказанье ждет тебя впереди!» — с торжеством подумала я и замолчала.

Два дня перед отъездом промелькнули для меня незаметно, как два часа. Ольга Федоровна была удивительная рассказчица. Так бы все слушал и слушал ее! Рассказала она мне и свою жизнь. Она родилась в Херсоне. Отец ее был бедный маленький чиновник, русский. Мать — гречанка. Училась она в херсонской гимназии. Ее ум и сердце разбудил Дегтерев. Она случайно услышала его, когда он приехал в Херсон и агитировал там, и участь ее была решена. По окончании гимназии она поехала на медицинские курсы в Петербург и через Дегтерева поступила в партию. Наука давалась ей легко. Оставался год до окончания курсов, как вдруг один из товарищей (Серпигеев) попался. Был схвачен, посажен в тюрьму в Нижнем-Новгороде и ожидал ссылки. С ним необходимо было поддерживать связь. К политическим никого, кроме их жен, не допускали. Комунибудь надо было выходить замуж за Серпигеева. Кинули жребий. Жребий пал на нее. Главный ужас был в том, что ей оставался всего год до окончания курсов, и она была бы обеспечена на всю жизнь, она была бы врачем... И, кроме того, ужас был в том, что ей Серпигеев был физически до крайности противен.

Все это Ольга Федоровна рассказывала мне, переживая прежнее и волнуясь, рассказывала, чтобы я знала, с кем имею дело. А я...

Я покорялась красоте ее, правдивости, я слушала ее со множеством смешанных чувств и проникалась восхищением лично к ней и удивлением и уважением к людям, которым девочкой не сочувствовала. Да... Это были люди! Стойкость их, самопожертвование!.. Словом, я испытывала все то, что так великолепно выразил в одном из своих стихотворений

в прозе Тургенев (в «Пороге»). Я видела перед собой молодую очаровательную женщину, которая ради идеи перенесла безропотно, не смиренно, — нет! но мужественно, но с великим самообладанием, — перенесла холод, голод, ненависть, насмешки, презрение, обиду, тюрьму...

Словом, я видела, я чувствовала перед собою великую женщину, и я... я... влюбилась в нее... Она окружила меня такою заботливостью за эти два дня и потом в вагоне, таким нежным всепонимающим вниманием, что, когда поезд подходил к Волочиску, и она стала вынимать из вагонной сетки свои вещи, плэд и саквояж и еще что-то, — я бросилась целовать ее руки и стала умолять ее не покидать меня, ехать с нами в Италию.

... За границей в этот раз мы прожили более года. В Швейцарии мы познакомились и с Кропоткиным, и с Плехановым, и с Дейчем, и с украинским сепаратистом Драгомановым, и со многими другими. Кроме того ходили на курсы, слушали лекции, а я еще брала уроки музыки у известного в то время профессора Ренделя.

Хорошо мне жилось тогда. Моя компаньонка, моя любовь, моя мачеха, всюду была со мной, а на душе у меня был точно постоянно восход солнца на альпийских высотах. Каждый день новая красота, новая любовь, еще более сильная, чем накануне, новое умственное и внутреннее слияние с Ольгой Федоровной. Мы только и жили и дышали, когда были вместе...

По возвращении в Россию мы поселились в Одессе (Ситницкие не отнеслись бы достаточно гостеприимно ко второй, правда, не венчанной в церкви жене моего отца). В Одессе дом наш снова стал пристанищем для тайно приезжающих и уезжающих. Кроме того у нас по вечерам собирались профессора Стоянов, Кирпичников и другие. В Одессу же к нам привезли маленького сына Ольги Федоровны, которого уже знал и любил мой отец, как своего.

Ребёнок был удивительно красив и замечательно понятлив, умен, я с недоумением разглядывала его и думала: отчего Ольга Федоровна чувствовала непобедимое физическое отвращение к своему мужу. И в тот же день, в день приезда Феди, — так звали мальчика, — я спросила ее:

— На кого похож твой сын? На твою мать-гречанку? Или на твоего мужа? Какой красавец!

Ольга Федоровна помолчала немножко, потом тихо и просто сказала:

— Я хочу, чтобы ты знала всегда всю правду обо мне. Мой Федя весь в отца, но он не похож на Серпигеева. Он сын тоже сосланного молодого еврея, которого я любила. Его уж нет. Он умер от чахотки. Серпигеев не дал мне развода.

Эти ее слова, эта ее исповедь ужасно тронули меня. Ведь она могла все скрыть. Я ни от кого ничего не могла бы узнать. А она, не щадя себя, все сказала.

Ах, да, она была удивительный человек, удивительной чуткости и правдивости с друзьями, конечно, — ну, а с врагами... Тут было совсем

другое, она умела мистифицировать на редкость, представлялась и придурковатой и глуховатой и чем-чем только не представлялась, и я хохотала до упаду, когда она рассказывала о своих похождениях и о своих ответах жандармам и вообще другому высшему начальству, губернатору одному... Из Одессы поездки наши за границу участились. Но времена наступили новые. — Вместо «Голоса» Краевского стало выходить «Новое время» Суворина. Вместо Александра II стал царствовать его сын, которому верноподданные, подавая хлеб-соль, говорили: «В новизнах твоих слышится старина».

А старина эта были: слежки, аресты, ссылки, тюрьма, виселица...

Отец принимал гостей, ездил за границу, привозил оттуда, что следовало, но на сердце у нас было неспокойно. Мы чувствовали, что за нами, то-есть за отцом, следят... и предчувствие нас не обмануло.

Раз как-то, когда мы возвращались из-за границы в Одессу, отец отправил нас вперед с Ольгой Федоровной. Сам он вез литературу и условился, если его схватят, что он пришлет нам телеграмму: «Здоров». — Это будет значит, что мне надо будет ехать хлопотать об его освобождении в Царство Польское, к Дену. Ден был незаконный сын Николая I и пользовался неограниченным доверием у Александра III. К помощи Дена прибегало многое-множество арестованных дворян и вообще либералов.

Не успели мы доехать до дому, как получили эту телеграмму: «Здоров», и в тот же день, даже не переночевав в Одессе, мы отправились в Польшу.

Ден принял нас, то-есть меня. Ольга Федоровна не смела, как не настоящая жена, явиться пред его светлые очи, не могла просить за отца... Это ли не лицемерие? Когда и сам Ден был незаконный, и у самого Дена, и у всех Денов и не-Денов на всем белом свете были, есть и будут невенчанные и внебрачные дети... Ден принял меня в чудном летнем дворце польских королей.

Льстило ли его самолюбию, что к нему с таким доверием обращались, хотел ли он прослыть либералом — не знаю, но меня он принял удивительно любезно, порасспросил об отце, о бабушке (она все еще была жива), о дядях, предводителях дворянства, которых он лично знал, и очень быстро мне дал два письма: одно к киевскому губернатору Дрентельну, другое к управляющему Киевским жандармским управлением Новицкому. (Я, разумеется, говорила Дену о полной невинности отца.)

Получив письма, я уж не знала, как и благодарить его. Тогда он простер свою любезность до того, что взял отца на поруки, т. е. на свою ответственность.

После говорили, что молодым дамам, особенно молодым недурным собой девушкам, он отказывал с трудом или почти никогда не отказывал.

Отца очень быстро выпустили из тюрьмы. Но моя родня решила, что мне надо отдохнуть после всего пережитого, что меня не годится оставлять под влиянием Ольги Федоровны, под одной с ней крышей, она ведь не жена, и... меня отправили опять в Москву. И опять я скажу: — Это ли

было не лицемерие, не предрассудок! С моей матерью отец был несчастен. С Ольгой Федоровной жили душа в душу. Нет! Не признавали ее!..

В Москве я жила не все время, а ездила в Петербург к знакомым, где и стала невестой и вышла замуж.

Отец же первое время продолжал жить в Одессе, но слежка была и становилась все невыносимей, и они, т. е. моя мачеха и он, переселились, наконец, в Херсон, родной городок Ольги Федоровны. Там у нее был свой домик. В Херсоне она развернулась, участвовала во всех комиссиях по благоустройству города, открыла общественную библиотеку, — словом, стала общественным деятелем, кроме того во всем помогала отцу.

Он прожил еще 20 лет, в тех же принципах, в том же исповедании, кажется, Галлиена, как и раньше, и, умирая, приказал себя похоронить без церковного обряда, без панихид и проч., а на самом простом памятнике велел не писать ни его имени, ни даты, как обыкновенно пишут, а велел выгравировать всего только одно слово:

Человек.

Это и было исполнено. Моя мачеха, моя дорогая Ольга Федоровна, моя поэтичная, чистая, девичья любовь умерла от лишений в голодный год.

Невольно вспоминая о ней, я вспоминаю ее слова:

«Пролетариат раньше назывался чернью. Чернь французы обзывали, а может и теперь еще обзывают — «канальей». В переводе это буквально означает «собачье», от латинского слова «cane» — собака. Так вот, я верю, я чувствую, я знаю, — говорила Ольга Федоровна, — что псы, стерегущие испокон веков общелюдское счастие, что эти псы вскоре на всем земном шаре поднимутся со взъерошенной на спине шерстью, и к их победоносному оглушительному лаю должно будет прислушиваться все измельчавшее волчье стадо человечества».

Три ветра.

Илья Садофьев.

В прокалке событий язык
И время качается чаще, —
Недаром к молчанью привык
Двурогий небесный рассказчик.

На выручку память
И голос наощупь, —
Словарную армию сами
Построить обязаны проще...

На вырост приподняты плечи
И легкого выдоха легче, —
Как вольности оды,
Как вешние воды,
Как юные годы
Три ветра
Посменно
Проходят:
Зеленый,
Белесый
И желтый...

И звонкая свежесть протерла
Бесхозной иронии горло —
Мечтатель хваленый,
Веселый повеса,
На вызов заказчика шел ты!

Подделка привычек! Такую
Случайную славу бракую.

Конечно, романтики узел
Ты связывал круче и туже,
Но паспорт историкам нужен,
Чтоб каждый был во-время узнан.

Конечно, и шкура не хуже
Стандартной сменяется блузой,
Но ты недомерок, ты узок!
Сдавайся! Ты пойман. Ты узнан.

Как порция смерти обоймой,
С подчищенным паспортом пойман.

Недаром шумели и пели
Посменно цветные ветра
И чаще событий качели
На взлете срывались вчера.

Как будто больное бредовье,
Смешная прогулка во сне, —
То клятва обветренной кровью
Своей возмужалой весне.
И зорям на жалость
Спокойно сдавались —
Дулейки
Пастушьи
И стоны
Зеленой
Болотной
Квакуши...

И срочной судьбы переменой
Сословный поденщик осмеян,
И стынет, как пращур, у стен он
Вчерашней пещерной вселенной.

И свежестью быта
Рассказчик испытан,
И небо пробито
Хрустальным копытом...

И, так разнословья сужая,
Порукою — голоса хобот...
И жалобы жаба чужая
Отличной отмечена пробой.

И выше вздымаются плечи,
И яростней времени бык,
И пробой высокой отмечен
Великих событий язык.

На плоском равновесьи.

Илья Садофьев.

Как лошадь пьяницы привычкой
Сворачивает к кабакам,
Как лев опасности навстречу
Хвостом стегает по бокам, —
Так человек беречь привык
Разноречивый свой язык.

Недаром трудной словостройкой,
Когда сознанье подросло,
Оправдывалась работа,
Обозначалось ремесло, —
И охранять кустарь привык
Игры младенческой язык.

И, хвастаясь отличной кличкой,
На привязи судьбы, вразброд,
Кустарь за славой подмастерья
На потребителя идет, —
Чтобы подрядчик не отвык
Хвалить сговорчивый язык.

Но тут, на плоском равновесьи,
Срываясь, падают слова,
И падает кустарный говор,
Как срубленная голова, —
Так мастер проверять привык
На прочность времени язык.

И лишь тогда судьбы хозяин,
Любуясь точным ремеслом,
Берешь наряд на словостройку,
Косноязычье сдав на слом, —
Чтобы потомок не отвык
Любить художника язык.

Хорошая память.

Илья Садофьев.

Т. Ф. С.

Возможно ли радость большую,
Крылатую, остановить!
И вот, поднимаясь, бушует
Горячая буря в крови...

И вот нарастает смятенье,
И вот нарастает азарт, —
И снова, по следу, за тенью,
Чужие и злые глаза...

Сдержать ли кривым равновесьем
Двуликой судьбы паруса!
За жизнь и за гибель, но вместе
Удачливый жребий бросать!

Не требуй прямого ответа,
Хорошая память встает —
За голос веселый поэта
И легкое имя твое.

И песню, как радость большую,
Во времени остановить,
Припомнишь — и вновь забушует
Горячая буря в крови...

Украина.

Всеволод Рождественский.

Давно ль в степи, крутой и обожженной,
Клубил беду по карте генерал,
Шумел Махно, с конармией Буденный
Теснил врага до черноморских скал, —
Давно ль, давно ль? — И вот глядится в небо,
Как сотни лет, страна садов и хлеба.

Горячим солнцем выбелены хаты,
Сады сверкают вишней наливной,
Поет ветряк, влачится вол рогатый,
Колосья нив раскачивает зной,
И, словно загорелая дивчина,
Своей красе дивится Украина.

Багрянит мак овраги и высоты,
Густой табак под грушами цветет,
В дубовый чан разломанные соты
Едва струят прозрачноглазый мед,
А на земле, утоптанной и синей,
Скрипят боками бронзовые дыни.

Когда глядится осень через прясла,
Подсолнухов златая целина
В тугих тисках желтеющее масло
По капле отдавать обречена, —
И падает чернеющее донце
На дно корзин, как срезанное солнце.

Под жернова бежит струя пшеницы,
Всю ночь котлы на фабриках бурлят,
Густую кровь упругой свекловицы
Перегоняя в снежный рафинад,
Чтоб мог ты пить в простом стакане чая
Всю густоту украинского мая.

А в Запорожьи, где века бывало
Струилась степь ковыльным серебром,
Где белый Днепр, расчесанный о скалы,
Кипел и прорывался напролом,
Теперь растут, нутром угрюмым воя,
Гигантские турбины Днепростроя.

В Одессе — зеленеющее море,
Овечий гурт, горячие ветра,
За Харьковом — малиновые зори,
В Подолии излучины Днестра —
Кто видел вас хотя бы миг единый,
Тот не забудет сердца Украины!

Крымский скорый.

Всеволод Рождественский.

Был поезд как поезд. Колес перебор
Отстукивал —
то ли чечетку,
То ль просто хорея с гекзаметром спор —
Веселый, чугунный, стремительный вздор,
Прыскучую зайчью походку.

А в окна бежали —
ни ель, ни ольха —
Скупые, скуластые дали,
Поля и деревни,
пестрей петуха,
Врывались цезурой в разрядку стиха
И с дымом назад отлетали.

Вот мост подвернулся —
плетеный сарай,
Крест-на-крест бегущие ноги,
Река опрокинула облачный край,
Нагорных песков рассыпной каравай
И будку у самой дороги,

И снова ракиты,
и снова пруды,
Заката косые заплаты.
За Харьковом сдвинулись ближе сады,
И в складках оврага багрянцем слюды
Сверкнули вишневые хаты.

Пахнуло полынью, теплеет луна.
Я больше не помню обиды.
Я целую ночь простою
у окна,
Покуда не станет на юге видна
Полоска лиловой Тавриды.

О, нищие степи, зеленый Сиваш,
Зарей захлебнувшийся тополь,
На станциях гравий, и воздух не наш, —
И небо — подобье повернутых чаш,
И сонный в садах Симферополь!

Стрекочут колеса,
летят под откос
Обрывки лилового дыма,
В прохладе тоннеля завыл паровоз,
И сердце узнало —
сквозь заросли роз —
Скуластые пажити Крыма.

Но что мой курчавый,
что каменный мой?
Трясла и тебя лихорадка?
Ты в море глядишься,
как тяжко больной,
Ты ждешь,
а на темя Яйлы голубой
Легла беспокойная складка...

Крым.

Всеволод Рождественский.

Яйла — плоскогорье, где полдень не жарок,
Где овцы пасутся и бродит туман,
Где в тесном кольце густошерстных овчарок
Стоит, опираясь на палку, чабан.
Вот ты и добрался сюда понемногу...
Собаки щетинятся: враг или друг?
Спроси чабана по-татарски дорогу
И он улыбнется, кивнувши на юг.
Ты будешь карабкаться выше — и вскоре
Над самым обрывом застынешь; и вот
В разрывах тумана сверкнувшее море
Всю душу простором тебе захлестнет.
Счастливец! Отсюда весь Крым на ладони!
И тонкою пеной очерченный мыс,
И лес, и кустарник на выжженном склоне,
И в лентах дороги сквозной кипарис.
Здесь взор твой летящий не знает предела,
А морю и небу — различия нет.
Они словно синька, где ниточкой белой
Лежит пароходом оставленный след.
Дорога змеится, а полдень несносен,
Летит водопадом в ущельи река,
А в зубьях Ай-Петри у кряжистых сосен
Порывистый ветер пасет облака.
Спускайся по лесу и, если устал ты,
Присядь и послушай дыхание смол.
Вон блюдце долины, вон домики Ялты,
Вон буквою Г нарисованный мол.
Все ближе и ближе в саду санаторий,
Сквозит и смеется (я ждать не могу!),
Сквозит и смеется и плещется море.
И пенит крутую лазурь на бегу.

О, как оно звало тебя и кипело,
Как билось и плакало в брызгах навзрыд!
Бросай же скорей обожженное тело
В зыбучий, прозрачный, тугой малахит.
На запад, где солнце вишневое тонет,
Плыви и плыви, а начнешь уставать,
На спину ложись, чтоб могло на ладони
Вечернее море тебя покачать.
Здесь розы, и скалы, и звонкая влага,
Здесь вечер прозрачен, как пушкинский стих,
Здесь вышел напиться медведь Аю-Дага
И дремлет, качаясь на волнах тугих.
О, где бы ты ни был, но в северном марте
Ты будешь, тревогой скитаний томим,
Искать благодарно на выцветшей карте
Как гроздь винограда повиснувший Крым!

Михаил Николаевич Покровский [1]).

(Эскиз углем).

Н. Мещеряков.

В первый раз я встретился с Михаилом Николаевичем в начале 1906 г. Я был тогда членом Московского окружного комитета РСДРП. В организации были и большевики и меньшевики, но господствовали в ней большевики. В качестве заведующего агитпропом («ответственный пропагандист» — так называлась тогда эта функция) я был делегирован комитетом в состав литературной группы большевистской части Московского комитета. В состав этой литературной группы входило довольно много товарищей. Помню сейчас М. Н. Покровского, Н. А. Рожкова, И. И. Скворцова, В. Я. Канеля, В. М. Фриче, С. И. Мицкевича, В. А. Обуха. Было еще несколько других. Я был в то время уже не новичком в революционной деятельности. Мне уже раньше приходилось встречаться с такими крупными революционерами, как В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, имена которых потом прогремели по всему миру. Тем не менее оригинальная и блестящая фигура тов. Покровского сразу привлекла к себе мое внимание.

Первое впечатление состояло в том, что видишь перед собой спокойного, уравновешенного ученого, который только по ошибке, по недоразумению попал в такую боевую организацию, какой были всегда большевики. Но это впечатление оставалось недолго — только до первой речи тов. Покровского. Как только он начинал говорить, так сразу обнаруживалось, что это не простой ученый, а «профессор с пикой» по блестящему выражению Н. И. Бухарина. Изящная по форме, спокойно произносимая речь тов. Покровского была вся переполнена ядовитыми сарказмами по адресу противников большевизма. Сарказмы эти вызывали в нас взрывы веселого смеха, но на противников они действовали, как острые стрелы пикадора действуют на быков, доводя их раздражение до самого высокого предела. Мне приходилось наблюдать такое действие речей тов. Покровского на ряде собраний, на которых ему приходилось выступать против крупнейших звезд кадетской и эсеровской партий. Смешное убивает; сарказмы тов. Покровского часто убивали противников: острые стрелы пикадора превращались в этом случае в смертельно-разящую шпагу тореадора.

Помимо убийственного сарказма, все речи и выступления тов. Покровского привлекали к себе внимание еще и тем, что они бывали всегда облечены в блестящую художественную форму. Чувствовалось, что тов. Покровский не только крупный ученый, но и настоящий художник.

---

[1]) Некоторые из приводимых в настоящей статье воспоминаний уже были рассказаны мною в статье «О революционной пике», помещенной в газете «Красная звезда» 1928 г., № 251.

Этот художественный талант тов. Покровского ярко проявляется всюду, где он дает в своих произведениях исторические портреты. Напомню, напр., его блестящие характеристики трех Александров в Большой советской энциклопедии, в статьях, которые являются одними из самых лучших политических памфлетов, какие знает русская литература.

Но «пика» тов. Покровского сказывается не только в остром пере и остром языке.

Вскоре после первого знакомства мне пришлось зайти по какому-то делу в квартиру Михаила Николаевича. К моему величайшему изумлению, он сидел за рабочим столом, окруженный такими неподходящими для ученого историка книгами, как «Руководство по пулеметной стрельбе» и т. п. технической военной литературой. На мой удивленный вопрос, зачем это ему нужно, Михаил Николаевич ответил мне: «А как же? Вопрос о вооруженном восстании жизнью поставлен. Это восстание неминуемо. Надо к нему подготовиться. Надо хорошенько изучить технику военного дела».

И эти занятия военными науками не были мимолетным эпизодом в тогдашней работе М. Н. Покровского. Он много интересовался в 1906 г. вопросом о военной и боевой организации и — помнится — стоял даже в каких-то близких отношениях к одной из этих организаций. И позже он участвовал в ряде совещаний, обсуждавших чисто боевые вопросы большевистской революционной работы. Он стал настолько специалистом по боевым вопросам, что когда в Большой советской энциклопедии дело дошло до написания статьи о «вооруженном восстании», то весь президиум единогласно высказался, что автором статьи должен быть тов. Покровский.

Тов. Покровский блестяще применял в своей революционной работе не только оружие критики, но и критику оружием.

В своей ответной речи на приветствия, принесенные ему на юбилейном собрании, Михаил Николаевич с присущей ему скромностью сказал, что он не может себя сравнять с теми революционерами, которые провели долгие годы в тюрьмах, в ссылке, на каторге. Действительно, тов. Покровскому не пришлось испытать этих прелестей царского режима. Но случилось это не потому, что он избегал активной революционной борьбы, ограничивая свою деятельность литературными выступлениями. Уже только что приведенный мною пример показывает, что тов. Покровский сам стремился к практической революционной работе. Вот еще один пример из моих воспоминаний.

20 октября 1906 г. я был арестован на явке Областного бюро Московского района. Секретарь бюро — тов. А. В. Мечникова, сидя рядом со мной, шепнула мне, что у нее на квартире осталось много писем, а в числе их один убийственный документ — план нападения на какой-то арсенал с целью добычи оружия. Тов. Мечникова отказалась назвать при аресте свою фамилию, на что жандарм, помнится, ответил ей, что это неважно, что они легко узнают ее фамилию. И это было действительно не трудно, ибо в числе ближайших сотрудников Мечниковой была провокаторша. На наше счастье, нас не сразу увели из той квартиры, где мы были арестованы, ибо при обилии арестов в то время для нашей довольно большой компании в тюрьмах и полицейских домах не сразу оказалось место. Не помню, каким образом — кажется, через владельца квартиры, в которой мы были арестованы, доктора Зверева — нам удалось дать знать т. М. Н. Покровскому, жившему в одном доме с Мечниковой, о нашем аресте и о том, что в квартире Мечниковой есть несколько важных революционных писем, а в частности письмо о нападении на арсенал. Мы просили его послать кого-нибудь найти эти письма и уничтожить их. Получив изве-

стие, Михаил Николаевич сам взялся за его выполнение. Он пошел немедленно в квартиру, в которой Мечникова нанимала одну комнату. Каким-то образом он убедил хозяйку пустить его — незнакомого — в эту комнату и позволить ему хозяйничать там. Все это делалось в ожидании обыска, ибо жандармы могли притти каждую минуту. Тов. Покровский нашел все нужные письма, хотя некоторые из них были спрятаны, кажется, за обоями, и уничтожил их. После этого он, зная про мой арест, направился ко мне на квартиру и предупредил мою жену о моем аресте с тем, чтобы она могла приготовиться к обыску и уничтожить все компрометирующие бумаги. Рассказывая мне впоследствии всю эту историю, моя жена поражалась тому чисто-профессорскому спокойствию, с которым Михаил Николаевич выполнял всю эту, казалось бы, не свойственную серьезному ученому, работу, в ожидании могущего произойти каждую минуту нашествия жандармов. Интересно, между прочим, что сам Михаил Николаевич никогда не рассказывал, как он выполнил эту работу. Он думал, вероятно: выполнил свой революционный долг, ну о чем же тут еще разговаривать...

В 1906 г. я работал в Московской окружной организации. На Стокгольмский съезд наша организация имела право послать трех делегатов. Перед выборами я зашел к тов. Покровскому и спросил его, не согласится ли он быть делегатом съезда от нашей организации. Михаил Николаевич ответил мне почти буквально следующее: «Что вы! Что вы! Как же я могу быть делегатом? Я еще слишком молодой член партии, а на съезде должны быть только старые, испытанные революционеры. Нет, я ни в коем случае не могу согласиться на ваше предложение». И это говорил человек, который уже в то время оказал партии громадные услуги. Яркий образчик той скромности, которая всегда отличает Михаила Николаевича.

Приведу еще пару примеров такой скромности.

Осень 1917 г. Приближались Октябрьские дни. Большевики завоевали большинство в Московском совете рабочих депутатов. Назначена была новая редакция «Известий Московского совета рабочих депутатов», в которую вошли И. И. Скворцов и я от большевиков и тов. В. П. Волгин, бывший тогда интернационалистом. Однажды, когда мы работали в редакции, в комнату вошел Михаил Николаевич, незадолго перед тем приехавший из-за границы. Он приехал тогда, когда новая редакция был уже назначена, а потому и не был сразу введен в состав редакции. С величайшей скромностью Михаил Николаевич заявил нам, что он пришел для того, чтобы предложить свои услуги. Мы немедленно предложили ему войти в состав редакции, обещая оформить дело в Совете несколько позже. Михаил Николаевич долго и упорно отказывался. Только с величайшим трудом нам удалось убедить его согласиться на наше предложение.

Наступили Октябрьские дни. Помню вечер, когда в Москве произошло выступление юнкеров, захвативших Кремль. В редакции были в то время Скворцов, Покровский и я. Спокойно, с присущим им хладнокровием и методичностью, тт. Скворцов и Покровский принялись за писание воззваний. Всю ночь продолжалась их работа. На другой день редакции пришлось перебраться куда-то в Замоскворечье. Наша редакция разбилась на две части. Тт. Скворцов, Покровский и присоединенный к ним Н. И. Бухарин перебрались в Замоскворечье. Другая часть редакции — я, тт. Катанян, Новицкий и секретарь редакции — никак не могла найти эту первую половину. Первые дни газета вообще не выходила. Не зная, что делается в Замоскворечьи, и не будучи в состоянии связаться с первой группой, мы решили самостоятельно приступить к изданию газеты. То же начали делать и замоскворецкие товарищи, так что один

день чуть не вышло сразу два разных номера «Известий Военно-революционного комитета». Но кое-как связь удалось установить, и мы перетащили замоскворецкую группу к себе в центр города, поближе к Московскому совету. Поместились в типографии на Б. Дмитровке. На всю редакцию была отведена сначала одна небольшая полутемная комната. В этой комнате, под охраной вооруженных солдат, мы проводили целые дни. Приходилось иногда даже ночевать в типографии. Так как Михаил Николаевич жил где-то далеко, а ходить ночью по Москве было опасно, то я его перетащил к себе на квартиру. Помню, как приходилось возвращаться поздно вечером из редакции домой по темным, пустынным улицам, оглашаемым ружейными, пулеметными и пушечными выстрелами. Весь день Михаил Николаевич работал в редакции, как революционер. Вечером, во время ходьбы по пустынным улицам, в нем просыпался профессор-ученый, и он спокойно вел разговоры, подвергая, напр., блестящей критике книгу Плеханова «История русской общественной мысли».

Довольно близко пришлось мне столкнуться с Михаилом Николаевичем по работе в Большой советской энциклопедии.

Михаил Николаевич был родоначальником этой Энциклопедии. Он начал с того, что пытался оживить неоконченную к моменту революции Энциклопедию Граната, в которой был еще раньше одним из основных сотрудников. Года два с лишним пытался Михаил Николаевич совместно с другими товарищами присп·собить старую Энциклопедию к новым условиям, но из этого дела не выходило ничего серьезного. Тогда была выдвинута мысль, что надо начать все дело с начала, издавать совершенно новую Энциклопедию, которая могла бы не считаться с тем, что было сделано ранее. Инициаторами этой мысли были тт. О. Ю. Шмидт и Покровский. Большинство остальных было настроено крайне скептически. Боялись, что не хватит ни сил, ни времени, и если бы не поразительная настойчивость тт. Шмидта и Покровского, Большая советская энциклопедия еще долго не появилась бы на свет.

Я говорил выше, как в Октябрьские ночи мы возвращались с ним вместе с работы, в «Известиях» и как он среди треска выстрелов спокойно развивал мне свои остроумные теории. Помню, как однажды он развивал мне в этой обстановке оригинальную теорию о том, что есть какой-то предел во времени для творческой работы мыслителя, что эта работа может продолжаться не более 20—25 лет, после чего мыслитель начинает тускнеть и повторяться. Единственное исключение он соглашался сделать для В. И. Ленина.

Но, не говоря уже о Ленине, который всю свою жизнь, вплоть до самой смерти, шел по восходящей линии, сам М. Н. Покровский является блестящим опровержением своей остроумной теории. Он работает как писатель и ученый более 20 лет, а, между тем, он не только сохраняет остроту своей революционной «пики», но, повидимому, еще более оттачивает ее. Перешагнув 60-летний возраст, он сохраняет не только свой блестящий талант ученого и писателя, но и весь свой боевой пыл, всю свою революционную преданность.

Крупный оригинальный ученый, едкий, остроумный полемист, блестящий историк-портретист, являющийся истинным художником в этой области, преданный революционер — таковым был и остается до сих пор наш старый товарищ М. Н. Покровский.

Германская революция 1918 года.

(К десятилетию ноябрьской революции в Германии).

И. Браславский.

Германская революция!.. В наши теперешние дни, на пороге второго десятилетия со дня рождения этого исторического события, эти слова звучат каким-то анахронизмом. Мечты о восстановлении былого величия, мечты о колониях, о новых стройных колоннах рейхсвера, о крейсерах и броненосцах, — все эти «мелочи» жизни вновь расцвели пышным цветом в этой стране и заслонили память о ноябрьской революции 1918 г.

Монархическая реакционная клика Германии до сих пор считает ноябрьский переворот преступлением против государства и императора. Она уже давным-давно разработала план расправы с «ноябрьскими преступниками» («Novemberverbrecher»). Капиталистическая буржуазия продолжает рассматривать германский ноябрь, как временное явление, которое нужно медленно, но упорно изжить. А германская социал-демократия по сей день продолжает вводить ноябрьскую революцию «в надлежащее русло».

Германская революция вся в прошлом. То, что осталось от нее, ее так сказать актив, отводит ей место крупнейшего мирового исторического эпизода с огромными перспективами и неоправданными надеждами. Но и как крупный эпизод германская революция 1918 г. еще ждет своего освещения. Многое о ней уже написано, но еще больше продолжает оставаться в тайниках. Настоящий очерк, разумеется, не вскрывает эти тайники. Он — не более, как попытка осветить основные этапы революции, а главное, определить, поскольку это позволяет журнальная статья, все те факторы, которые так или иначе предопределили ход германской революции и ее фактическое поражение.

I.

8 августа 1918 года решилась судьба германской армии. Между Анкром и Авром немецким полкам был нанесен решительный удар, стоивший Германии 40 000 солдат, сдавшихся в плен, и 400 тяжелых и легких орудий, захваченных противной стороной. Этот день и был началом краха монархической Германии, и Гинденбург был совершенно прав, когда после этого заявил: «Мы подошли к концу!». Это и был конец...

Было бы, однако, неверно считать, что поворотным моментом для Германии был именно исход боев между Анкром и Авром. Корни поражения и того огромного революционного движения, которое вскоре после августовских дней вышло из подполья, разумеется уходят более глубоко и далеко в тыл Германии. Фронт был только зеркалом тыла, он отражал

его материальное и моральное состояние. Правда, было время, когда тон в стране задавал фронт, когда победоносное шествие германских войск диктовало тылу настроение, но уже в начале 1917 года в этом отношении произошел заметный перелом, который особенно усилился после Февральской, а затем и Октябрьской революций в России.

Что же определяло этот перелом? Какие факторы оказали решающее влияние на развертывание революционных событий и породили так называемую ноябрьскую революции в Германии?

Основным фоном, на котором развилось недовольство народных масс, был материальный, т. е. экономический, кризис. Для городов это был, в первую очередь, продовольственный кризис, отчаянная нужда, повышенная смертность и всеобщее истощение. Экономика фронта была несколько иной. В то время, — пищет Бернштейн, — как «неприятель получал все свежие и свежие подкрепления, выбрасывал десятки новых танков, новых аэропланов, наши ряды редели без пополнения; снабжение не только военными материалами, но даже продовольствием шло все хуже и хуже» [1]).

Это был, разумеется, результат общего упадка всего народного хозяйства Германии. Блокированная почти со всех сторон, лишенная многих сырьевых баз, страна, даже при всей организованности системы распределения материальных ресурсов, не в состоянии была далее держаться.

Несколько цифр с особой убедительностью показывают катастрофическое падение экономической базы страны. Сбор пшеницы, составлявший в 1909—1913 гг. в среднем ежегодно 40 430 тысяч квинталов, в годы 1914—1918 упал до 30 738 тысяч квинталов, а в 1919 г. даже до 21 500 тысяч квинталов. Сбор ржи за те же периоды упал с 101 318 тысяч квинталов до 78 047 тысяч квинталов и 60 360 тысяч квинталов. Выплавка чугуна сократилась наполовину (с 11 млн. метр. тонн в 1913 г. до 6 млн. в 1918 г.), производство стали — с 11,7 млн. метр. тонн до 6,3 млн. метр. тонн (в 1919 г.). То же самое положение наблюдалось во всех отраслях промышленности, исключая чисто военной. Наряду с этим происходил процесс обесценения денег. Денежное обращение, определявшееся в стране в 1913 г. в 2 593 млн. марок, к концу 1915 г. уже исчислялось в 6 918 млн. марок, к концу 1917 г. — в 11 468 млн. марок, а накануне революции — в 22 188 млн. марок [2]).

Нехватка продовольствия порождала бешеную спекуляцию. Цены на продукты росли с каждым днем. Помещики и кулаки, исступленно кричавшие на всех перекрестках — «война до победы», — были первыми в рядах грабителей-спекулянтов, усугублявших и без того тяжелое положение трудящихся масс. Об этом писали все газеты, требуя их обуздания, но правительство фактически оставалось глухим ко всем этим призывам.

«Все сословия, — писала «Германская имперская газета» в 1915 г., — в большей или меньшей степени пострадали от войны: почему же одни только сельские хозяева должны обогащаться от войны? Что это последнее явление на самом деле имеет место, доказывает грандиозная покупа-

---

[1]) Э. Бернштейн, Германская революция, т. I, изд. «Мысль», Птг. 1922 г., стр. 11.

[2]) Все данные заимствованы из сборника «Мировое хозяйство в 1919—1925 гг.» (изд. ЦУП ВСНХ СССР, М. 1926 г.). К этим данным можно присоединить следующее: смертность от туберкулеза в Германии (в населенных пунктах с 15 000 и более жителей) возросла с 15,7 на 1 000 жителей, в 1913 г., до 18,0 — в 1916 г. и 28,7 — в 1918 г. Общая смертность возросла с 15,8 ч. на 1 000 жителей, в 1913 г., до 25,1 — в 1918 г. «В Берлине стоимость прожиточного минимума возросла почти в 11 раз против довоенной. В других местах повышение еще сильнее. Средний же доход номинально увеличился в 4 раза, выраженный же в золотых марках упал с 600 до 170 марок» (Кучинский, Wiedergutmachung, стр. 35).

тельная способность сельских хозяев, которую можно наблюдать в городских универсальных магазинах...» [1]).

Брестский мир оказался для германских милитаристов блефом. Правда, Германия получила по договору $^7/_{17}$ частей из 9 132 вагонов украинского хлеба (1 826 400 центнеров), поступивших в распоряжение победителей, но эта цифра, переведенная на душу населения, по подсчетам Дельбрюка, означала не многим более 400 грамм на одного жителя страны (не ежемесячно, а за все время войны). Разумеется, подъем настроения, вызванный Брестским миром, оказался недолговечным. Внушенный рабочим массам прорыв «голодной блокады» вскоре выяснился: это был простой обман, сознательное издевательство над изголодавшимися массами; это был очередной трюк германских империалистов, который, однако, вскоре был раскрыт. Уже к середине 1918 года рабочие поняли, что их снова обманули, что Брест-Литовский мир ни в какой мере не означает конца войны и что империалистическая Германия делает попытку задушить рабоче-крестьянскую революцию в России. Если ко всему этому присоединить стремительный процесс революционизирования германских оккупационных войск, находившихся на Украине (их потом перебрасывали на Западный фронт, и это были прекрасные агитаторы большевизма), то станет ясен «выигрыш» Германии от этого «победного мира».

Недаром Матиас Эрцбергер, ведший первые переговоры (8 ноября, в Компьенском лесу) с генералом Фошем по поводу перемирия, в ответ на жесточайшие условия союзников неоднократно подчеркивал опасность этих условий. Эрцбергер просил «не повторять той ошибки, которую прежнее германское правительство учинило в Брест-Литовске; оно считало себя победителем большевизма, а в конце концов само оказалось побежденным». Эрцбергер, понятно, имел в виду не интересы союзников, а хотя бы некоторое смягчение условий, но его замечание о значении Брестского мира чрезвычайно характерно.

Итак, катастрофа в Германии к концу 1918 года стала неизбежным фактом. Достаточно было одного сильного удара на фронте, чтобы искусственно задерживаемые волны революции вышли из берегов и залили страну. Таким ударом в значительной степени было поражение 8 августа. Оно прорвало все шлюзы внутри Германии, оно привело в движение все, что до сих пор вынужденно молчало и бездействовало. Через три месяца Германия превратилась из монархии в республику.

II.

Ноябрьская революция в Германии представляет исключительный интерес с точки зрения ее внутреннего содержания и роли в ней отдельных общественных элементов.

1918 год начался для Германии бурными предзнаменованиями. Правительство, вступившее на путь жестоких репрессий в отношении нежелательных элементов, под знаком осадного положения творило нечто невообразимое. Бесцеремонное поведение империалистов в Брест-Литовске, открытые разговоры германской военщины о разгроме власти Советов в России, удушение рабочей прессы, покровительство неслыханной эксплоатации, расстрел вильгельмсгафенских матросов и т. д., —

[1]) В «Рейнско-Вестфальской газете» от 27 января 1917 г. сообщалось, что, при наступившем голоде, сельские хозяева предпочитали кормить картофелем своих свиней, так как при высоких ценах на мясо это приносило им больше прибыли, чем доставка картофеля в голодающие города. Таким образом, по подсчетам газеты, из общегерманского урожая 1916 года в 23 млн. тонн было скормлено до 6 млн. тонн.

все это вместе взятое не могло не вызвать огромного брожения в рабочей среде. Материальное положение широких кругов населения катастрофически ухудшалось. Картофельный паек, в свое время уменьшенный на 70%, в дальнейшем был урезан еще на 1/4; меню рабочего уже ограничивалось плохим хлебом, с примесями чуть ли не на 90%, и мало питательной брюквой, до войны совершенно не известной населению. Словом, царь-голод в рабочих кварталах был полным господином положения.

28 января 1918 года 400 тысяч рабочих и работниц Берлина прекратили работу [1]). Требования забастовавших сводились к следующему: мир без аннексий и контрибуций на основе формулировки советской делегации в Бресте, допущение всех стран к участию в мирных переговорах и т. д. Созданному «Комитету действия», в состав которого вошли и 3 с.-д. «большинства» — Эберт, Шейдеман и Браун, — было поручено руководство забастовкой и осуществление ее задач. Движение сразу стало приобретать революционный характер. Этому, с одной стороны, содействовало воинственное настроение правительства в отношении бастующих, а с другой — решительность рабочих масс и большинства руководства, состоявшего из представителей самих рабочих.

Этой забастовке, однако, еще не суждено было развернуться: ее фактически сорвали три социал-демократа. Это было сознательное и продуманное предательство, на котором стоит несколько остановиться. Шейдеман в своей книге «Крушение Германской империи» [2]), совершенно не стесняясь, пишет, что «нам было важно удержать движение в организованных рамках и как можно скорее прекратить его, переговорив с правительством» (стр. 106). Другим свидетельством этого может служить раболепное постановление ЦК социал-демократической партии от 30 января, т. е. тогда, когда движение достигло своего апогея и грозило перейти в восстание.

«Комитет партии констатирует, что нынешняя забастовка не направлена против обороны страны и не стремится к поддержке неприятельского империализма. Вступление с.-д. депутатов обеих фракций в забастовочный комитет, — читаем мы дальше в этом постановлении, — давало полную гарантию тому, что движение пойдет организованным путем и будет закончено быстро, не причинив вреда».

Дело заключалось, конечно, не в социал-демократах и не в «хладнокровии и тщательной осторожности» социал-демократических делегатов, как говорит об этом Шейдеман.

Рабочие были вынуждены прекратить забастовку, так как помимо того, что правительство игнорировало требования бастующих (министр Вальраф категорически отказался вести переговоры с членами забастовочного комитета — рабочими), оно еще обрушилось на них военными репрессиями. О соглашении не могло быть и речи. А вести борьбу, пойти в решительную атаку также было немыслимо: соотношение сил на данной стадии складывалось не в пользу рабочих, и правительство было готово потопить в крови всякое выступление [3]).

Но забастовка имела огромное политическое значение. «Если вы прекратили сейчас забастовку, — писалось в одной из распространявшихся

[1]) Этой всеобщей забастовке предшествовали две стачки, охватившие почти все крупные фабрично-заводские города Германии. Первая произошла 28—30 июня 1916 г., а вторая 16—17 апреля 1917 г. Таким образом январская стачка 1918 г. была по счету третьей.

[2]) Изд. Гиза, Москва 1923 г.

[3]) Итоги расправы правительства с этой забастовкой таковы: 6 человек убитых и много раненых во время одной из демонстраций, 200 человек приговоренных к 130 годам каторги и тюремного заключения и около 50 тысяч — мобилизованных и отправленных на фронт.

тогда подпольных листовок, — это еще не значит, что вы прекратили борьбу. Вы вооружаетесь уже к новой борьбе и победе». Действительно, забастовка, вызвавшая отклик во многих городах Германии, убедила всех в том, что рабочие способны действовать сплоченно и решительно. Но для этого нужен был только соответствующий момент, требовался удар, который привел бы в замешательство правительство и одновременно освободил бы революционное движение от сдерживающих его пут. Этим моментом оказалось 9 ноября.

Тыл бурлил... Рабочие массы готовились к решительным боям. Но и фронт не оставался безучастным к этому движению. Уже вскоре после заключения Брестского мира Вильгельм должен был признаться, что верховное командование «значительно недооценило заразительность большевизма». Мы уже говорили о том, что система переброски войск с Украины на Западный фронт в немалой степени способствовала революционизированию армии. После январской забастовки 1918 г., как и после двух предыдущих стачек, все активные участники стачек «в наказание» были отправлены на фронт. Таким образом, закрыв фронт для партийной литературы, для газет, усилив наблюдение за солдатами-партийцами, изгнав из армии всякую «крамолу», командование, само того не сознавая, сеяло ее, ибо все «наказанные» не замедлили перенести свою деятельность в войсковые части. Таким образом армия, можно сказать, была в известной мере подготовлена к грядущим событиям.

Искрой, зажегшей революционный пожар, послужило восстание моряков в Киле. В этой гавани была сосредоточена главная часть боевого флота. Матросы отказались повиноваться приказу 28 октября о выходе флота в открытое море, и кочегары потушили топки.

Восстание матросов нашло быстрый отклик в рядах кильских рабочих. Последние ответили на выступление моряков совместными с ними демонстрациями, приведшими уже 3 ноября к кровавому столкновению (30 человек убитых и раненых).

Кильские события всполошили германских социал-патриотов. Всего за две недели до восстания социал-демократам, в лице Эберта, Шейдемана и Брауна, удалось, наконец, создать первое «народное» правительство во главе с принцем Максом Баденским. Под флагом этого «либерального» правительства социал-демократы рассчитывали протащить программу дальнейшего нажима на фронте и в тылу, дабы «с честью и с некоторым активом» выступить на будущей мирной конференции.

Социал-демократы спешили попасть в ногу с «большинством нации», встревоженным кильскими событиями. 3 ноября, когда кругом буквально все кипело, когда революция уже стучалась в двери Германии, социал-демократ Носке, от имени своей партии, заявлял на собрании в Брауншвейге, что нужны *только реформы, но отнюдь не революция*. «Я, — пишет он в своих записках, — высказался определенно против всякой насильственной революции, которая могла бы ухудшить и без того печальное положение германского народа. Вообще, германская социал-демократия была против подобной революции» [1].

Эту же мысль 5 ноября повторил и Шейдеман, но по свойственной ему хитрости он облек ее в совершенно другую форму. Посылая Носке в Киль на усмирение матросов, «министр Шейдеман» поручал ему обещать «бунтовщикам» все блага (амнистия и все прочее), но обязательно вернуть всех на корабли и обезоружить их. При этом характерен следующий штрих:

---

[1]) *Густав Носке*, Записки о германской революции, изд. «Петроград», 1922 г., стр. 7.

в то время, как Вильгельм считал свое дело безнадежно проигранным и «отдавал» корону рейхстагу (такое заявление он сделал тотчас же после кильских событий), Шейдеман поручал Носке сообщить восставшим, что правительство «тотчас же попытается войти в сношение с императором, который... должен будет санкционировать принятие ими (восставшими. *И. Б.*) решения».

Однако социал-демократы опоздали. События быстро опережали «осторожную и продуманную» тактику Шейдеманов и Эбертов. Кильское восстание вызвало неслыханный отклик во всей стране. В последующие 3—4 дня почти во всех крупных городах были образованы Советы рабочих и солдатских депутатов. «Верные сыны отечества и слуги императора», накануне демонстрировавшие свое «твердое решение сплотиться вокруг трона», исчезали, как мыльные пузыри. Так было в Бремене, Гамбурге [1], Дрездене, Лейпциге, Штутгарте, Франкфурте и в других городах, причем в Мюнхене переворот закончился свержением династии и объявлением высшей государственной властью Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Берлин отставал. Здесь, начиная с 2 ноября, «заседали». Революционные старосты — рабочая революционная организация, созданная задолго до ноябрьской революции и представлявшая собой нечто вроде нелегального Совета рабочих депутатов, — собравшись 2 ноября, «прикидывали», когда удобнее выступать. Решено было выступить 11 ноября. Большинство было за отсрочку. Только Эмиль Барт, Ледебур и Деймиг высказывались за немедленное выступление (4 ноября).

«Если мы хотим социализма, экспроприации экспроприаторов, то нам нужно начать действовать и именно в понедельник» (т. е. 4 ноября. *И. Б.*), — говорил Барт. — При содействии боевых дружин мы выведем на улицу рабочих из всех предприятий до последнего человека и вместе с ними справимся с полицией» [2].

«Бесполезное предприятие, преступное легкомыслие — игра в революцию, преступление говорить сейчас о революции, когда яснее ясного, что она будет подавлена в корне. Вообще сначала должен быть заключен мир, и тогда только можно говорить о революции» [3]. Это говорил независимец Дитман; в том же духе выступал и Гаазе, и — с оговорками — руководитель революционных старост Рихард Мюллер.

Революция «откладывалась». Радикалы боялись ее: они полагали, что все как-то «само устроится» и не нужно форсировать события... Только не сейчас!.. — таков был смысл всех возражений против выступления. Эта тактика в значительной степени совпадала с точкой зрения ЦК социал-демократической партии. Последние, дав своих представителей в правительство принца Макса Баденского, решили, что этого «революционного» акта вполне достаточно, чтобы Германия из полицейского государства превратилась в «народное», где воля народа — верховный закон. Поэтому необходимо всячески подавлять «происки безответственных личностей, смущенных большевистскими революционными фразами и пытающихся подзудить рабочих на бессмысленные и бесцельные

---

[1] В Гамбурге, присоединившемся к Кильскому восстанию 5 ноября, имело место столкновение местных рабочих с войсками, в результате которого было убито 9 участников демонстрации.

[2] Эмиль Барт, В мастерской германской революции, Гиз, 1923 г., стр. 66.

[3] Там же, стр. 67.

забастовки и демонстрации против правительства и затрудняющих заключение мира и демократизацию Германии»... Так взывал к массам ЦК соглашателей 17 октября, причем в таком же духе он обращался в своих многочисленных воззваниях вплоть до 9 ноября.

Растерявшаяся военщина, разумеется, цеплялась за подобные воззвания социал-демократии, как за якорь спасения. Генерал Линзинген поспешил «развить» воззвания ЦК шейдемановцев и, интерпретируя их по-своему, угрожающе писал накануне 9 ноября:

«Некоторые круги имеют намерение, не считаясь с существующими запрещениями закона, организовать Советы солдатских и рабочих депутатов по русскому образцу. Подобные организации противоречат существующему порядку и угрожают общественной безопасности. На основании § 9-б закона об осадном положении, я запрещаю всякое образование подобных объединений, а также и участие в оных».

Конечно, это была пустая угроза. Уже через несколько часов после распубликования этого приказа в Берлине не стало старой власти. Не помогла попытка двинуть против революции якобы надежнейший батальон Любеннских егерей (они отказались выступать против народа); не помогло также вооружение до зубов «абсолютно надежной» берлинской полиции. «Кто хотел видеть вещи такими, какими они были на самом деле, тот должен был ясно понимать, что по всем человеческим соображениям правительство было совершенно бессильно справиться с этой революцией и ему было неоткуда ждать ни помощи, ни защиты» — так впоследствии оценивал положение вещей бывший вице-канцлер Фридрих Пайер [1]).

Революция вступила в свои права. Как прогнившая труха, рассыпалась монархия Вильгельма. «Полиция не была изгнана, — пишет в своих воспоминаниях «О январских событиях» первый революционный президент берлинской полиции Эмиль Эйхгорн, — а удрала из здания по своему желанию и так быстро, как только она могла пробраться сквозь массы народа, толпившегося вокруг здания полиции» [2]).

Действительно, все сбежали... «Berliner Tageblatt» от 11 ноября 1918 года сообщала следующее:

«... В канцеляриях отдела печати министерства иностранных дел, до сих пор находившегося в гостинице «Виктория», вчера (9-го) оказался полнейший беспорядок; ящики столов опустошены, мебель частью попорчена, зеркала разбиты. Состояние рабочих помещений заставляет думать, что офицеры, работавшие в отделе печати, в субботу (т. е. 8 ноября. *И. Б.*) бросили свое дело на произвол судьбы и спаслись бегством. Входящая почта лежала еще не вскрытая, в том числе телеграмма, отправленная из Петербурга 9 ноября в 2.45 утра... прибывшая в Берлин 9 ноября в 1 ч. 40 м. пополудни»...

III.

«Такова моя воля» — этими словами Вильгельм обычно заканчивал все свои «манифесты». Такими же словами он закончил свой указ от 30 сентября. Но через 4 недели, когда революция уже стучалась в двери Германии и Вильсон упорно настаивал на отречении германского императора, без чего заключение мира исключалось, Вильгельм заговорил совсем другим

[1]) Fr. Payer, Von Bethmann Hollweg bis Ebert, Frankfurt 1923.
[2]) E. Eichhorn, Ueber die Januarereignisse, Berlin 1919, S. 37.

тоном. Незадолго до этого он произнес перед рабочими крупповских заводов смиренную и полную лести речь (угрюмые, недоверчивые лица слушателей были прекрасным свидетельством того, как рабочие принимают эту лесть), а 28 октября он уже заявлял, что по «собственному» желанию решил «перенести основные права персоны императора на народ», причем отныне «император — слуга народа». Это была двойная демонстрация. С одной стороны, Вильгельмом руководило желание срочно перетащить массы на свою сторону, а с другой — добиться у Вильсона и у требовательной Антанты хоть небольшой милости — звания императора.

Но было поздно. Лозунг «Долой монархию! Да здравствует республика!» уже давным-давно проник в массы. Еще в середине 1918 г. спартаковцы, а за ними и независимые, выбросили этот лозунг, так что на рабочий класс заявления Вильгельма не производили никакого впечатления. Очень слабо реагировала на монарший зов и буржуазия. В обстановке нарастающей революционной бури Вильгельм становился ненужным. Раз он не в состоянии был своим авторитетом остановить революцию и сохранить старый порядок, значит он бесполезен, и нужно срочно менять свои позиции. Тут господствовала не столько тенденция приспособления буржуазии к революционной обстановке, сколько самый простой расчет, который капиталистическая буржуазия не забывает ни при каких обстоятельствах.

Монархисты, главным образом военная и бюрократическая верхушка, в большинстве прусское юнкерство и померанское дворянство, решили было убедить Вильгельма не сдаваться «так просто», а уйти «с честью, достойной монарха». В эти дни в рядах монархистов приобрел большую популярность лозунг: «лучше пусть умрут император и кронпринц, но останется в живых монархия, чем наоборот» [1]). Но Вильгельм оставался глухим к этому лозунгу, означавшему призыв к героическому самоубийству. В самом деле, смешно было бы рассчитывать на согласие таких «храбрецов», какими были оба Вильгельма — отец и его старший сын — кронпринц. Е. Тарле в своей статье «Бегство Вильгельма II» [2]) описывает, как Вильгельм увиливал от разговоров на эту тему, как он всячески хоронился от навязчивых монархистов и в этих целях 29 октября даже покинул тайком свою резиденцию и переехал в Спа — ставку Гинденбурга — поближе к нейтральной (голландской) границе.

Необходимость срочного отречения Вильгельма в последние дни октября стала очевидной. Но партии почему-то медлили и пытались уговорить Вильгельма самому это сделать. Социал-демократы действовали в этом вопросе со всей присущей им «осторожностью и продуманностью».

«В последних числах октября... — пишет Шейдеман, — канцлер обратился ко мне с вопросом: как я в качестве представителя социал-демократической партии отношусь к отречению императора. Я ответил ему, что не намерен в эту минуту взрывать кабинет требованием отречения императора» [3]). Спустя же несколько дней Шейдеман во второй беседе с канцлером по поводу требования отречения Вильгельма подчеркнул ему необходимость «ясно усвоить, что, желая сохранить монархию как форму правления, он не может сделать ничего, кроме указания императору уйти» [4]).

---

[1]) Эта формула сильно разобидела кронпринца Вильгельма. 11 ноября он послал Гинденбургу письмо с протестом против узурпации его — наследника престола — прав. См. «Мемуары германского кронпринца», стр. 251—253.

[2]) Журн. «Историк-марксист», т. IV, 1927 г.

[3]) Шейдеман, Крушение Германской империи, стр. 264.

[4]) Там же, стр. 270.

Это исключительное заявление «социалиста» Шейдемана было, очевидно, принято фракцией рейхстага и ЦК партии совершенно спокойно, ибо иначе ничем нельзя объяснить то, что еще 7 ноября «Форвертс» взывал к добрым чувствам Вильгельма и благожелательно уговаривал его отказаться от престола. Поистине «вожди» германской социал-демократии могли без страха и сомнения конкурировать своими монархическими чувствами с любой буржуазной партией.

Канцлер Макс Баденский своим указом 9 ноября утром, наконец, отрешил Вильгельма и кронпринца от престола. Когда Вильгельму принесли сообщение о низложении его и кронпринца, он возмущенно вскричал: «измена, бесстыдная, возмутительная измена!». И даже в эти последние дни «расчетов с судьбой» Вильгельм не мог отказать себе в своей обычной рыцарской позе и громкой фразе. За пару часов до получения извещения о низложении кронпринц поднял вопрос об оставлении императором уже неспокойного Спа и о переезде в другую армию. Но Вильгельм отверг это предложение. Зная, что он во всяком случае сумеет бежать в Голландию, он отвечал гордо: «Нет, зачем? Это могло бы показаться бегством. Я останусь здесь и соберу вокруг себя своих верных».

Эти слова дали повод ряду убежденных монархистов после получения известия о низложении предложить этому «храброму» трусу пойти на героическое и, по крайней мере, с честью спасти монархический принцип.

— Могу ли я положиться на то,— спрашивал Вильгельма убежденный монархист и старый вояка граф Шуленбург, — что ваше величество останетесь при войске?

— Вы знаете мое решение, граф,— гордо отвечал «герой» Вильгельм.

Но известия, принесенные Гинденбургом о брожении среди войск, расположенных в самом Спа, дают «надлежащий» выход этому насквозь театральному и фальшивому героизму. Он решает, что уже пора бежать в Голландию, и напрасно ждут его Шуленбурги, рассчитывавшие на героический акт императора на поле битвы, на глазах у войск... 9 ноября в 10 часов вечера Вильгельм бежал.

«10 ноября в 8 часов утра к голландскому пограничному пункту Эйздену подъехал автомобиль. Вильгельм, бледный как полотно, в сопровождении нескольких лиц, вышел из автомобиля, подошел к пограничной страже — и отдал таможенному чиновнику свою шпагу; он был на нейтральной зоне. Долгие часы затем германский император ждал на станции, пока спешно извещенное голландское правительство упрашивало по телефону графа Бентика, владельца недалеко от границы лежащего поместья Амеронген, чтобы он дал хотя бы временный приют бежавшему монарху. Но только спустя сорок часов после начала бегства Вильгельм оказался в Амеронгене. За первым обедом, когда голландские хозяева и немецкие гости чувствовали себя мучительно неловко и не смели от стыда, с одной стороны, и жалости, с другой стороны, встречаться глазами, Вильгельм II говорил много и охотно, с одушевлением и живостью. Говорил он один, все остальные молчали» [1]).

Таково содержание последней страницы истории династии Гогенцоллернов. Поведение же Вильгельма вполне соответствовало всей его натуре.

В Германии акт об отречении Вильгельма был принят с большим удовлетворением. Правда, консерваторы не могли сразу примириться с этим

---

[1]) Е. Тарле, Бегство Вильгельма II,— «Историк-марксист», т. IV, стр. 71.

фактом, но и у них дальше слов это дело не шло. Активная воля монархистов силой событий была парализована.

«На местах», т. е. в маленьких германских государствах, свержение монархов происходило с такой же стремительностью, как и в Берлине. В ночь с 7 на 8 ноября незаметно и тайком покинул Мюнхен король баварский (его, между прочим, долго искали, желая известить о совершившемся перевороте, но не нашли). Король саксонский, извещенный о своем низложении, принял его к сведению и произнес только «мудрую» фразу: «Ну, так и возитесь одни в вашем навозе». А король вюртембергский, отрекшийся самолично от престола... 30 ноября, был напутствован замечательным благодарственным письмом социалистического правительства социал-демократов Вильгельма Блоса, в котором отмечалось, что он «своим добровольным отречением от престола помог расчистить дорогу (спустя три недели! *И. Б.*) для свободного развития государства». В «образцовом государстве» Бадене герцог баденский 13 ноября заявил, что он «временно, до решения вопроса Учредительным собранием, желает отказаться от исполнения своих правительственных обязанностей», что и было принято Советом к сведению. Почти в таком же духе произошел переворот везде, во всех частях Германии.

IV.

9 ноября в 12 часов дня революция вступила, наконец, в свои права. К сожалению, история этих дней располагает чрезвычайно разноречивыми показаниями, как после отречения Вильгельма произошел уход старого имперского правительства. По свидетельству вице-канцлера Пайера около 1 часу дня Эберт, Шейдеман и Отто Браун явились к Максу Баденскому и именем социал-демократической партии, «во избежание кровопролития и нарушения порядка», потребовали передачу ведения дел имперского канцлера «доверенному лицу народа Фрицу Эберту».

Итак, после отречения Вильгельма, после завершения переворота, Эберт именем своей партии сделался канцлером императорской Германии. Мы подчеркиваем императорской, ибо пост канцлера был ему передан при условии соблюдения «рамок имперской конституции», на что шейдемановцы ответили молчаливым согласием. Этот момент заслуживает особого внимания потому, что на основе его фактически была построена вся последующая политика социал-демократической партии.

Эберт особым воззванием немедленно оповестил население о своем назначении. Замечательны отдельные места этого воззвания: «Принц Макс Баденский, бывший доныне имперским канцлером, передал мне, с согласия всех статс-секретарей, свой пост. Я приступаю к образованию нового правительства... Новое правительство будет народным правительством... Я настоятельно прошу всех не оставаться на улицах, разойтись по домам, ради сохранения спокойствия и порядка». Ни слова о революционном перевороте, о его характере, ни слова о тех, кто привел Эберта к власти.

За первым воззванием последовал ряд других, в которых чиновники призывались оставаться на своих местах, «чтобы не обречь Германию на произвол анархии и ужаснейших несчастий»; тыловые войска призывались «к тишине и спокойствию», во избежание гражданской войны, войска Германии — «к бдительности» и т. д.

Пока «канцлер» Эберт распоряжался, шли переговоры о составе правительства. Шейдемановцы всеми силами пытались сохранить за собой

преобладание, хотя и предлагали независимым принять в правительстве участие «на равных началах». Независимые же проявили в этом вопросе полное отсутствие единой точки зрения. В то время как Карл Либкнехт (его поддерживал Ледебур и, отчасти, Гаазе) со всей отчетливостью сформулировал следующие основные требования:

«1. Советы рабочих и солдатских депутатов облекаются законодательной и исполнительной властью.

2. Народные уполномоченные должны быть утверждены Берлинским советом рабочих и солдатских депутатов...»,

другие (Барт, Дитман, Кон) высказывались за совместную работу с шейдемановцами и за немедленный созыв Учредительного собрания. И только к вечеру 10 ноября было достигнуто соглашение. Независимые пошли на некоторые уступки; отступили от своих позиций и правые. Основные пункты о Советах и об Учредительном собрании были приняты в следующей редакции:

«Политическая власть находится в руках Советов рабочих и солдатских депутатов, причем в ближайшее время в Берлине должен быть созван съезд всех Советов Германии.

Вопрос об Учредительном собрании приобретает актуальное значение только после укрепления созданных революцией условий, а потому должен быть решен впоследствии».

Маневр правых не вызывал никаких сомнений. Они принимали эти два пункта в расчете на то, что рано или поздно им удастся обуздать революцию. Нужно было всеми способами вновь завоевать доверие масс, и уже это одно оправдало бы те «жертвы», на которые шейдемановцы сейчас сознательно шли. В номере от 10 ноября «Форвертс» ясно отразил эти тайные помыслы правых. В статье «Долой братоубийственные раздоры» редакция елейным тоном воздает хвалу провидению за объединение обеих сторон. «Недопустимо, чтобы какой бы то ни было вождь (камень в огород Либкнехта. *И. Б.*) осмелился помешать этому стихийному объединению. Если среди вождей имеются такие, вместе с которыми провести объединение невозможно, то пусть оно будет проведено без них... Вам протянута братская рука — не отклоняйте ее!» [1]).

Нужно сказать, что «Форвертс» не просчитался. Правда, «Роте Фане», тогдашний орган спартаковцев, выступило в тот же день с разоблачительной статьей. «Недопустимо, — писалось в этой статье, — чтобы какой бы то ни было «Шейдеман» сидел в правительстве; недопустимо, чтобы в состав правительства вошли настоящие социалисты, пока там останется еще хотя бы только один правительственный социалист. Не может быть ничего общего с теми, кто предавал нас в течение четырех долгих лет. Долой капитализм и его агентов!»

Вечером 10 ноября в цирке Буша состоялось первое заседание Берлинского совета рабочих и солдатских депутатов. Несмотря на то, что социал-демократическая партия большинства, выражаясь стилем Эмиля Барта, «мошенничала позорнейшим образом» и «представители ее приводили в цирк сотни людей, не имевших никаких депутатских полномочий», заседание прошло под знаком большого радикализма. Избрав Исполнитель-

[1]) «Не всякое «единение», — писал Либкнехт, как бы отвечая «Форвертсу», — делает сильным. Единение огня и воды гасит огонь и превращает воду в пар... единение между пролетариатом и господствующими классами губит пролетариат... Единение с предателями равносильно поражению... Связать противоборствующие друг другу силы — значит ослабить их» (статья «Новый гражданский мир». См. сборник «К. Либкнехт. Его жизнь и борьба», изд. «Мол. гвардия», 1926 г.).

ный комитет, избрав Временное правительство в составе 6 народных уполномоченных (Эберта, Шейдемана, Ландсберга, Гаазе, Дитмана и Барта), Совет единогласно принял воззвание «К трудящемуся народу», которое мы считаем необходимым привести полностью [1]).

Внешнее единодушие, царившее в цирке Буша во время голосования этого воззвания, ни в какой мере не являлось показателем того, что шейдемановцы принимают все его положения безоговорочно. Лицемеры знали, что обстановка собрания исключала возможность возражений, но на следующий день они поспешили опрокинуть все решения.

Буржуазия нащупывала почву, ибо она прекрасно понимала, что с шейдемановцами не трудно столковаться. Шейдемановское правительство оставило руководство министерствами бывшим императорским вице-министрам, признало высшее военное командование, во главе с Гинденбургом, сохранило старые взаимоотношения между офицерами и солдатами, наконец, оно ни словом не обмолвилось об экономических мероприятиях, логически вытекающих из содержания революции. Словом, старая государственная машина целиком была сохра-

---

[1]) «Трудящемуся народу.

Старой Германии больше нет. Народ понял, что в течение ряда лет он был окутан паутиной лжи. Столь прославленный милитаризм, который ставили в пример как образец для подражания всему миру, потерпел крах. Начавшаяся в Киле революция победной поступью прошла по всей стране и завершилась успехом. Династия поплатилась своим существованием. Власть у носителей короны отнята. Германия стала республикой, социалистической республикой. Стены тюрем, арестных домов, каторги сейчас же раскрылись для приговоренных и арестованных по политическим и военным делам. Теперь носитель политической власти — Совет рабочих и солдатских депутатов. Во всех гарнизонах, в которых еще не избраны Советы рабочих и солдатских депутатов, эти Советы будут быстро созданы. В деревнях с такой же целью будут созданы Советы крестьянских депутатов. Задача Временного правительства, утвержденного Берлинским советом рабочих и солдатских депутатов, будет состоять в том, чтобы заключить перемирие и положить конец кровавой бойне. Немедленный мир является лозунгом революции. Каков бы ни был мир, он все же лучше продолжения этой массовой чудовищной бойни.

При нынешней социальной структуре Германии и зрелости ее хозяйственной и политической организации возможно быстрое и последовательное обобществление капиталистических средств производства без сильных потрясений.

Оно необходимо для того, чтобы предохранить народные массы от экономического порабощения и от гибели культуры.

К сотрудничеству привлечены все работники физического и умственного труда, проникнутые этой идеей и искренно стремящиеся к ее осуществлению.

Совет рабочих и солдатских депутатов преисполнен уверенности, что во всем мире подготовляется переворот в том же духе. Он уверенно ожидает, что пролетариат других стран приложит все свои силы, чтобы воспрепятствовать насилию над немецким народом при заключении мира. С восхищением смотрит он на русских рабочих и солдат, идущих впереди по пути революции; он гордится тем, что немецкие рабочие последовали их примеру и этим оправдали старую славу передовых борцов Интернационала. Он шлет русским рабочим и солдатам свой братский привет.

Он постановляет, чтобы немецкое республиканское правительство немедленно вошло в международные сношения с русским правительством, и ждет появления русского представительства в Берлине. Германия страшно опустошена ужаснейшей войной, длившейся четыре года. Незаменимые духовные и материальные ценности уничтожены. Создание новой жизни в атмосфере опустошения и разрухи является колоссальной задачей.

Совет рабочих и солдатских депутатов сознает, что революционная власть не в состоянии одним ударом исправить ошибки и преступления старого режима и имущих классов. Он сознает, что не сможет немедленно создать блестящие условия существования для масс. Но эта революционная власть является единственной, которая в состоянии спасти то, что возможно спасти. Только социалистическая республика в состоянии развязать силы интернационального социализма, которые смогут добиться длительного демократического мира.

Да здравствует немецкая социалистическая республика!»

Интересный штрих: это воззвание на следующий день было опубликовано во всей буржуазной прессе, — «Форвертс» его не напечатал.

нена, а там, где появились трещины — все тщательно замазывалось [1]).

При таком положении для контрреволюции сразу открывались большие перспективы. Уже 14 ноября в «Berliner Tageblat» появилось интервью руководителя министерства внутренних дел демократа Пройса, сводившееся, во-первых, к отрицанию «закономерности революции», а, во-вторых, к призыву буржуазии «не склонять безвольно голову перед новыми властями». Но никто из народных уполномоченных не придал значения этому выступлению. «Форвертс», наоборот, аршинными буквами сообщал о том, что «программа имперского кабинета (т. е. контрреволюционеров Пройсов, Зольфов, Шойхов и шейдемановцев. *И. Б.*), короче говоря, является истинной социал-демократической программой».

«На местах» положение было нисколько не лучше, чем «в центре». Советы сразу же были отодвинуты на задний план, причем почти все местные «социалистические» правительства с какой-то исключительной заботливостью продолжали охранять основы недавно свергнутого строя. В больших городах господами положения являлись городские самоуправления, избранные на основе цензовых привилегий, а Советам были навязаны функции какого-то мифического контроля; в маленьких же городах (не говоря уже о деревнях) Советы в первые дни революции совсем не были созданы, и лишь впоследствии организовалось нечто подобное Советам, в которых преобладала мелкая буржуазия, кулачество, а то и помещичьи управляющие. В Баварии, где руководство революционным движением сосредоточено было в руках независимого социалиста Курта Эйснера, человека, стоявшего на много голов выше своих единомышленников, права Советов все же не выходили за пределы совещательных органов при правительстве или местных властях, хотя при этом указывалось, что Советы все же «должны будут определять руководящие линии нового государства» (из программы баварского правительства, опубликованной 15 ноября).

Точно так же обстояло дело в Саксонии. Центральный Совет рабочих и солдатских депутатов в Дрездене, провозгласив Саксонию социалистической республикой, поручил «королевскому» министерству продолжать временно управление страной и одновременно назначил новые выборы в ландтаг «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права для мужчин и женщин». Правда, 15 ноября королевские министры были отставлены и их заменили социалисты, составившие правительство на паритетных началах. Но и последние «в полном составе» не замедлили ввести права Советов «в надлежащие рамки». Последним предоставлялось право контроля «отдельных административных учреждений по проведению ими распоряжений, исходящих от центральных учреждений». В общем, участие Советов в работах местных правительственных органов признавалось «желательным, но не необходимым».

Такое же «почетное» место было отведено Советам и в Вюртемберге. Штутгартские социал-демократы (в том числе и независимые) во главе с Блосом и Криспином сразу поставили все точки над i, дабы не было никаких сомнений. «Советы рабочих и солдатских депутатов, — читаем мы

---

[1]) Как далека эта политика от того, что всю жизнь проповедывал Маркс и что в 1917 г. было осуществлено на деле большевиками под руководством Ленина!.. Вот как Маркс, в письме к своему другу Кугельману, определял в 1871 г. задачи революции и революционеров:

«Не передать из одних рук в другие бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее, и именно таково предварительное условие всякой действительной народной революции на континенте. Как раз в том и состоит попытка наших геройских парижских товарищей (членов Парижской Коммммуны. *И. Б.*)».

в одной из резолюций, принятой в те дни на народном собрании, организованном штутгартскими социал-демократами, — являются органами нового народного правительства (т. е. органами контроля и наблюдения. *И. Б.*). Переход от капиталистического способа производства к социалистическому будет произведен не насилием, но путем просвещения и воспитания народа в духе социалистического мировоззрения и международного соглашения. Образование Красной гвардии и диктатура как средство борьбы — отклоняются». Программа, как видим, краткая и ясная.

Так было везде, во всех уголках Германии. Мы остановились на моменте организации Советов в различных частях страны, потому что уже на первом этапе их существования вокруг них загорелся жесточайший спор, который вскоре неизбежно должен был перейти в настоящий конфликт.

«Учредительное собрание или власть Советов», «демократия или диктатура» — вот те два основных положения, которые уже неделю спустя после переворота владели умами всей Германии.

«Мы твердо решили созвать Учредительное собрание», — сообщал Эберт 14 ноября в специальной беседе с представителем буржуазной газеты «Vossische Zeitung». Этим заявлением была открыта кампания против Советов.

Социал-демократическая партия в одном из массовых воззваний решительно заявляла о том, что Советы рабочих и солдатских депутатов уже выполнили свою политическую функцию и теперь очередь только за Учредительным собранием.

«Советы рабочих и солдатских депутатов были временными мостами, необходимыми во время разгара борьбы. Мы должны были перебраться через поток, чтобы овладеть старой феодальной крепостью монархизма и юнкерства. Для этой боевой цели такой временный мост был необходим... Но это вовсе не значит, что мы должны оставлять мост навсегда. Неужели же мы должны теперь отказаться от постройки солидного, крепкого пути через поток?

Наша наука, наш идеал, наше политическое сознание и современное положение Германии, — все это вместе взятое требует немедленного созыва Учредительного собрания. Тот, кто противится его созыву, тот без всякой необходимости стремится к убийствам, без всякой необходимости желает шагать через трупы и прежде всего через труп свободы».

Центристы, т. е. независимые, и в этом вопросе нашли среднюю линию. В специальном воззвании они заявляли, что «в силу революционного права политическая власть принадлежит Советам рабочих и солдатских депутатов», причем этой властью правительство может располагать лишь постольку, поскольку оно пользуется доверием Советов. Но, «чтобы на развалинах старого расцвела новая жизнь, чтобы германская республика получила социалистическое содержание», необходим созыв Учредительного собрания.

«Они подобно хитрому фермеру хотят впрячь лошадей позади телеги, — так определяла Роза Люксембург эту центристскую позицию. — Они желают сначала диктатуры и немножечко социализма, затем отказа пролетариата от власти и передачи в руки парламента основного дела социализации» (статья «Они уже угрожают» в «Роте Фане» от 6 декабря 1918 г.).

«Шейдемановцы и каутскианцы — писал В. И. Ленин в 1919 г., — (частью по лицемерию, частью по крайней тупости, воспитанной десятилетиями реформистской работы) подкрашивают буржуазную демократию, буржуазный парламентаризм, буржуазную республику,

изображая дело так, будто капиталисты решают государственные дела волей большинства, а не волей капитала, не средствами обмана, гнета, насилия богачей над бедняками» [1]).

Спартаковцы еще задолго до ноябрьских событий выявили свою точку зрения на революцию. Вся власть Советам, вооружение народа, уничтожение рейхстага и всех буржуазных представительных органов, социализация всех средств производства и т. д. Спартаковцы подтвердили все свои принципиальные положения в первые же дни революции в особом воззвании, причем дополнили его одним существенным пунктом, в котором Совету народных уполномоченных выражалось недоверие и требовалась передача правительственной власти впредь до созыва общегерманского Съезда советов в руки Берлинского совета рабочих и солдатских депутатов. Задачи революции прекрасно сформулировала Роза Люксембург в «Роте Фане» от 18 ноября [2]):

«Уничтожение господства капитала, осуществление социалистического общественного порядка,— вот что является исторической задачей современной революции.

Цели революции ясно определяют ее пути. Задачи обуславливают ее методы. Руководящая линия поведения при всех мероприятиях революционного правительства должна быть такова: вся власть трудящимся, вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов, обеспечение революционных завоеваний от притаившихся врагов...»

В этих кратких формулировках был определен весь смысл революции. Только Советы — эти единственные организаторы и руководящие центры рабочего класса — могут привести к победе. «Учредительное же собрание является средством обмануть пролетариат и лишить его могущества, парализовать его революционную классовую энергию, навести туман на его социалистические конечные идеалы» (из другой статьи Р. Люксембург в «Роте Фане» от 29 ноября).

Эти же положения неустанно развивал в своих выступлениях и Карл Либкнехт. В статье «Новый гражданский мир», опубликованной 19 ноября 1918 г., Либкнехт раскрывал точный смысл лозунга «единение нации» под знаменем Учредительного собрания, выброшенного в массы социал-демократией. «Апостолы единения,—писал он,—уже сегодня хотят ликвидировать революцию, едва начавшуюся. Они хотят ввести движение в спокойное русло, чтобы спасти капиталистическое общество... Они нападают на нас, потому что мы становимся им здесь поперек дороги, потому что мы честно и серьезно думаем об освобождении рабочего класса, о мировой социалистической революции». И с ними, конечно, не может быть единения. «С ними возможна только борьба».

Но спартаковцы пока оставались в меньшинстве. Когда на общем собрании членов Берлинской организации независимых, состоявшемся 15 декабря, был поставлен на голосование вопрос об отношении организации к Советам и к Учредительному собранию («за или против социализма, за или против Учредительного собрания, — третьего решения не может быть» — так от имени спартаковцев ставила вопрос Роза Люксембург), большинство (485 голосов) получила резолюция Гильфердинга; резолюция же Розы Люксембург собрала только 195 голосов и была отвергнута. Это голосование послужило прямым указанием на то, что спартаковцам

[1]) Собр. соч., т. XVI, стр. 334.

[2]) Это фактически был первый номер газеты, как центрального органа союза «Спартак».

следовало положить конец организационному единству с независимыми. Пути их окончательно разошлись. И 30 декабря 1918 г. спартаковцы оформились в самостоятельную «Германскую коммунистическую партию».

V.

Атмосфера накалялась с каждым днем все больше и больше. Буржуазия, основываясь на благожелательном к себе отношении правительства, уже готова была дать бой по всем вопросам, выдвинутым революцией на первый план. Проповедуя «широкую демократию», она совершенно недвусмысленно пыталась завоевать себе в этой «демократии» одно из руководящих мест.

«Мы торжественно требуем уважения и равноправия для наших принципов», — заявляла бывшая «фракция центра рейхстага» в своем воззвании от 13 ноября. Буржуазия считала, что вполне достаточно признания «совершившегося факта» для возвращения им их прежнего положения. «Мы желаем — принять участие в работе, поддержать правительство и разбудить таящиеся в буржуазии силы», — торжественно заявил 19 ноября директор Ганзейского общества Келер. «Буржуазия не должна и не хочет (?!) превратиться в авангард реакционных стремлений, она желает итти рука об руку с новыми силами, но она желает быть не мальчиком на побегушках, а равноправным товарищем по работе». Эти строки принадлежат буржуазному профессору Пройсу, о котором мы уже упоминали выше. Словом, они готовы были «разделить судьбу революции», но только на равных началах.

Но это были одни слова. Это были пустые обещания, наводящие туман и позволяющие путем усыпления бдительности масс надлежаще подготовиться. Достаточно было буржуазии узнать о назначении (о назначении только!) «Комиссии по социализации», как во всей ее прессе поднялся форменный вой. Вот что писал орган крайней правой буржуазии «Deutsche Tageszeitung» на следующий день (19 ноября):

«Если подобное категорическое сообщение соответствует действительности, то обещание, данное Ландсбергом представителям прессы, что правительство не будет производить никаких хозяйственных экспериментов в это промежуточное время, пока Учредительное собрание не установит окончательного государственного строя, — это обещание было сдержано лишь в течение 48 часов. Итак, в это переходное время будут произведены рискованнейшие эксперименты... Мы еще раз настойчиво предостерегаем правительство от дальнейшего следования по этому пути, который неизбежно приведет к гибели. Мы предостерегаем его самым серьезным образом, ссылаясь на слова товарища Каутского, что социалистические эксперименты в настоящее время демобилизации превратили бы Германию в сумасшедший дом».

Буржуазия угрожала. Это было ее первое серьезное предупреждение. «Deutsche Tageszeitung», кстати сказать, ничуть не искажало положение вещей. Каутский, в своем «напутствии» Комиссии по социализации, действительно развил ту мысль, на которую газета ссылалась. И не один только Каутский говорил в таком духе. Продажнейший из «вождей» германского профдвижения Коген заявил, что «для рабочего класса не может быть худшего несчастья, как если буржуазное общество в одно прекрасное время предоставит ему урегулирование всех этих вопросов, прежде чем рабочий класс будет достаточно подготовлен к этому» [1]).

[1]) Р. Мюллер, Мировая война и германская революция, изд. «Недра», М. 1925 г., т. II, стр. 138.

Но орган правительства «Форвертс» поспешил успокоить взволнованную буржуазию. «Нечего беспокоиться, — писала газета, — никто не пострадает». «Каждый может спокойно приняться за работу, которой он занимался до войны, с уверенностью, что он не пострадает». И этого было вполне достаточно, чтобы газета «National Zeitung» заявила в те дни, что «самые тяжелые беспокойства биржи — опасность большевизма, а также опасность полной социализации промышленности — в настоящее время совершенно устранены».

Здесь уместно остановиться на возникших отношениях республиканской Германии к Советской России. 18 ноября Совет народных уполномоченных обсуждал этот вопрос в присутствии Каутского и докладчика по русским делам Надольного. В итоге обсуждения было принято решение «обороняться от русской пропаганды, а в то же время сохранять мирные отношения с советским правительством». Но для этого постановлено было потребовать признания «нынешнего германского правительства». Вопрос же о возвращении советского посла Иоффе, высланного накануне из Берлина (как известно, Иоффе был задержан в Минске), был оставлен открытым. Шейдемановцы боялись, как бы присутствие советского посла, помимо всего прочего, не повлияло на ход мирных переговоров с Антантой.

Каутский в этом вопросе был «при особом мнении». Он высказывался против каких бы то ни было связей с Советской Россией». С большевиками, — говорил он в заседании Совета народных уполномоченных 27 декабря, — надо быть очень осторожными, потому что они пробовали подорвать возможность мирного договора Германии с Антантой».

Правительство, как видим, и не думало выполнять постановление Совета рабочих и солдатских депутатов о немедленном возобновлении сношений с советским правительством.

VI.

На 16 декабря был назначен Всегерманский съезд советов. К нему усиленно готовились. На этом съезде социал-предатели рассчитывали сыграть «последнюю и решительную» партию с своими противниками слева. Но 6 декабря в Берлине была произведена первая попытка контрреволюционного переворота. История этого дня еще недостаточно освещена, но если обобщить различные описания событий 6 декабря, то станет ясно, что за этим, казалось бы, простым солдатским бунтом скрывалась глубокая попытка решительным ударом смести с лица Германии Советы и все революционные завоевания.

6 декабря был арестован Исполнительный комитет Берлинского совета, Эберт был провозглашен президентом республики, а на улице Инвалидов отрядом правительственных войск была расстреляна демонстрация рабочих, протестовавшая против контрреволюционной политики шейдемановцев. Руководство событиями этого дня исходило из Совета народных уполномоченных, причем одну из первых скрипок в этом руководстве играл шейдемановец Ландсберг. Он, Эберт и Шейдеман рассчитывали одним ударом проделать весь этот переворот, разделаться с Советами и с спартаковцами, выбросить из состава Совета народных уполномоченных колеблющихся, составить «новое социалистическое правительство» во главе с президентом Эбертом, объявить срок выборов в Национальное (Учредительное) собрание и поставить предстоящий съезд советов перед совершившимся фактом.

Однако «Форвертс» на следующий же день невинно заявил, что вся ответственность за события падает на спартаковцев, вызвавших якобы всеобщее недовольство и озлобление гарнизона своим отношением к вопросу об Учредительном собрании. Не стоило, конечно, никакого труда опровергнуть эту ложь. Достаточно было обратить внимание на такой факт, как «случайное» обнаружение под Берлином целой дивизии стрелков под командой генерала Лекиса, чтобы понять, что к перевороту была привлечена и контрреволюционная военщина, жаждавшая только одного — избавиться от ненавистных Советов (дивизия Лекиса, не имевшая в своем составе ни одного солдатского Совета, первым делом сорвала во всех местах своего расположения все красные флаги: этот цвет раздражал «надежные республиканские войска», как аттестовал их Эберт).

Впоследствии и Эберт, и Шейдеман, и Ландсберг долго выпутывались из этой истории. Но это была совершенно бесплодная работа: их руководящая роль в этой неудавшейся попытке была очевидна. И совершенно правы были спартаковцы, когда в своем воззвании, выпущенном 7 декабря, писали:

«Эти преступники — Вельс [1]) и товарищи, Шейдеман, Эберт и К°, они в течение нескольких недель натравливают солдат, защищают все контрреволюционные элементы, ведут систематическую травлю против Союза Спартака, вербуют белую гвардию из числа унтер-офицеров и создали настоящую погромную атмосферу, раздувая страх своим пугалом «большевизм».

Рабочие! Солдаты! Товарищи! Революция — в опасности! Спасайте, спасайте ваше дело 9 ноября... Прогоните из правительства настоящих виновников, подлых погромщиков, искусителей несознательных темных солдатских масс: долой Вельсов, Эбертов и Шейдеманов с товарищами!..»

«Вы — позорное пятно революции!» — бросил старик Ледебур в лицо Эберту и его соратникам спустя несколько дней, на съезде Советов. И шейдемановцы молча приняли этот эпитет к сведению,— другого они не заслужили...

Если ход событий 6 декабря привел в движение рабочие массы, то в не меньшей степени была возбуждена и контрреволюция. На этот раз первой заговорила военщина, которая, ссылаясь на правительство, совершенно открыто выступила против Советов.

В одном из приказов по 17-й армии (20 ноября) буквально заявлялось, что «господин генерал-фельдмаршал (т. е. Гинденбург. *И. Б.*) заявил, что главная ставка намерена итти рука об руку с имперским канцлером (?) Эбертом, представителем умеренной социалистической партии, чтобы предупредить распространение террористического большевизма в Германии. Это распространение должно быть подавлено» [2]). Командующий 11-й армией издал «строго секретный приказ», согласно которому поручалось сформировать дивизию с «вполне надежным» составом. В Рейнской области генерал

---

[1]) Вельс был военным комендантом г. Берлина. Его непосредственное участие в событиях 6 декабря подтвердилось многими распоряжениями с его подписями, обнаруженными у ряда арестованных контрреволюционеров. Вельс и тогда и теперь — член ЦК с.-д. партии.

[2]) Наличие соглашения между Эбертом и высшим командованием подтверждают судебные показания активного участника контрреволюции генерала Гренера по одному делу, связанному с ноябрьской революцией, опубликованные в октябре 1925 г. в газ. «Vossische Zeitung». Вот, что Гренер, между прочим, сообщил суду: «Я посоветовал маршалу не бороться против революции с оружием в руках... а заключить союз с социал-демократами большинства (шейдемановцами)». См. Карл Радек, Портреты и памфлеты, Гиз, 1927 г., стр. 265.

Эберхардт жестоко расправился с местными Советами рабочих и солдатских депутатов. Командующий 4-й армией генерал Сикст фон-Арним в приказе от 25 ноября предлагал жителям Аахена в день вступления его войск в город убрать все красные флаги, а генерал Лекис настойчиво требовал от Совета народных уполномоченных перевода его дивизии в Берлин для несения охранной службы. Лекис при этом клялся в верности правительству, но требовал «верность за верность», т. е. предоставить ему возможность «навести порядок».

Носке, хозяйничавший в Киле, один из первых развязал контрреволюционную инициативу военщины. Его «железная бригада», сформированная из унтер-офицеров и морских офицеров, была первым вооруженным отрядом, призванным при надобности потопить революцию в крови ее защитников. «Железная бригада» могла гордиться своим положением; ее шефом был шейдемановский ЦК, ее органом — «Форвертс», а идейным и фактическим руководителем — социал-демократ Густав Носке.

10 декабря Эберт и К°, наконец, почувствовали некоторое облегчение. В Берлин вошли фронтовые войска, которые тотчас же принесли присягу на верность единой германской республике (но не социалистической) и ее Временному правительству. Через 4 дня был распубликован приказ, требовавший от граждан немедленно сдать имеющееся у них оружие. Правительство сделало первую попытку обезоружить рабочие массы, обезоружить спартаковцев, этих фактически единственных охранителей революции, вступившей в решающую полосу.

16 декабря состоялось открытие общегерманского съезда Советов. Абсолютное большинство съезда принадлежало социал-демократам (их было 298 человек против 101 человека, объявивших себя либо независимыми, либо спартаковцами), и это уже почувствовалось при открытии первого заседания: предложение пригласить Р. Люксембург и Карла Либкнехта в качестве гостей с совещательным голосом было отвергнуто. Это постановление характерно для всей политики и тактики шейдемановцев на съезде. Они буквально шли стеной на Исполнительный комитет, о работе которого сделал доклад Р. Мюллер. В данном случае делегаты-шейдемановцы устроили просто говоря состязание «на лучшего преследователя Советов» и исступленно требовали «доверия» Эберт-Шейдемановскому правительству до скорейшего созыва Учредительного собрания. Этих партийных и профсоюзных мумий даже не смущало то обстоятельство, что, начиная с первого дня, съезд сделался притягательным центром огромных пролетарских и солдатских демонстраций, взывавших к этому верховному органу трудящихся о всемерной защите революции от посягательства контрреволюции. Они бурно аплодировали Дитманам и Ландсбергам, защищавшим Совет народных уполномоченных от нападков революционных масс; они молчали, слушая уничтожающие разоблачения делегатов Брасса и Вегмана о пассивном отношении Народных уполномоченных к нарастающей деятельности контрреволюции, местами переходившем в активное содействие (это подтвердил и выступивший Барт). Буржуазия с полным спокойствием могла следить за работами съезда, ибо ее интересы были прекрасно представлены Эберт-Шейдемановским большинством.

В одном из проектов резолюции по докладу Мюллера и Дитмана прямо заявлялось, что —

«деятельность Народных уполномоченных имела в виду систематическое уничтожение власти Советов рабочих и солдатских депутатов и, следовательно, служила укреплением контрреволюции».

Но эта резолюция была отклонена. Вместо нее была принята другая, в которой съезд постановлял немедленно принять меры к разоружению контрреволюции. Затем, в качестве дополнения к этой резолюции, было проведено предложение о передаче всей законодательной и исполнительной власти Совету народных уполномоченных впредь до урегулирования этого вопроса Учредительным собранием.

Такое решение вопроса, разумеется, предопределяло результаты обсуждения следующего кардинального вопроса—Учредительное собрание или Советы. В устах докладчика социал-демократа Когена Советы являлись порождением большевизма и тенденций к немедленной социализации, что, по его мнению, необходимо призн ть «чистым безумием». Учредительное собрание помимо того, что отражает интересы большинства и способствует «более гармоническому» разрешению всех социально-политических вопросов, для Германии означает ослабление режима победителей и смягчение тяжких условий мира. Словом, Коген приводил старую избитую аргументацию, которая заканчивалась предложением назначить выборы в Учредительное собрание на 19 января.

Деймиг, выступивший содокладчиком от имени независимых, правильно отмечал, что подобной обывательщины, которую развил Коген по вопросу об Учредительном собрании, а съезд в целом по всем вопросам, не проявлял ни один революционный парламент мира. Это филистерство превращает съезд в настоящий клуб «политических самоубийц». Что же касается вопроса по существу, то Дитман отстаивал совершенно противоположную точку зрения. Съезд принял, разумеется, предложение Когена, вопрос об учредилке также был решен в духе, желательном для социал-демократов большинства. По одному лишь вопросу — по военному — съезд не пошел по пути, предложенному Эберт-Шейдеманоецами, и принял так называемые «семь гамбургских пунктов», которые должны были внести заметную революцию во внутреннюю структуру военного аппарата и подчинить военное командование определенному контролю [1]).

Пятым заседанием, в котором был заслушан официальный доклад Гильфердинга о социализации, съезд закончил свои работы. Прения по последнему вопросу свелись к изобретению каучуковой формулы, которая позволила бы при внешне решительности в деле социализации отложить разрешение его на долгие времена. Обе стороны спорили за слова «тотчас» или «немедленно» приступить к социализации «всех созревших отраслей промышленности», но каждая из них при этом добавляла: «при условии обеспечения в Учредительном собрании социалистического большинства». Этот крупнейший вопрос, как и все вопросы, выдвинутые революцией, был похоронен в глубинах трескучих фраз центристов-независимцев, разбавленных либерально-социалистической водицей шейдемановцев.

Выбранный Центральный исполнительный комитет, состоявший исключительно из шейдемановцев (даже независимые отказались принимать участие в выборах) явился завершением той «Пирровой победы», которую шейдемановцы одержали над революцией. Последние торжественно вступали в последнюю фазу революции.

---

[1]) Гинденбург, чуть ли не на следующий день после принятия этого решения, прислал правительству «совершенно секретную, конфиденциальную» телеграмму, в которой заявлял, что не признает такое постановление, находящееся в противоречии «с заключенным мною и правительством соглашением». Как впоследствии выяснилось, Эберт действительно заключил с командованием соглашение, в силу которого самостоятельность последнего «впредь до созыва Учредительного собрания» не ограничивается. Правительство решило промолчать эту дерзость контрреволюции.

VII.

23—24 декабря в Берлине произошло вооруженное столкновение «морской народной дивизии» с правительственными войсками. Выступление обманутых правительством матросов меньше всего носило классово-револ ционный характер: они защищали, главным образом, свои материальные интересы. Но в процессе нарастания недовольства материальные причины приобрели постепенно политический характер. Матросы «морской народной дивизии», в свое время оказавшие большие услуги правительству в деле поддержания в первые дни революции порядка, впоследствии оказались отставленными. Народные уполномоченные утратили свое доверие к дивизии, большевистский состав которой внушал ему подозрения, и они решили как-нибудь избавиться от нее. И вот, в результате исключительной провокации, матросы оказались вынужденными выступить, вначале с мирными намерениями, а затем, когда Эберт вызвал против них войска генерала Лекиса [1]), с решением бороться с оружием в руках.

Провокация правительству, разумеется, удалась. Артиллерия Лекиса после ультиматума и 10-минутного срока «на размышление» заставила храбрую кучку матросов сдаться. Жертвами этой дикой расправы оказались около 30 человек убитых и большое число раненых, причем среди тех и других оказалось очень много спартаковцев, поспешивших к матросам на помощь. Матросы добились некоторого удовлетворения своих требований, но, с своей стороны, обязались не принимать никакого участия в противоправительственных выступлениях.

Но это вооруженное столкновение, как и происшедшие 24 декабря стычки войск с спартаковцами, было только началом событий. Через 4 дня после выступления морской дивизии независимые (Гаазе, Дитман и Барт) вышли из состава Совета народных уполномоченных. В своей декларации независимые подчеркивали невозможность работать в условиях полного саботажа шейдемановской тройкой революции и ее требований, в обстановке игнорирования Советов и их постановлений, в частности, постановлений съезда Советов о военном командовании. Такое положение дел развязывало руки контрреволюции, и независимые не желают брать на себя ответственность за неизбежные последствия такой политики. Характерно однако то, что, уходя из правительства, независимые апеллировали не к массам, а к Центральному исполнительному комитету, сплошь состоявшему из социал-демократического большинства. Черты центризма и здесь нашли свое полное отражение: наряду с протестами против явной контрреволюции шли искания «вполне легальных» путей для революции, которые, в конце концов, вели к той же исходной, к тому же шейдемановскому болоту.

Гаазе, Дитмана и Барта сменили «вполне надежные и верные» товарищи Шейдемана и Эберта — знаменит й Носке, Виссель и Лебе. Если последним двум не суждено было стяжать славу на славном поприще «уполномоченных» народа (Лебе сразу отказался), то на долю Носке выпала честь действовать за всех шестерых. И нужно сказать, что доверие, оказанное ему «народом», он вполне оправдал.

Конец 1918 г. знаменуется крупным пролетарским политическим событием. 30 декабря была заложена основа теперешней германской компартии в виде «коммунистической партии Германии (союз Спартак)».

---

[1]) Эберт, конечно, отрицал свое соучастие в п давлении выступления матросов. Но уже упоминавшиеся нами показания генерала Гренера подтверждают как раз то, что резня матросов была им санкционирвана. См. К. Радек, Портреты и памфлеты, стр. 265.

Мы уже говорили о назревавшем организационном расколе внутри партии независимых, в состав которых спартаковцы входили лишь формально. Либкнехт в своем докладе съезду «О кризисе в независимой с.-д. партии» показал, что пути независимых и спартаковцев окончательно разошлись. Независимая с.-д. партия с своею вечно шатающейся беспринципной тактикой центра окончательно мертва. «Раскол с ней — завет верности революции», и теперь спартаковцам пора оформиться, тем более, что их программа и тактика давным-давно уже выявлены.

Четкое оформление политических задач союз «Спартак» получил в блестящем программном докладе Розы Люксембург. Последняя с удивительной отчетливостью нарисовала путь перерождения Эберт-Шейдемановского правительства от мнимо-социалистического к подлинно-либерально-реакционному, свидетелями которого мы являемся теперь, спустя 10 лет после 9 ноября. Великие возможности, открывавшиеся перед пролетариатом, за истекшие 2 месяца уже упущены, но политика социал-демократов шейдемановского толка неизбежно ведет к обострению классовой борьбы. И теперь, по мнению Люксембург, «после слабой, половинчатой попытки масс разрушить классовое господство», перед коммунистами возникает задача медленной упорной борьбы в низах, за завоевание пролетарских масс, за оборону их существования от нападения органов буржуазного господства. Предостерегая партию от разочарования исходом первого этапа революции, Роза Люксембург подчеркивала, что трудности предстоящей борьбы диктуют необходимость сохранения и укрепления в сознании пролетариата твердого убеждения в конечной победе.

После ухода независимых шейдемановцы почувствовали определенное облегчение. Наконец-то открывалось свободное поле действия! Оставалась только неосвобожденная от руководства независимых и спартаковцев берлинская полиция, во главе которой находился Эмиль Эйхгорн. Последний и не собирался уходить с своего поста, считая, что такую командную позицию надо удержать до последней возможности.

4 января правительство отрешило Эйхгорна от должности, и этого было вполне достаточно, чтобы берлинские рабочие, возмущенные этим актом, выступили на улицу.

«Правительство Эберта-Шейдемана, — писала «Роте Фане» 5 января в специальном воззвании к рабочим, — хочет отделаться от последнего представителя революционных рабочих Берлина в правительстве для того, чтобы с бо́льшим успехом применять против них систему террора.

Рабочие! Товарищи! Не в Эйхгорне тут дело. Все затеяно для того, чтобы лишить вас последних, еще уцелевших, завоеваний революции. Выпад против берлинского полицей-президиума — выпад против всего германского пролетариата, против всей германской революции».

Несмотря на то, что Либкнехт, Люксембург и другие руководители коммунистической партии сознавали всю тяжесть положения и считали момент для решительного выступления неподходящим, они, увидев, что движение приобретает грозные формы, встали во главе его (был образован Революционный комитет) и постарались придать ему организованный характер.

Целую неделю длилось это восстание. Правительство выступило во всеоружии. Густав Носке взял на себя руководство подавлением восстания. «Надо же было кому-нибудь принять на себя роль кровавой собаки» — признается Носке в своих записках «От Киля до Каппа», и нужно сказать, что он оказался на высоте положения. Совместно с монархическим офицерством и деклассированной солдатчиной, специально им подобранной, Носке через неделю по трупам рабочих въехал на белом коне в Берлин.

Цветы, восторженные овации, благодарственные письма — это был, конечно, первый дар победителям, которые, не удовлетворившись избиением в течение недели, продолжали долгое время спустя свою кровавую экзекуцию.

16 января пособниками Носке (обер-лейтенантом Фогелем, солдатом Рунге и др. офицерами) были убиты Роза Люксембург и К. Либкнехт. Враг знал, куда он метил. Он попал в ум и сердце германского пролетариата. Правда, контрреволюция думала этим зверским актом убить движение, но она ошиблась: движение получило новый стимул к существованию и упорной борьбе.

Революция подходила к своему концу. Пролетариат с героическим мужеством, с большими жертвами продолжает борьбу, но он не в состоянии отразить наступление белогвардейских банд, руководимых Носке. «Зверь буржуазного порядка мечется в бешеной ярости. Он мстит за то, что для него самое святое: за неприкосновенность частной собственности... «Долой Спартака!» кричат теперь все, для кого революция является страшным судом» (Клара Цеткин).

Национальное собрание одним из первых своих актов обезглавило Советы. Февральско-мартовские «революционные» речи, лившиеся с трибуны учредилки, были фактически похоронными речами для власти Советов в Германии [1]). Но наступление реакции все же не в силах окончательно убить «гидру революции». Черпая новые силы в гуще пролетарских масс, революция вновь озаряет на мгновения, на короткие периоды всю Германию и наводит страх на трусливый союз социалистов и буржуазии. Забастовочная волна, последовавшая тотчас же после подавления январского восстания, разлившаяся по всей Германии, рождает новое пролетарское восстание, так называемое мартовское восстание, которое с невероятной жестокостью подавляется германским Галифэ — социал-демократом Носке. В эти февральско-мартовские дни пролетариат еще раз понес большие жертвы. Заодно с тысячами убитых, расстрелянных и загнанных на каторгу пали вожди движения — престарелый Франц Меринг и Лео Иогихес.

В мае загораются последние зарницы революции. Баварская Советская республика — последний мираж уходящей революции. Но это была только зарница, короткий революционный период пребывания у власти баварского пролетариата заканчивается потрясающей трагедией [2]).

Германия пошла «демократическими путями», путями, устланными тысячами трупов пролетариев, которые в голоде и нищете падали под непосильным бременем военного и революционного поражений. Социал-демократия торжествовала: «толстый Фриц» сел на место Вильгельма II — Эберт «получил из рук народа» звание президента германской республики.

* * *

---

[1]) В апреле 1919 г. собрался 2-й всегерманский съезд Советов, но он по своему составу (130 с.-д., 55 независимых и 1 коммунист) и по содержанию его работ превратился в настоящую комедию.

[2]) За неделю с 30 апреля по 6 мая в Мюнхене были убиты 557 человек, ранены 303 чел. и расстреляны по приговорам военных судов 186 человек. Из общего числа убитых только 145 человек пали в бою; остальные — жертвы кровавой расправы.

«Усмиритель» Баварской Советской республики генерал фон-Овен удостоился следующей телеграммы Носке: «За осмотрительное и успешное руководство операциями в Мюнхене выражаю вам свое полное признание, а войскам сердечную благодарность за их усердие. Верховный главнокомандующий Носке». Баварской Сов. республике посвящена интересная работа под тем же названием П. Вернера (изд. «Красная новь», М. 1924 г.).

Созывом Национального собрания и подавлением мартовского восстания в Берлине и Советской республики в Баварии заканчивается первая фаза германской революции.

Чрезвычайно четкую и исчерпывающую характеристику ноябрьской революции дала Роза Люксембург в своей речи на Учредительном съезде германской компартии:

«9 ноября произошла революция, пришедшая после 4 лет войны — четырех лет, во время которых германский пролетариат... проявил в такой мере позорное непонимание своих социалистических задач, как ни в одной стране. Стоя на точке зрения исторического развития, — а мы, как марксисты и социалисты, придерживаемся именно этой точки зрения, — нельзя было ожидать, чтобы в Германии, породившей позорные события 4 августа и последовавших затем 4 лет, вдруг 9 ноября 1918 г. возникла великолепная революция на основе классового сознания и верного понимания предстоящих задач. То, что мы пережили 9 ноября, является в гораздо большей степени крушением империализма, чем победой нового принципа» [1]).

Ноябрьская революция не была пролетарской революцией, но она не может быть названа в полной мере буржуазной революцией, несмотря на наличие в ней многих черт, общих буржуазным революциям 1830 и 1848 гг. Ноябрьская революция обрела свою опору только в мелкой либеральствующей буржуазии, в верхушечных слоях социал-демократического и профсоюзного движения Германии. Но, будучи чуждой пролетариату, ноябрьская революция все же является поучительным этапом, поднимающим его классовое сознание на более высокую ступень и приближающим рабочий класс Германии к решающему моменту борьбы — ко второму, на этот раз пролетарскому, ноябрю.

---

[1]) Redner der Revolution. Rosa Luxemburg. Речь «Von Unten auf», стр. 107, Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1928.

Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга.

(По неопубликованным архивным материалам).

Ф. Раскольников.

Самая ранняя пьеса Л. Н. Толстого «Власть тьмы» была написана в октябре — ноябре 1886 года и тогда же отправлена в царскую цензуру через артистку М. Г. Савину, желавшую поставить пьесу в день своего бенефиса в Александринском театре. 2 января 1887 года Толстой, проживавший тогда в Москве, получил от артистки М. Г. Савиной неожиданную телеграмму, что его пьеса цензурой запрещена как для печати, так и для постановки. Такое нелепое решение цензурного ведомства вызвало полное недоумение среди всех знакомых с пьесой, в первую очередь в семье Толстого. Жена писателя — С. А. Толстая — в своих воспоминаниях рассказывает:

«По этому поводу я написала недоумевающее письмо начальнику по делам печати Феоктистову, который мне ответил длинным письмом, объясняя, что в «Власти тьмы» цинизм выражений, невозможные для нерв сцены и т. п.» [1]).

Конечно, такие казенные объяснения, выраженные в слишком общей форме, были совершенно неубедительны. Официальная отписка цензурного бюрократа способствовала лишь усилению негодования. Легко представить себе настроение С. А. Толстой, когда она пишет: «Во мне кипела злоба, хотелось ехать в Петербург воевать». Конечно, «война» на деле ограничилась бы смиренным обиванием порогов высокопоставленных родственников и знакомых и униженной мольбой о снятии цензурного запрета. Но в тот момент она была заражена негодованием. Были нажаты все кнопки, использованы все связи. Казалось, обстоятельства складывались благоприятно для первого драматургического опыта Льва Толстого. Верхи правящего класса заинтересовались его новой пьесой. Никто иной, как верховный цензор царской деспотии — Александр III, «всемилостивейше соизволил» присутствовать на читке пьесы «Власть тьмы».

Эта читка состоялась 27 января 1887 года на квартире министра двора Воронцова-Дашкова. Как и подобает лицу, желающему играть эффектную роль высокого мецената искусств, все оценки и реплики глуповатого Александра во время слушания пьесы были исключительно благожелательны к автору. «Солдат всегда во всех творениях Толстого поразительно хорош», выразился он по поводу Митрича, очевидно, воскрешая в своей памяти идеальный для царского режима образ Платона Каратаева.

---

[1]) Воспоминания С. А. Толстой («Власть тьмы»), — «Толстовский ежегодник» 1912 г., стр. 18.

«После конца 5-го действия, — пишет читавший пьесу Стахович, — все долго молчали, пока не раздался голос государя: «Чудная вещь»» [1]).

Принципиально одобрив пьесу, Александр едва не стал распределять роли. По крайней мере он заявил, что одна петербургская труппа не в состоянии как следует сыграть эту пьесу, и для ее представления нужно будет соединить с ней труппу Московского М лого театра. Мало того, он намеревался прибыть на последнюю репетицию, чтобы лично проверить трактовку пьесы и доброкачественность актерского исполнения. Одним словом, он хотел довести свою роль цензора до конца.

Казалось, все цензурные рогатки и барьеры были преодолены. Действительно, 3 февраля Толстая была уведомлена, что «решено репетировать драму и сам будет на генеральной репетиции».

Полным ходом началась подготовка разрешенной пьесы, были заказаны костюмы и декорации, актеры усиленно репетировали «Власть тьмы». Оставалось ждать лишь просмотра пьесы коронованным цензором. Но не тут-то было! Внезапно с этой злополучной пьесой стряслась новая беда.

«А. Потехин писал мне 12 марта, — сообщает С. А. Толстая, — что ходят слухи о запрещении «Власти тьмы», и очень звал меня на генеральную репетицию, надеясь, что мое присутствие будет полезно в цензурном отношении» [2]).

Наконец 22 марта того же рокового 1887 года Потехин прислал письмо, как громом сразившее Толстого: ««Власть тьмы» срепетирована, декорации, костюмы все готовы, и вдруг запретили ее играть через министерство двора... Все актеры ужасно огорчены...» [3]).

Запрещение пришло через министерство двора. Это значит, что оно исходило от царя. Как же объяснить такое вопиющее противоречие? Ведь царь лично прослушал пьесу, одобрил ее, нашел, что она «чудная вещь», разрешил ставить, обещал приехать на просмотровую репетицию, а когда все уже было готово, когда театр истратил на постановку немало труда и денег, тот же самый царь запретил ее.

В чем дело? Либо Александр вначале считал пьесу приемлемой, а затем изменил свою точку зрения и запретил ее, либо он с самого начала лицемерил, фальшивил, вел двойную игру.

Известно, что в течение восьмидесятых годов внутри правящей дворянской клики происходила ожесточенная борьба двух групп: одной из них, более реакционной, руководил Победоносцев, другую возглавлял великий князь Константин. Вокруг пьесы Толстого за кулисами царского двора завязалась борьба. За разрешение пьесы стояли: министр двора Воронцов-Дашков и директор императорских театров Всеволожский, за ее запрещение — обер-прокурор синода Победоносцев, министр народного просвещения Делянов и начальник главного управления по делам печати Феоктистов. 10 февраля Феоктистов, не на шутку встревоженный разрешением пьесы царем, переслал экземпляр пьесы Победоносцеву, не без основания рассчитывая найти в нем поддержку. В сопроводительном письме Феоктистов писал:

«При последнем свидании Вы изволили говорить, что не успели ознакомиться с пресловутой драмой графа Л. Толстого. Посылаю ее при сем. Она представляет особый интерес ввиду того обстоятельства, что старания некоторых господ увенчались успехом. Вчера г. Всеволожский объявил нашему цензору г. Фридбергу, что государь император приказал поставить

[1]) А. А. Стахович, Клочки воспоминаний, — «Толстовский ежегодник» 1912 г., стр. 42.

[2]) «Воспоминания С. А. Толстой», — «Толстовский ежегодник» 1912 г., стр. 20.

[3]) Там же, стр. 21.

пьесу графа Толстого на сцене императорских театров. Глубоко скорблю об этом, но никак не могу изменить свое мнение о ней» [1].

Несмотря на свою занятость другими делами, Победоносцев в течение недели одолел пьесу. Ознакомившись с нею, он 18 февраля пишет своему коронованному корреспонденту:

«Простите, В ше Величество, что нарушаю покой ваш своими письмами, но что делать, когда душа не терпит. Я только что прочел новую драму Л. Толстого и не могу притти в себя от ужаса. А меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на императорских театрах и уже разучивают роли. Не знаю, известна ли эта книжка Вашему Величеству. Я не знаю ничего подсбного ни в какой литературе. Едва ли сам Золя дошел до такой степени грубого реализма, на какую здесь становится Толстой. Искусство писателя замечательное, — но какое унижение искусства! Какое отсутствие, — больше того: отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса!» [2].

Патетический призыв Победоносцева запретить пьесу нашел в Александре вполне сочувственный отклик. Уже на следующий день — 19 февраля — он спешит успокоить своего корреспондента:

«Благодарю вас, любезный Константин Петрович, за ваше письмо о драме Л. Толстого, которое я прочел с большим интересом. Драму я читал, она на меня сделала сильное впечатление, но и отвращение. Все, что вы пишете, совершенно справедливо, и могу вас успокоить, что давать ее на императорских театрах не собирались, а были толки о пробном представлении без публики, чтобы решить, возможно ли ее давать или совершенно запретить. Мое мнение и убеждение, что эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету. Грустно очень, что столь талантливый Толстой ничего лучшего не мог выбрать для своей драмы, как этот отвратительный сюжет, но написана вся пьеса мастерски и интересно. Ваш от души Александр» [3].

Таким образом победителями оказались сторонники победоносцевской линии. Но необычайно гнусно во всем этом деле поведение самого Александра. Во время читки пьесы у Воронцова-Дашкова он громко, во всеуслышание назвал «Власть тьмы» чудной вещью, а Победоносцеву пишет, что она вызвала в нем отвращение. Он успокаивает Победоносцева, что ее не собирались давать на императорских театрах, в то время как Всеволожский официально объявил о царском разрешении поставить «Власть тьмы» и уже приступил к ее постановке. Александр указывает, что ему с самого начала было ясно, что ставить «Власть тьмы» невозможно. Тогда зачем было выдвигать идею пробного представления? Неужели только для того, чтобы торжественно похоронить пьесу? Но ведь запретить ее можно было гораздо проще.

Поведение Александра изобличает явные следы виляния. На читке пьесы он держал себя неискренно, лицемерно хвалил пьесу, как и подобает всякому меценату. Повидимому, он даже готов был ее разрешить. Однако под давлением победоносцевской группы он стал на точку зрения недопустимости сценической постановки этой пьесы. «Власть тьмы», разрешенная к печатанию, была запрещена для театра. Но тем дело не кончилось.

Задача сценического воплощения этой талантливой пьесы была настолько заманчивой, что в течение долгого времени производились

---

[1]) К. П. Победоносцев, Письма и записки, т. I, Novum regnum, Гиз, М.—П. 1923 г., стр. 687.

[2]) «Письма Победоносцева к Александру III», т. II, М. 1926 г., стр. 130.

[3]) К. П. Победоносцев, Письма и записки, т. I, Novum regnum, Гиз, М.—П. 1923 г., стр. 643.

попытки приспособить «Власть тьмы» к цензурным условиям. Со стороны разных лиц и даже учреждений в царскую драматическую цензуру продолжали поступать измененные варианты этой пьесы. Так, например, в 1889 году пьесу приноровил для цензуры некий А. Морозов. На экземпляре его рукописи, представленном в главное управление по делам печати, где тогда была сосредоточена вся театральная цензура, Л. Толстой собственноручно написал: «В этом виде пьеса эта разрешается мною для представления. Лев Толстой. 25 сентября 1889 года».

5 октября того же года небезызвестный мракобес Альбединский, служивший цензором в этом реакционнейшем учреждении царизма, представил следующий доклад:

«Изменений в пьесе весьма немного: кое-где сглажена речь, опущены некоторые ругательства. Главное изменение то, что Акулина, дочь богатого мужика Петра от первого брака, которую соблазняет работник Никита, женившись на вдове Петра Анисье, в новой редакции названа «приемышем», а не дочерью. Это изменение, видимо, сделано, дабы избежать грех кровосмешения. Далее, в пятом действии Никита кается всенародно в грехах своих и поясняет, что он убил рожденного Акулиной от него ребенка, но убийство на сцене не происходит. И в настоящем виде пьеса графа Толстого производит то же тяжелое, безотрадное впечатление, как и в первоначальном. Изменения ее не изменили. Можно было допустить некоторые цензурные изменения в такой пьесе, как «Renée» Эмиля Золя, предназначенной для французской сцены, но такое попустительство не может быть мыслимо в настоящем случае. Путем печати «Власть тьмы» широко известна русской читающей и даже нечитающей публике. Она наделала слишком уже много шуму. Те незначительные изменения, на которые решился г. Морозов, повторяю, не изменяют суть пьесы и для публики будут незаметны. При разрешении «Власти тьмы» к представлению можно смело предположить, что на всех без изъятия русских сценах, в самых отдаленных и глухих местах, пьеса эта неминуемо будет даваться. Примеру парижского «Theatre libre» последуют антрепренеры всех провинциальных сцен.

Если оказалось нежелательным и неудобным распространение пьесы графа Льва Толстого путем печати, то еще более неудобно дозволить постановку ее на сцене. Никакие частичные переделки не смогут изменить ее общий характер. Цензор Альбединский» [1]).

На подлиннике этого доклада, сверху, имеется грозная надпись: «Запретить».

Такая же участь постигла переделку Литературно-артистического кружка. По поводу этой редакции в деле содержится следующее заключение цензора:

«В переделке Литературно-артистического кружка сокращено 4-е действие, выпущено все, что касается подробностей детоубийства. Исключены разглагольствования Акима о беспроцентности капитала, кроме того исключены грубые выражения, а также разговоры о необходимости окрестить ребенка и вообще все, что в первом издании оскорбляло религиозное чувство» [2]).

В эпоху жесточайшей политической реакции 80-х годов «Власть тьмы» не могла появиться на театральных подмостках. Лишь после смерти Александра III, через девять лет после представления пьесы в цензуру, 15 сентября 1895 года последовало разрешение царя на ее постановку на

---

[1]) Архив главного управления по делам печати, дело № 11, 18/1890.
[2]) Там же.

императорской сцене, о чем министр двора Фредерикс известил министра внутренних дел 20 сентября 1895 года за № 12380.

Но разрешение пьесы в императорских театрах еще далеко не означало ее повсеместного разрешения. Так, например, 25 сентября 1895 года Ф. А. Корш представил в цензуру 2 экземпляра пьесы «Власть тьмы» с просьбой о разрешении ее постановки. Но 7 октября 1895 года за № 5695 ему было в этом отказано. Хотя «Власть тьмы» уже шла на так называемой императорской сцене, но для других театров она попрежнему продолжала оставаться под строгим запретом.

С особенной зоркостью царское правительство оберегало от этой пьесы народные театры. Даже после того, как, вслед за императорскими театрами, «Власть тьмы» проникла на частные сцены, для народных театров, посещаемых рабоче-крестьянской аудиторией, она была запрещена вплоть до революции 1917 года.

29 декабря 1895 года за подписью министра внутренних дел сенатора Горемыкина был издан конфиденциальный циркуляр, в котором говорилось, что, «по имеющимся сведениям, в последнее время были попытки устраивать народные спектакли даже в деревнях с постановкою на сцене, без соблюдения установленных правил, прежде запрещенной, а ныне дозволенной для императорских и частных театров с и с к л ю ч е н и я м и драмы графа Л. Н. Толстого «Власть тьмы»». Циркуляр напоминал полиции о необходимости неуклонного исполнения законного порядка [1]).

Столь сложным перипетиям подверглось первое драматическое произведение Льва Толстого. Не менее тернист был путь его второй пьесы «Плоды просвещения», написанной в 1889 году.

В ленинградском архиве главного управления по делам печати хранится специальная папка, озаглавленная: «О снятии с репертуара пьесы «Плоды просвещения» графа Льва Николаевича Толстого».

Оказывается, с самого начала эта пьеса встретила к себе предубежденное отношение. Правда, драматическая цензура разрешила ее, но главное управление по делам печати, в ведении которого была сосредоточена вся театральная цензура, тотчас запретило ее.

Подобно предыдущей пьесе «Власть тьмы», дело снова дошло до фактического главы цензурного ведомства — цензора в короне.

26 апреля 1890 года министр внутренних дел Дурново представил царю следующий доклад:

«Пьеса графа Льва Толстого «Плоды просвещения» была одобрена драматической цензурой, не нашедшею в ней ничего предосудительного, но главное управление по делам печати приостановило ее, ввиду толков в некоторых кружках общества, будто автор намеревался осмеять в этой комедии дворянское сословие. Признано было более благоразумным выждать, какое впечатление произведет эта пьеса на публику, для которой она не могла долго оставаться тайной. В настоящее время опыт уже сделан, ибо новое драматическое произведение графа Толстого было разыграно в Москве и некоторых других городах на любительских театрах, а в газетах появились подробные о ней отчеты, причем вовсе не обнаруживается, чтобы общество усмотрело в ней злостный и оскорбительный для целого сословия памфлет. На основании сего представляется, кажется, возможным разрешить пьесу «Плоды просвещения» для сцены, тем более что запрещение, лежащее на ней, придает ей искусственно значение, какого она в сущности не заслуживает.

Статс-секретарь Дурново» [2]).

26 апреля 1890 г.

---

[1]) Архив главного управления по делам печати, дело № 11, 18/1890.

[2]) Там же.

Вверху этого доклада рукой Дурново написано решение Александра III: «Его величество изволит находить эту пьесу неудобною для сцены, на любительских же театрах она может быть разрешаема. В Гатчине 26 апреля 1890 г. Ив. Дурново».

Несмотря на то, что даже реакционнейший министр Дурново стоял за разрешение «Плодов просвещения», Александр решил запретить их для профессиональных театров. На этом основании главное управление по делам печати 28 апреля 1890 года разослало всем начальникам губерний подписанный Е. Феоктистовым циркуляр № 1867, воспрещавший постановку «Плодов просвещения» повсюду за исключением любительских спектаклей».

Ограничение постановки «Плодов просвещения» исключительно рамками любительского исполнения фактически сводило ее на-нет. И цензурное ведомство зорко следило, чтобы «Плоды просвещения» не проникли на профессиональную сцену.

Тем не менее случайные прорывы фронта иногда все же имели место. Так, например, 1 марта 1891 года «Плоды просвещения» были представлены в Харьковском драматическом театре.

Едва лишь главное управление по делам печати успело узнать об этом, как 4 марта Феоктистов послал харьковскому губернатору телеграмму с требованием немедленной высылки афиши этого спектакля. 6 марта афиша была выслана.

Но еще 5 марта харьковский вице-губернатор А. Милютин, догадываясь, ради чего Феоктистову могла понадобиться афиша, написал ему частное письмо, в котором он, признавая себя виновным в опрометчивом шаге, объяснял допущение «Плодов просвещения» тем, что эта пьеса уже давалась в публичных спектаклях в Москве и Туле; по его словам, это обстоятельство дало ему основание думать, что пьеса в последнее время разрешена, но об этом еще не получено уведомления. Раболепно «предавая себя в руки» начальника главного управления по делам печати, харьковский вице-губернатор просил Феоктистова «по возможности не придавать этому делу серьезного значения».

Инцидент повлек за собою новый циркуляр № 1254 от 11 марта 1891 г., подписанный тем же Феоктистовым:

«Циркулярным предложением г. министра внутренних дел от 28 апреля минувшего года за № 1867 воспрещено исполнение на сценах частных театров, как столичных, так и провинциальных, комедии в четырех действиях графа Льва Толстого под заглавием: «Плоды просвещения». Распоряжение это и до настоящего времени отменено не было. Между тем из имеющихся в главном управлении по делам печати сведений оказывается, что означенная комедия была представлена в одном из губернских городов профессиональными актерами с разрешения местной полицейской власти, на основании предъявленных антрепренером различных печатных рецензий об исполнении этой пьесы на любительских спектаклях. Вследствие сего главное управление по делам печати по приказанию г. министра внутренних дел считает необходимым вновь объяснить, что означенная комедия может быть допускаема к исполнению, по усмотрению гг. губернаторов, только для любительских спектаклей» [1]).

Однако уже через месяц после этого грозного циркуляра, в апреле 1891 года, в афишах императорских театров в объявлении абонементов на предстоящий театральный сезон в репертуаре Михайловского театра наряду

[1]) Там же.

с другими пьесами значились и «Плоды просвещения». Это обстоятельство привело в невероятное смущение главу цензурного ведомства. 9 апреля Феоктистов в официальном письме за № 1772 запрашивает тогдашнего директора императорских театров И. А. Всеволожского:

«Обращаюсь к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой почтить меня уведомлением, не имеется ли по сему предмету особое распоряжение, неизвестное г. министру внутренних дел, и если таковое состоялось, то разрешена ли пьеса графа Л. Толстого не на императорских только, но и на всех вообще театрах» [1]).

Предположение Феоктистова на этот раз оказалось правильным. Многострадальная пьеса Толстого в самом деле была включена в репертуар с особого разрешения министра двора, о чем Всеволожский не замедлил поставить в известность руководителя царской цензурной политики 16 апреля 1891 года отношением за № 589.

Сконфуженный таким неожиданным пассажем, Феоктистов имел по этому поводу разговор с министром двора, который обещал сообщить ему разрешение царя на представление этой пьесы в императорских театрах.

Однако цензурное ведомство такого извещения в течение всего лета 1891 г. не получило. Поэтому когда дирекция императорских театров 9 августа 1891 г. прислала в цензуру для скрепы экземпляр «Плодов просвещения», то цензурное ведомство 12 августа отказалось выдать разрешение на том основании, что пьеса Толстого запрещена по высочайшему повелению, а об отмене этого запрещения министр двора до сих пор еще не объявлял министру внутренних дел.

Наконец 21 сентября 1891 г да отношением за № 3113 министр двора Воронцов-Дашков уведомил министра внутренних дел о «высочайшем» разрешении «Плодов просвещения» только на императорских театрах. Таким образом для всех остальных театров «Плоды просвещения» продолжали оставаться под цензурным запретом. 20 октября 1891 г. «Плоды просвещения» были представлены в Екатеринославском городском театре. По этому поводу на составленном для подписи Феоктистова проекте запрашивающей телеграммы он собственноручно написал:

«Министр полагает, что теперь — после допущения этой пьесы на сцену императорских театров — нет повода запрещать ее в провинциальных (в скобках карандашом приписано: «Писать циркуляр по этому поводу, однако, г. министр не желает»). То же самое надо уведомить об этом одесского градоначальника.

Е. Феоктистов. 14 ноября 1891 г.» [2]).

Однако, несмотря на это, 25 ноября 1891 года пермскому губернатору был послан запрос о причинах разрешения в Екатеринбургском театре спектакля «Плодов просвещения».

18 января 1892 года пермский губернатор донес цензурному управлению, что екатеринбургский полицеймейстер признал свою ошибку.

7 ноября 1892 года киевский генерал-губернатор Игнатьев прислал следующую телеграмму:

«Ввиду циркуляра 1891 года № 1254 возможно ли разрешить постановку для двух — трех спектаклей на сцене Киевского частного театра комедии «Плоды просвещения»? № 16682».

На полях телеграммы карандашом написано: «Кажется, можно ответить утвердительно». Однако ответ был дан отрицательный:

[1]) Там же.
[2]) Там же.

«Киев. Генерал-губернатору. Циркуляр 28 апреля 1890 г. последовал с высочайшего соизволения, а потому исполнение на сцене комедии «Плоды просвещения» может быть разрешено только любителям. Феоктистов».

Итак, несмотря на мнение министра, что нет повода запрещать «Плоды просвещения» в провинциальных театрах и несмотря на колебания главы цензурного ведомства Феоктистова, «Плоды просвещения» оставались запрещенными для всех театров, кроме императорской сцены и любительских спектаклей. Лишь ноябрь 1893 г. явился поворотным пунктом, открывшим «Плодам просвещения» доступ на провинциальную сцену. Первым сломал лед Киев.

11 ноября 1893 года о постановке «Плодов просвещения» ходатайствовал известный киевский антрепренер Соловцов. Его просьба была доложена министру внутренних дел, который 12 ноября 1893 года разрешил поставить пьесу в Киевском театре.

Эта весть быстро облетела провинциальных антрепренеров. Ссылаясь на прецедент, уже 14 декабря 1893 года, Казанское товарищество драматических артистов ходатайствовало о разрешении «Плодов просвещения». 26 декабря эта просьба была также удовлетворена.

4 января 1894 года «Плоды просвещения» были разрешены в Смоленске, 17 января в Перми, 10 января в Орле, 11 января в Тюмени, 17 января в Нижнем-Новгороде, 18 января в Симферополе, 31 января в Новочеркасске, 17 февраля вторично в Симферополе, 22 февраля антрепренеру Струйскому в Курске, 17 марта в Николаеве и 7 марта в Таганроге.

Наконец 5 апреля 1894 года последовал общий циркуляр № 2000 о разрешении министром внутренних дел «Плодов просвещения» в столичных и провинциальных частных театрах.

Так, с огромными трудностями преодолевая цензурные препоны, проложила себе путь на сцену бессмертная комедия Толстого, представляющая собою яркий художественный памфлет на высшее дворянское общество.

В заключение сообщим цензурную историю пьесы «И свет во тьме светит». Она была представлена в цензуру уже после смерти Л. Н. Толстого. 14 февраля 1912 г. цензор драматических сочинений Толстой дал о ней следующий отзыв:

«Драма эта воплощает историю семейного разлада, происшедшего в семье самого Л. Н. Толстого. Герой его драмы, так же как и он сам, на основании своего религиозного мировоззрения, готов отречься от всех земных благ, и не покидает семьи лишь для того, чтобы не огорчить жены. Последователи учения героя драмы преследуются правительством; на сцене появляются два священника: один, подпадающий под влияние героя, другой, изображающий косность и рутинерство.

Не находя удобным делать какие-либо изменения и исключения в пьесе Л. Н. Толстого, я не нахожу возможным разрешить ее к представлению» [1]).

На этом докладе начальник главного управления по делам печати положил резолюцию: «Согласен».

Таким образом эта пьеса Л. Н. Толстого была запрещена, пребывая под запретом до самой революции.

В 1915 году И. Б. Тенеромо-Фейнерман попытался переделать пьесу применительно к требованиям цензуры. Фактически это получилась другая пьеса. Вместо пяти действий Толстого у Тенеромо вышло четыре действия. Он дал ей название «Просветление» или «И свет во тьме светит».

---

[1]) Архив главного управления по делам печати, дело № 40/915.

3 марта 1915 года тот же цензор Толстой, однофамилец великого писателя, представил своему бюрократическому начальству следующее заключение по поводу этой пьесы:

«Некий Тенеромо переделал появившуюся лишь в отрывках пьесу графа Л. Н. Толстого, запрещенную по докладу моему, копию коего при сем прилагаю.

Переделыватель исключил формальные причины запрещения, а именно: выбросил появление на сцене двух священников. Религиозных тезисов на сцене нет — лишь воспроизведение личной жизни Толстого, связанной с его уходом из семьи, остается таковым, каким является в подлиннике.

Таким образом если искажение — реставрирование произведения автора, известного всей читающей публике, не является препятствием, я полагал бы пьесу Тенеромо разрешить» [1]).

Несмотря на благожелательное отношение цензора к искаженной пьесе Толстого, она все же не была разрешена. «Воспрещаю»,— гласит резолюция начальника главного управления по делам печати на рапорте цензора Толстого. Высшее начальство в данном случае не согласилось с мнением подчиненного.

Лишь после того как Тенеромо еще раз переработал пьесу, 26 июня 1915 г. она была, наконец, разрешена и то лишь после того, как цензура произвела в ней купюры [2]).

Суровыми терниями и шипами был усеян путь русского писателя в эпоху царизма. Царская цензура зорко охраняла классовые интересы правящего дворянства. Особенно свирепствовала драматическая цензура. Художественное произведение, прошедшее сквозь цензурные заграждения и допущенное к печати, еще далеко не всегда могло увидеть свет рампы. Эффект театрального зрелища несравненно сильнее, чем впечатление печатного слова. Оппозиционные правительству произведения, кое-как просачивавшиеся в печать, почти совершенно не имели доступа на сцену Горе оппозиционному драматургу. У него не было надежды продвинуть свою пьесу в театр.

Толстой как оппозиционный царскому правительству драматург испытывал тягчайшие цензурные мытарства. Цензура была к нему особенно строга и придирчива. В глазах дворянской аристократии он был ренегат. Царско-дворянский бюрократический аппарат, включая цензурное ведомство, инстинктивно чувствовал, что Толстой отражает идеи и настроения чуждого класса. Правда, Толстой был не революционером, а непротивленцем, но его страстная обличительная проповедь, прорывающаяся даже в комедиях и драмах и отражающая настроения значительных слоев недовольного пассивно протестующего крестьянства, сильно тревожила правящий класс царской деспотии.

Дело дошло до того, что когда, например, артист Александринского театра г. Ге в 1901 году представил в цензуру безобидную переделку романа Толстого «Воскресение», тщательно вытравив из него все социально-общественное содержание и сведя всю пьесу к личной романической интриге благородно-страдающего князя Нехлюдова, то дело дошло до министра внутренних дел Сипягина, который категорически приказал вообще не разрешать к представлению на сцене никаких переделок для театра из романа Толстого «Воскресение». 22 января 1904 года цензурное ведомство,

---

[1]) Там же.

[2]) В «Красной газете» № 5/1009 (веч. вып.) от 6 января 1926 г. Д. Л. опубликовал некоторые отрывки из приводимых выше архивных документов.

признав возможным отменить резолюцию Сипягина, вошло с соответствующим представлением к министру внутренних дел Плеве, но тот оставил в силе распоряжение своего предшественника о принципиальной недопустимости каких бы то ни было сценических переделок «Воскресения», независимо от их содержания [1]).

Лишь 4 ноября 1904 года, в связи с первыми проблесками революции 1905 года, переделки романа «Воскресение» были допущены к представлению. Так велика была одиозность имени Толстого, так неприятны были царизму ассоциации, связанные с романом «Воскресение».

В рамках настоящей, по необходимости краткой, журнальной статьи я остановился лишь на тех препятствиях, которые приходилось преодолевать Толстому-драматургу. За пределами моего рассмотрения остались бесчисленные цензурные преследования Толстого как беллетриста, философа и публициста.

---

[1]) Архив главного управления по делам печати, дело 4-го отделения канцелярии главного управления по делам печати, № 131, 28/1901.

Дневник девушки.

(1897 — 1907 гг.).

А. Березина.

В поисках правды.

1897 год.

14 марта. В дороге. Итак, я еду в далекую страшную Москву, чтобы там сделаться гувернанткой в каком-нибудь архиприличном доме. Что-то из этого выйдет? Сумею ли я соблюдать все нужные приличия?

Мне всего только 17 лет, и физиономия у меня круглая и красная, несмотря на все перенесенное горе. Ну, какие дети, а тем более их родители такую гувернантку уважать станут? Разве только ради моего траурного платья.

Сегодня ровно месяц, как умер отец. Мать будет получать 25 руб. пенсии. А дома четверо детей хотят есть, одеваться и учиться. Для всего этого еще нужно минимум 25 рублей. Сумею ли я их выработать?

5 апреля. Москва. Маша поместила меня у старой фрейлейн Келлер, бывшей гувернантки, которая теперь содержит трикотажное заведение. Это заведение с десятком работниц, толстой фрейлейн Келлер и я помещаемся в одной небольшой комнате, где мы с хозяйкой за ситцевой занавеской и спим, и едим. Воздух убийственный. От него и от беспрерывного треска машин у меня постоянно болит голова. Представляю, каково девушкам, работающим на них с утра до вечера! А ведь они даже на обеденный перерыв не уходят домой, а кушают здесь. Это я при них состою временной бесплатной кухаркой — за стол и за угол. Для фрейлейн Келлер все же временная экономия — до приискания подходящей платной стряпухи, а мне — все же сносный временный приют — до приискания места гувернантки.

Но что бы сказала мать, видя меня в такой унизительной роли! Уж пилила бы она меня, пилила: «Стоило для этого кончать школу для благородных девиц, чтобы потом служить кухаркой». Ну, я ей, конечно, об этом писать не стану, а так что-нибудь совру.

В общем, мне живется неплохо. Фрейлейн Келлер — добродушная женщина, хотя частенько покрикивает на работниц. «Иначе нельзя, — объясняет она мне за занавеской, — а то избалуются, — тогда с ними уж не сладишь».

Платит она им, на мой взгляд, страшно мало за пару связанных чулок и пр. Но они говорят, что нигде не платят больше. Кормит их сытно. Ну, а я стараюсь, как могу, угодить на их вкус, который, впрочем, совсем не совпадает с моим.

Хозяйка, кажется, образованная и очень умная женщина, только уж больно ленивая. Целыми днями полулежит на диванчике с книжкой. Она меня знакомит с новой литературой, которой я раньше совсем не знала.

Маша говорит, что все гувернантки, когда им переваливает за 25 лет, начинают мечтать о каком-нибудь хоть маленьком, да своем деле. Уж очень тяжело зависимое положение в доме. Хуже, чем у прислуги. Прислуг обычно несколько человек в богатом доме, и они служат друг другу поддержкой, гувернантка же и не равноправный член семьи, и не прислуга. Что-то такое середка наполовину. Маша, хотя ей только 23 года, и она живет у идеальных господ, все же, — не знаю, в шутку или всерьез, — уже начинает мечтать о том, как она начнет хотя бы апельсинами торговать на улице. Прелестная Машенька и — уличная торговка! Да, видно, горек хлеб гувернантки. Когда же я его испробую?

20-го. Все еще сижу и жду погоды у толстухи. Это мне начинает надоедать.

Ни о каком месте все еще не слышно. Что же это будет? Я начинаю волноваться, да и мама тоже. Пока, так как у меня много свободного времени, я изучаю Москву, ее улицы, площади, здания, музеи, а главное—ее народ. Это самое интересное. В особенности по праздникам на окраинах, около какого-нибудь балагана страшно интересно наблюдать народ как целое. Дикарь он дикарь, что и говорить, а все-таки страшно симпатичный в своей непосредственности, — как большое дитя.

Это изобилие нищих и молящихся в Москве меня удручает, — все эти монашенки, юродивые и пр. Мне это напоминает средние века, и мне представляется, что при такой нищете и темноте еще и теперь возможно сожжение ведьм на кострах и прочие ужасы.

Раз я в воскресенье встретила на улице симпатичную трикотажницу Маньку с ее кавалером. Они меня пригласили погулять с ними. Я согласилась. Вели они себя вполне прилично. Потом я провожала их до Пресни, где живет Манька. Какие жалкие лачуги!.. И каково внутри! Какая теснота... Какое убожество... Как подумаешь, что тут целая семья умудряется жить на 20—30 рублей!

Как-то фрейлейн Келлер меня пригласила на вечеринку к своим знакомым. Это какая-то весьма состоятельная семья — купцы первой гильдии. Они устроили литературную вечеринку в честь совершеннолетия своего сына. Тут я видела московскую богему,—каких-то эксцентричных юношей и девиц, — поэтов и музыкантов, которые «являть свое искусство стали». Не очень понравилось мне их искусство. Какое-то оно неестественное, «искусственное». Каждый как будто какую-то роль играет. Мне кажется, настоящее искусство должно быть прекрасным и естественным, как сама природа.

Видела я среди молодежи и сына фабриканта Морозова и других представителей «золотой молодежи». Многие из них довольно противные фаты, Морозов лучше других.

4 июля. Вот уже два месяца, как я ем чужой хлеб и — давлюсь им. Попала я в какую-то странную семью. Отец семейства — впрочем, очень милый человек — директор большого железнодорожного училища. Но он бывает на даче только в субботу — воскресенье. Жена его — бездельница-истеричка, которая целыми днями только и делает, что, лежа на диване, романы читает, беспричинно плачет, ко всем придирается и по воскресеньям устраивает мужу сцены. Домом же управляет Аксюша-няня. Это мой враг. Каждое утро она выразительно-молча ставит рядом со мной большую корзину белья и чулок для починки, в том числе и свои собствен-

ные. И это я должна делать на ослепительном солнце, сидя на белом песке, без малейшей тени кругом! Я уже испортила себе глаза, и глазник мне прописал черные очки. Но это, конечно, никого не трогает.

Николай Петрович и Маруся, у которых очень хорошие голоса, участвуют в здешнем церковном хоре любителей и артистов, живущих здесь на даче. Он пригласил и меня, находя, что у меня приятное меццо-сопрано и редкостный слух. Я приняла его предложение. А жена его бесится. Какое ей дело? Ведь имею же я, наконец, право на выходной день хоть раз в месяц, как все гувернантки, а я им еще ни разу не воспользовалась.

Ребята все ленивые и без всяких интересов. Сравнить их с моим любознательным братишкой Андрюшкой! Больше всего они любят на постели валяться и всякую ерунду болтать, а мне с этим приказано бороться. У всех у них какие-то странные склонности, так же как у их мамаши. Раз вечером, они давно легли, — я вхожу в комнату и застаю картину: Маруся лежит, обнажив свои еле формирующиеся груди, а Коля, стоя на коленях перед ее кроватью, взасос их целует. Галину же как-то утром, проснувшись, я застала за такой игрой: она окунает свои длинные распущенные волосы в ночной горшок, полный до краев, дико при этом жестикулируя руками и декламируя что-то про чертей в аду... Противно мне тут, — долго я не выживу. К тому же я получаю всего 20 рублей — значит домой могу посылать только 15.

Единственная моя радость здесь — получение писем. На-днях у меня был необыкновенно радостный сюрприз; получила письмо от своего любимого учителя литературы, который недавно стал заведующим нашего краевого музея. Я просила брата ему отнести коллекцию окаменелостей, которые мы года три тому назад нашли при наших раскопках у подножия холма. И дорогой Иван Петрович теперь пишет мне благодарственное письмо за это ценное, по его словам, пожертвование. Очень при этом мило просит меня писать, что я поделываю, занимаюсь ли своим самообразованием. Я вся зарделась от такого его внимания.

Колька, сидевший за столом, состроил какую-то странную мину и спросил, от кого письмо. Говорю, что от учителя. Он: «Ага! Значит, вы влюблены в него!» — и пошел трубить об этом по всему дому. — Дурак! Ведь учителю-то этому 50 лет! — Какие противные ребята, — все у них какие-то гадости на уме.

8 августа. Николай Петрович, зная, очевидно, какой милый дух царит в его доме и как мне должно быть тяжело, по воскресеньям делает все возможное, чтобы меня вознаградить за все униженья. Он ведет со мной серьезные разговоры, где в ненавязчивой форме он поправляет мои представленья о многом, расширяет мой горизонт. Он либерал, читает «Русские ведомости». Либеральничает и жена его, но только на словах. Тут ругают во-всю «Московские ведомости» и их редактора Грингмута, считают его за неприличного человека, а мадам потихоньку от мужа пускает Марусю в гости к дочке Грингмута, ее школьной товарке. Еще бы! Ведь они богаты е, а за это все прощается.

18-го. Становится все хуже и хуже. Как будто какой-то заговор против меня. Аксюша-няня ядовито улыбается, Галина дерется, царапается и плюется, старшие дети становятся все ленивее и распущеннее. А мадам просто со мной не разговаривает. Нет, я больше не могу оставаться в этом сумасшедшем доме — я сама рехнусь. Ведь от одного отсутствия всяких впечатлений, всякой умственной пищи можно превратиться в идиотку. А эти нелепые придирки! Терпения у меня, по-моему, достаточно, а кротость, видно, совершенно противна моей натуре.

25-го. А на-днях случился уж и совсем скандал. Приехал Николай Петрович из Нижнего и привез всем подарки-сюрпризы, в том числе жене и мне — по прелестной фарфоровой фигурке; ей какую-то полуобнаженную женщину, а мне — мальчонку со сложенными руками и плаксивым лицом, под названием «Вынужденная молитва». (Это я ему как-то говорила, как Андрюшка мой схитрил, когда его заставляли молиться.) Мадам сперва милостиво приняла свой подарок, но когда увидела, что мне преподносится столь же ценная вещь, она вдруг швырнула свой подарок об пол, разбив его вдребезги, и с громким воплем бросилась в свою комнату. Николай Петрович только пожал плечами. Что, она окончательно рехнулась?

31-го. Ну, вот все мои сомнения рассеялись сами собой; вчера мадам меня уволила за «неприятный характер». Действительно причина; это за то, что я без видимого удовольствия выслушиваю ее скользкие истории и не всегда пляшу по ее дудке. Ну, что ж, — может, так лучше. Даже наверно так.

Фрейлейн Келлер, у которой теперь гостит племянница, меня направила в дом-общежитие для безработных девушек — какое-то христианское учреждение. Тут происходят какие-то общие молитвы, и все девушки официально ведут себя очень чинно, но, кажется, исподтишка немало безобразничают.

Это общежитие имеет свою контору спроса и предложений на женский труд. До приискания места тут можно жить в долг или же отрабатывать тут же перепиской, различными рукоделиями и т. д. Все это хорошо, но, если я долго буду без работы, как будут жить мама и дети?

20 ноября. Орехово. Ну-с, с 8 октября я благополучно на месте. Ничего плохого я пока здесь не вижу. Ребята хорошие и очень привязаны ко мне, к тому же способные. Хотя хорошенькая кудрявая Олечка уже теперь маленькая капризная барышня, которая любит командовать, кокетничать и наряжаться. К ней в качестве компаньонок ходят фабричные девочки лет 8-9, самые чистенькие и благовоспитанные, и она ими командует, сколько ее душеньке угодно; то, рассердившись, бьет их ножками в живот, то целует и одаривает игрушками. Это вылитая мать, про которую говорят, что она дочь пьяного забулдыги-помещика. Это взбалмошная, но очень добродушная женщина. Это у нее выражается прежде всего в стремлении накормить доотказа и физической, и духовной пищей. Но, во-первых, «душа не принимает» той насыщенной доотказа физической пищи, которой здесь пичкают всех от мала до велика, а в отношении умственной пищи она меня все пичкает Толстым, который мне ничуть не интересен. А что интереснее всего — времени-то для чтения она мне не дает, ибо я занята от 7 часов утра, когда просыпается маленькая Олюша, и до 11 часов вечера, когда, наконец, засыпает нервозная Таня.

А о самом главном забыла написать: это о моем торжественном въезде здесь 8 октября. Уже приближаясь к станции, я вижу большие черные толпы рабочих, а за ними группы конных городовых и казаков, размахивающих нагайками. Крик, шум, какие-то возгласы, потрясание кулаками. — Куда, — думаю, — я попала? — Еду с вокзала, вижу дома с разбитыми окнами и с валяющимися тут же на тротуарах осколками; дальше какой-то еще дымящийся сгоревший наполовину двухэтажный дом. Все это, мне говорят, фабричный бунт; рабочие, недовольные условиями работы и обращением с ними начальства, бросили работу, стали громить дома и машины. Теперь самых вожаков посадили в тюрьму или увезли куда-то. Хорошая встреча! Что это, — дурное предзнаменование?

Пока мне тут хорошо; главное, собственная хорошенькая комнатка, в которой я по ночам спокойно сижу, пишу письма, читаю газеты, популярно-научные книжки и толстые журналы. Правда, я систематически не высыпаюсь, и у меня часто стала болеть голова, но что же делать? Я изголодалась по знанию.

Тут в клубе часто ставят пьесы Островского с участием знаменитых артистов Малого театра (московского): Ермоловой, Южина, Яблочкиной и др. Это наслаждение.

25 декабря. Все-таки странные люди, гляжу я, эти либералы: сколько они говорят хороших, трогательных слов о народе, и как мало истинной любви к народу! Вот старенькая любимая горничная хозяйки Матреша с утра до вечера бегает сверху вниз и снизу вверх по любому капризу барыньки и Олюшки, и никто не думает жалеть ее кривые ревматические ноги. Я ее как-то в комнате за кухней застала всю в слезах. «Устала, матушка, устала, моченьки моей нет!»

То же и с рабочими. Вот хозяйка с сестрой, люди с высшим образованием, и целый ряд других местных дам читают рабочим лекции с волшебным фонарем и так же довольны собой, как у нас дома старые церковные ханжи, подавшие копейку нищим. А дальнейшая судьба тех рабочих, доведенных до отчаяния скверными условиями работы, их как будто вовсе не интересует. Запретили нам с ребятами гулять по парку, так как там ходят «коты». Кто же это, оказалось? Жалкие босые оборвыши, безработные или спившиеся, ночующие неизвестно где, питающиеся неизвестно чем. Неужели так-таки ничего нельзя для них сделать, раз уж вы так любите народ? Или это тоже «народ, да не тот»?

1898 год.

1 января. Евлампия Петровна все меня спрашивает, отчего я становлюсь такая скучная. С чего мне веселиться и с кем? Вот в этом страшно гостеприимном доме всегда толкутся гости всех возрастов, в том числе и молодежь чуть-чуть помоложе или постарше меня. Так разве на меня кто-нибудь смотрит как на молодую девушку, которой тоже хочется поплясать, попеть, подурить? Нет, ведь я гувернантка, и мое дело наливать гостям чай и занимать маленьких гостей моих питомцев.

Евлампия Петровна мне все лезет в душу с самыми лучшими намерениями. Но что я могу ей сказать, раз сама она, интеллигентный человек, не догадывается, что мне нужно хоть немножко пожить собственной жизнью, что меня мучит жажда знания, что я не могу ее удовлетворить в 11—12 часов ночи, когда голова уже не работает. И вот в ночь под новый год какие у меня странные стихи сложились в уме:

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ.

Ах, дума буйно гонится за думой,
Пока одна застряла, а другая,
Найдя преграду в ней, а все ж стремяся дальше,
Ища спасения, свободы — дико бьются,
Борясь друг с другом, — и в напоре бурном
Изнемогают, задыхаются в теснине...

20 октября. Вот я уже больше года живу у этих недурных людей, я их вполне удовлетворяю, с детьми у нас очень хорошие отношения, — и все же я себя чувствую безумно одинокой и чужой в здешней среде. Я ли виновата, они ли? Боюсь, что они. Все же, несмотря на весь

их либерализм, гувернантка для них неполноправный человек. К тому же они удивительные трусы. К ним здесь часто попадает запретная литература. Они ее читают тесным кружком со своими друзьями при закрытых дверях. Я вначале не знала, в чем дело — по обыкновению впирала прямо в комнату. Они быстро и смущенно прятали от меня какие-то листки и книги и начинали говорить о другом, принимая непринужденный вид. Но мои-то зоркие глаза видят далеко и остро. Я стала следить, куда прячется литература, и по ночам, когда все в доме спало, им на-зло стала ее выискивать и читать. Это, оказывается, газета «Рабочая мысль» и Бебель «Женщина и социализм». Пишется в них приблизительно все то же, о чем все в доме говорят без сторонних свидетелей, — для чего же это прятать от меня? Что они думают, что я донесу на них, что ли? Глупо и гадко.

Евлампия Петровна восторженно говорит о Бебеле, его умных и смелых словах и мыслях. Но, оказывается, все это хорошо для культурной заграницы, а не для некультурных русских рабочих. Для них, видно, нужно то, что я видела в октябре 1897 г. при своем въезде в Орехово.

Позабыла написать, что у нас еще весной как-то за обедом был князь Хилков. Князь и министр! Но вел он себя очень просто и, кажется, очень дельный человек. Почему я о нем вспомнила сейчас? Вероятно, по поводу рабочих. Ведь он тоже считается либералом. Значит тоже человек с благими порывами, которому «свершить ничего не дано».

28 декабря. Опять остро нашла тоска по родине, воспоминания о прошлом. Опять как-то особенно чувствительно стало одиночество. Ведь кроме ребят тут все для меня чужие. Ни у кого я не найду удовлетворения своим запросам.

Толкуют они все тут про какой-то марксизм, шумно спорят вокруг да около него часами. А из-за шума и гама, вечного перебиванья друг друга я ничего не понимаю. Знаю только, что тут дело идет об эксплоатации, выжимании пота из рабочих и о средствах борьбы с этим.

Да, это понятие мною хорошо усвоено на собственной шкуре. Я да прислуга здесь служим предметом эксплоатации либеральных буржуа. Факт.

Но хочется мне все знать, все понять, а спросить некого. Они смотрели бы с полупрезрительным, с полужалостливым недоумением на то, что маленькая гувернантка хочет залезть в область столь высоких материй. Ну, бог с вами, и без вас узнаю когда-нибудь. Я попрежнему по ночам таскаю книги из библиотеки хозяина и читаю не то, что мне рекомендуется, а что мне хочется. Только уж очень мало я понимаю в этом нагромождении слов, фраз и понятий, цифр и таблиц.

Я себя неважно стала чувствовать. Частые головные боли, головокружение, отсутствие аппетита. Два раза были обмороки. Раз меня застала в обмороке Евлампия Петровна и в ужасе потащила меня к какому-то знаменитому врачу. И он нашел у меня острое малокровие. Ну, с тех пор стали меня усиленно пичкать лекарствами и едой. А то, что мне нужнее всего — хоть краткий отдых среди дня, мне, конечно, не догадываются дать. Эксплоатация идет своим чередом. Или они думают, что вечно напряженное состояние около детей это — не труд? Когда, буквально, ни минуты нельзя думать о своем или даже просто ни о чем не думать, давая отдых мозгам.

1899 год.

26 февраля. Ну, дома у нас все благополучно. Мишка пишет радостные письма — он влюблен в свое море. Вот с начальством он все воюет — его натура «волжского разбойника», как нас с ним не раз в гневе

обзывала мама, не может мириться ни с каким гнетом. А морские нравы аховые. — Геня работает пока бесплатным учеником в конторе большой транспортной фирмы, младшие ребята учатся. Мать время от времени имеет маленький заработок от шитья мешков под образчики зерна у той же фирмы. Уже как будто немножко становится легче. Самое тяжелое позади. Только мои 20 рублей еще попрежнему очень и очень нужны. Хоть и Миша уже с хлеба долой, а потребности другие растут. Ведь Гене надо прилично одеваться. Это только м о е счастье, что я живу в семье, где на внешнее приличие в одежде не обращают внимания и где моих 5 рублей для личных нужд хватает.

20 м а р т а. Эх, и скверно ж я себя чувствую! Скорее бы лето... Оправлюсь физически, и дух опять станет бодрее. А то совсем в идиотку превращусь. Я уж теперь ничего серьезного не могу читать. С горя взялась даже за усердно навязываемого мне Евлампией Петровной Толстого. Раньше я читала только его «Детство и отрочество». И отшибло от него какое-то барство. Недаром — г р а ф. Пусть хоть 20 раз босиком ходит. А теперь читала и «Войну и мир», и «Анну Каренину», и «Евангелие», и всякую мелочь. И читала запоем, ночи напролет. Особенно сильное впечатление на меня произвело «Евангелие». Нет, я думаю, что Толстой абсолютно искренен. Здесь как будто словами оформлено то, что у меня давно складывалось в душе. Ведь христианкой-церковницей я уже давно не могу быть. Слишком много тут лжи, слишком много явной нелепости.

Но не во всем я могу согласиться с Толстым. Возмущают меня его кроткие, смиренные герои. Нет, одной кротостью в жизни не возьмешь. Тут что-то не то. Толстой сам, видно, никогда не был в том положении, когда надо бороться за существование своих близких. Посмотрела бы я, какую бы он кротость проявил, если бы у него на глазах морили голодом его семью, гноили бы ее в грязи и болезнях, издевались бы над нею? Ему хорошо рассуждать — графу и помещику.

Я ему написала письмо со всеми моими сомнениями, а также просила его мне помочь пристроиться к какому-нибудь необходимому общественному делу, как, например, работа в таких столовых, которые он устраивал во время голода или в каком-нибудь сиротском доме, или еще что. Мне надоело служить с ы т ы м, тратить на это свои молодые силы. Посмотрим, что он ответит.

17 а п р е л я. Ну, конечно, никакого ответа. И эта надежда лопнула.

Да, у нас новость: в наш дом пригласили рядом с гувернанткой для девочек еще и гувернера для мальчиков, считая, видно, что мне уже не справиться с 14—15-летними балбесами. И правда, ведь трудно с ними. Я рада, что теперь с мальчишками меньше буду иметь дела. Недавно мне Гриша устроил такой сюрприз. Сидим мы с ним рядом, я ему терпеливо объясняю какой-то урок. Вдруг он вскакивает, становится на колени, целует мне руки и говорит: «Алевтина Ивановна, какая вы хорошая и как я вас люблю! Когда вырасту, обязательно поженюсь на вас и буду вас одевать в шелка и кружева и драгоценные камни».

С ума сошел мальчишка! Я его выругала дураком и сделала вид, что мне смешно от такого ребячества, а на самом деле я немного беспокоюсь. Эти закормленные, заласканные дети богатых домов какие-то скороспелки в некоторых областях. Я боюсь об этом сказать Евлампии Петровне. Я рада, что теперь с мальчишками меньше буду иметь дела.

Нил Терентьевич (буду просто звать его Нилом) сын дьякона, студент второго курса. С отцом он поссорился «на принципиальной почве». Вообще это страсть какой принципиальный молодой человек. Он только

годом старше меня, а уж весь начинен всякими знаниями, теориями и принципами, которые он готов перед кем угодно в горячем споре отстаивать. Сюда он приглашен прежде всего для преподавания нашим рыхловатым мальчикам гимнастики и столярного ремесла, ну и для общих воспитательных целей. Да еще подогнать их к экзаменам. Сам он объясняет дело так: «Надо же буржуев за лето немного подоить, чтобы, набравшись сил у них на даче да еще звонкой монетой, легче было одолеть еще один учебный год».

Одно мне не нравится, что он с места в карьер вздумал меня поучать. Поражен, что я ни о дарвинизме, ни о марксизме ничего не знаю. Сунул мне пару толстых книжек с наказом их обязательно прочесть от доски до доски. Чудак! Поживет здесь, увидит, сколько ему останется времени на чтение толстых ученых книг. Здесь сумеют и из д в у х выжать максимальное количество пота.

Я ему объявила, что примусь за чтение его ученых книжек лишь в том случае, если он сперва членораздельно и достаточно соблазнительно изложит их содержание. Он это сделал. И Дарвина я обязательно буду штудировать. Уже начала. Ну, а Маркса — не вижу нужды. Уж больно трудно, сложно и потому скучно трактуется такой простой вопрос: коли людям плохо, надо бороться за лучшее, надо бороться о б ъ е д и н е н н о, ибо в единении — сила. Ну, что все это доказывать бесконечными примерами и рассуждениями, математическими формулами и статистическими таблицами? А Нил — говорит: «Надо знать, за ч т о б о р о т ь с я и к а к бороться, а то как бы не вышло хуже, чему немало примеров бывало в истории. Эти общественные науки для того и существуют, чтобы указывать пути борцам».

Не верю я в общественные науки. Все экономисты и историки мнят себя великими учеными, и все они указывают на разные пути. Кому же верить? Нил говорит: «Маркс указывает единственно правильный для пролетариата путь». Но чем это доказать? Ведь другие люди, также горячо заботящиеся о пролетариате, указывали д р у г и е пути. Кто же прав? Я думаю, что вообще недоказуемо, — разве только, когда и с т о р и я проверит тот или иной путь. Нет, уж совсем другое е с т е с т в е н н ы е н а у к и, где ничего не приходится брать на веру.

1 2 и ю н я. Живем на даче близ Старой Руссы, где Евлампия Петровна лечится от подагры. Я ужасно довольна своей жизнью, — как никогда за всю жизнь, пожалуй. Ужасно хорошо все устроилось! Место хорошее, живем мы на вольной волюшке, много гуляем, делаем гимнастику с Нилом, все поздоровели, победрели и повеселели. А главное — мое счастье то, что у нас живет мой братишка Андрюшка, в качестве летнего компаньона для Олечки вместо фабричных девочек. И уж он-то измываться над собой никому не даст, даром, что ему только 7 лет! Да Олечке и в голову не придет с ним себе разрешить такие штучки, как с теми девочками. Они великолепно играют вместе. Он такой веселый, живой, подвижной, ловкий и занятный паренек, что как-то незаметно стал центром всей детской компании. И Оля без зависти и ревности признает его превосходство. Чудеса, да и только!

1 2 и ю л я. Мы здесь познакомились с необычайно интересной семьей — муж, жена и трое детей. И интереснее всего она — Ульяна Сергеевна. Она очень больна, говорят, почти безнадежно. Но глубокие темные глаза ее горят каким-то неугасимым внутренним огнем. Она никогда не говорит о своей болезни, никогда не жалуется, но видно, что она иногда очень страдает. Это, видно, человек с громадным характером. Это

бывшая революционерка-народоволка. Она даже по внешнему виду своему похожа на Софью Перовскую или на Веру Фигнер, т. е. на их карточки, которые ходят по рукам. Я раньше никогда не могла мириться с цареубийством, так же как со всяким убийством вообще. Теперь я начинаю понимать, что хорошие до святости люди могут итти на это...

14 сентября. Завтра еду в Питер к дорогой Ульяне Сергеевне. Вот как это случилось.

Она — первый и единственный человек, который оказал личное внимание и ласку мне, маленькой незаметной гувернантке, которая заинтересовалась мною. Мы тесно сдружились с нею. Она мне говорила о своих заботах, что болезнь ее делает плохой женой и матерью, что она не справляется со своими обязанностями, и это ее угнетает. Я ей предлагала переехать к ней, быть ей в помощь. Предлагала себя как друга, своего человека. Она была очень тронута. Порешили на том, что я погощу дома месяц, и мы спишемся о дальнейшем.

И вот я получила письмо от своей дорогой, что она меня ждет, нуждается в моей помощи, соскучилась обо мне. И вот я еду на новую жизнь. Дай бог, чтобы я оказалась достойна ее доверия...

5 ноября. Вот уже я почти 2 месяца здесь. Хватит ли у меня сил? Смогу ли я дать самому дорогому для меня человеку то, что ему нужно? Ей нужен бесконечно любящий, терпеливый и снисходительный друг, ей нужна сиделка, ей нужна замена самой себя. Она не жилец и не работник.

А обстановка не из легких. Трое красивых, ярко талантливых, породистых каких-то, но слабеньких, нервных и капризных детей 14, 10 и 6 лет. Соня учится в гимназии, Глеба надо готовить, Талю учить грамоте. Всех кормить, обшивать, подлечивать. Есть только одна прислуга. А тут еще муж, ученый профессор, который знать ничего не знает и знать не хочет о мелочах жизни, у которого жалованье небольшое, а требования немалые. И отныне в значительной степени на мне лежат обязанности матери-домохозяйки по отношению к остальным и сиделки и старшей дочери по отношению к самой Ульяне Сергеевне.

3 декабря. Я все так же проникновенно рада своей судьбе, хотя я ужасно устаю и телом и духом. Днем уроки, хозяйство, прогулка с детьми, вечером я помогаю Ульяне Сергеевне в ее научных работах. Она мне открывает такие широкие радостные горизонты в жизни и науке. Мы серьезно и напряженно работаем.

Потом, уставши, мы просто занимаемся беллетристикой. Она мне много рассказывает из своей богатой жизни. Она дочь самодура-губернатора. 16-летней девушкой она убежала из дому в чем была и пошла сестрой милосердия на турецкую войну. Бесконечно тяжелые, героические и смешные картины из этой войны, о своей революционной деятельности, о тюрьме, товарищах... О том, как движение было задавлено правительством и как уцелевшим революционерам пришлось перейти просто к культурной работе. И с какой любовью она говорит и об этой культурной работе!

1900 год.

20 января. После какого-то крупного разговора с Львом Измайловичем у нее ночью пошла кровь изо рта. Я безумно перепугалась. С тех пор это стало время от времени повторяться. Она говорит, что это — сердечное. А я боюсь, не чахотка ли у нее сверх всего. Видно, дело безнадежно. Хотя она и не говорит об этом, но я чувствую, что это так и что она это знает. И, видно, от тяжелых невысказанных мыслей у нее характер пор-

тится с каждым днем; у нее все больше развивается подозрительность, какой-то бессмысленный дух противоречия, страсть к преувеличениям и мнительность. Эх, как надо бы осторожно обращаться с нею! Никаких споров, обид, выговоров, убеждений и разубеждений, а ласково-строгое обращение, как с больным ребенком.

3 апреля. В доме у нас бывает много интересных людей. Личные друзья и знакомые Ульяны Сергеевны все люди практической общественной деятельности — какие-то фельдшерицы, врачи, статистики и прочие, люди все внешне чрезвычайно скромные и простые, но глубоко-содержательные. Иногда они ведут какие-то таинственные разговоры при закрытых дверях. Они и ко мне относятся очень хорошо и внимательно как к «подающей надежды».

Зато приятели Льва Измайловича все больше из кругов общественно-литературных и философских. Они страшно много говорят и все в высоком стиле, причем каждый старается казаться как можно умнее, а о других судить как можно более отрицательно. Я подозреваю, что они не столь уж умны, а что в каждом из них сидит нечто от тургеневского «Дурака» (стихотворение в прозе), который вылез в умники благодаря тому, что всех обзывал дураками. Ко мне они не относятся никак, просто не замечают столь малой особы, даром что я ежевечерно разливаю им их «литературные чаи». Ну, конечно, я ведь все молчу, только учусь у «умных людей». И действительно, уже довольно хорошо стала понима ь их хитроумный язык, стала следить за полетом их высокой мысли. Как-то Маня Смирнова — тут есть такая восторженная курсистка, поклонница высоких мыслей Льва Измайловича — потащила меня на какой-то вечер к Михайловскому. Там в крупном масштабе было то же, что за нашим чайным столом, только сверх того обилие пива и закусок и восторженной молодежи, глядящей в рот старикам.

Здешнее общество, в отличие от московских либералов, именует себя радикалами или народниками.

Из молодежи, бывающей у нас, мне всех больше нравятся сестры Успенские. Маня, больше всех похожая на отца с его большими кроткими, грустными глазами — какая-то христианская душа. Вера — серьезная, суровая, молчаливая, тип активной народоволки. Оля, младшенькая — живая, веселая, шаловливая, даром что толстенькая. Она еще учится. Говорят, она заражена марксистским ядом. И на это у нее, почти еще девочки, смотрят как на милую детскую шалость, в то время как о марксистах вообще в нашем доме, в кругу Льва Измайловича, говорят с пеной у рта. Он даже, кажется, совсем разошелся с одним своим старым другом — доктором Аптекманом — за его марксистский уклон мысли.

Интересно бы посмотреть на этих грешных марксистов, что это за звери за такие. Если Нил образчик их (хотя еще незаконченный, как он сам говорит), то образчик вовсе недурной.

4 сентября. Только что вернулись с дачи.

Уф, какое это было тяжелое время! Думали, что Ульяне Сергеевне там будет лучше. Но стало значительно хуже. И думаю, что от сожительства с дорогими родственниками. Ее сестра — светская дама, муж ее — крупный чиновник одного из министерств. И на что нужно было это примирение после стольких лет полного отчуждения! Думаю, что это все то же чувство беспомощности и заброшенности умирающего человека. Правда, я для нее солидная помощница, и она с большим доверием относится ко мне, но все же мне только 20 лет.

И вышло совсем нехорошо. Правда, Татьяна Сергеевна очень интересная и остроумная собеседница. У нее всегда полный короб новейших придворных сплетен. Как старая царица угнетает молодую, как она сеет недоверие к ней как к немке. Как она демонстративно даже перед ней рояль запирает, ей играть не дает. Как в поисках средств для заполучения наследника весь двор с ума сходит, — бросаются от спиритов к юродивым, от Иоанна Кронштадтского к серьезному невропатологу доктору Синани. Он лечит внушением, и сейчас при дворе всерьез обсуждается вопрос, не смог ли бы он внушить и наследника. А он смеется: «Не наследника, а конституцию я им внушу, если вздумают меня пригласить». Но, чтобы его не приглашали, об этом во-всю старается Иоанн Кронштадтский, говоря: «Я лечу именем бога, а Синани — именем диавола».

Ну, вот эта интересная светская сплетница что-то, видно, наговорила на меня. В чем дело? Я могу только сопоставить несколько фактов. Татьяна Сергеевна несколько раз в присутствии других с тонкой улыбочкой отмечала, что я будто поразительно хорошею. И мне казалось, что Ульяне Сергеевне это неприятно слышать. Мне самой ее великосветская сестрица как-то намекала на то, что я будто недостаточно ценю отношение ко мне Льва Измайловича.

Потом вдруг неожиданно из Москвы примчалась Евлампия Петровна, которая раньше была знакома с Татьяной Сергеевной, и чуть ли не на коленях умоляла меня бросить эту семью, которой все равно помочь нельзя и от которой я наверняка погибну. Уговаривала меня вернуться к ним. Говорила мне, что Лев Измайлович относится ко мне с большой нежностью, защищая меня перед женой, называя «святой девушкой», она же в дикой злобе обзывает меня «змеей подколодной». Все это было страшно тяжело слышать.

1901 год.

2 января. Я уже теперь так привыкла обходиться минимумом сна, что, когда Ульяне Сергеевне сколько-нибудь лучше и она сама занимается, я по ночам много читаю. Сейчас читаю «Новые веяния» Бьернсона. Эх, как мне хочется попасть в Швецию, Норвегию, к бодрым, здоровым, деятельным людям! Там люди за что ни возьмутся, то и доведут до конца. А у нас — то возмущенье, то слезы, то мечты, мечты, бездеятельные мечты. Даже лучшие здесь — бессильные тряпки. Правда, внешние обстоятельства здесь иные, чем на Западе.

13-го. Читала «Фому Гордеева» Горького. Повесть меня страшно интересует как живо рисующая жизнь столь презираемого здесь купеческого сословия, мне мало знакомого. Как мне нравится Горький, его вдумчивость, его истинная любовь к людям! Он в каждом даже наихудшем человеческом экземпляре все же находит положительные стороны, заставляя задумываться над тем, что могло бы выйти из данного человека при лучшей организации человеческого общества в целом. Есть у него и что-то общее с Мопассаном.

20-го. Читаю Беллами «Взгляд назад из 2000 года». Страшно увлекаюсь. Вот бы так заснуть и проснуться в то время, когда вся людская жизнь будет полна кипучей деятельности и интереса! Что же, может — это будет уже через 3—5 лет. А пока будем терпеть и выжидать. Только доживет ли до этого времени моя Ульяна Сергеевна?

Мы с ребятами все занимаемся самообразованием под руководством то одного, то другого из родителей. Господи, сколько я за этот год с небольшим тут перечитала! Чуть ли не всю русскую и иностранную

классическую литературу, не говоря уж о современной. Но все же книги лишь суррогат жизни. И люди здесь удовлетворяются таким суррогатом!

10 февраля. У меня нет больше брата Миши. 26 декабря он утонул в Гибралтаре, смытый с палубы во время сильной бури огромной волной. Нет больше Миши — Мишука, вечно веселого, бодрого и деятельного парня. Как этому поверить?!

Он страстно любил море еще ребенком, а позднее уже сознательно любил его силу, красоту и дикость, любил его как родственную стихию. Он тонул еще в детстве — его спас брат. Теперь около него не было брата его спасти...

Что самое ужасное, это то, что его можно было спасти и что это не было сделано. Так, по крайней мере, говорил посланец его товарищей, привезший маме печальную весть и его вещи! Почему давно уже не известили нас письмом?

По словам посланца, дело было так. Миша, чрезвычайно добросовестно относившийся к работе, вместе с тем с самого начала не давал себя никому в обиду, не признавал жестокого неписанного морского кодекса законов. При первой попытке боцмана прогуляться по его, матроса, спине концом каната, он его так грозно остановил: «Попробуй только!», что тот невольно отступил. Он не допускал никакого рукоприкладства и по отношению к товарищам, за что они его страшно любили, начальство же все относилось к нему со скрытой неприязнью. Много, вероятно, значило и то, что Миша сын родственника владельца корабля. Об этом, вероятно, узнали стороной, — сам Миша никогда об этом не говорил. Тем более начальство, вероятно, хотело видеть в нем союзника против остальной матросни, а он против ожидания оказался для них хорошим товарищем. Побои и зуботычины при нем вывелись. Зато в момент, как его смыло волной и его с окровавленной головой, судорожно цеплявшегося за какую-то доску, уносило все дальше волнами и несколько товарищей были готовы броситься за ним в волны, — капитан им строго-на-строго это запретил: «Дело безнадежное, и я не имею права из-за одного жертвовать еще другими». Так его и унесло на глазах товарищей...

31-го. Прочла ночью «Вареньку Олесову» Горького. Меня глубоко захватила филиппика против бездушных материалистов, которых, увы, столько в здешней ученой среде. Наука, конечно, нужна, и материалистическая наука, но ведь знать-то надо не ради самого знания. Знать надо для того, чтобы улучшить жизнь всем, всем, всем. А как ее улучшить, об этом вы ничего не говорите. И никого-то вы своей бездушной наукой не толкаете к тому, чтобы хотеть действительно улучшить жизнь. «А жизнь все так же мрачна, и ее муки, ее горе требуют героев. Где они?»

Да, где они? Были они еще лет 12—15 тому назад. Куда они делись? Почему стало так скучно и пусто жить? Почему именно мое поколение попало в такую пустоту?

4 марта. Вот сегодня так чувствуется жизнь! Известия так и сыплются. В Харькове, говорят, до 15 000 человек участвовало в демонстрации, в Москве — 5 000. И здесь у нас кипит, кипит. Убили Боголепова. Организация террористов, говорят, собирается покончить со всеми министрами. Кроме Куропаткина и еще одного, — забыла. Масса студентов-демонстрантов осуждена отбывать воинскую повинность по 3-й категории. А с зачинщиками и того хуже будет. Рабочие, курсистки и студенты действуют вместе. Полицейские зверски-грубо обращаются с демонстрантами, бьют их палками, нагайками.

Взят и Нил вместе с 600 другими студентами, сидят в Бутырках. А еще только с неделю тому назад Евлампия Петровна писала, что он, кончая 4-й курс, только и живет теперь, что в клиниках на практической работе, что в доме теперь от него пользы мало. Вот теперь тебе и практическая работа! Я обязательно хочу ему писать, выразить ему свое сочувствие, хоть в виде письма маленького братишки, подделываясь под детский язык. Я очень сочувствую всей этой молодежи, их стремлению к свободе и к всеобщему счастью. Но чего они конкретно хотят теперь, сегодня, — я никак не пойму. Боюсь, что они все равно будут побеждены, — ведь их ничтожное меньшинство народа.

Как меня тяготит моя зависимость, те цепи, которые я сама добровольно на себя наложила! Как я в эти полные жизни дни рыскала бы по городу, втиралась бы в любую толпу, прислушивалась бы к разговорам, расспрашивала бы, узнала душу толпы. И самостоятельно, вне всяких партийных влияний и наталкиваний нашла бы правду. И примкнула бы к наиболее жизненной, правдивой и честной стороне. И вспыхнул бы ярким пламенем тлеющий во мне огонь, ежедневно и ежечасно засыпаемый мелкими делишками. И нашлись бы тогда у меня и слова, увлекающие на дело.

6-го. Со студенческими волнениями получилась грусть одна. В результате демонстрации 4-го имеются сотни раненых, 66 студентов, 32 курсистки убитых, толпа в 5 000 человек заключена в тюрьмы и полицейские участки. Так говорят. Не знаю, подтвердятся ли на проверку все эти цифры. Что станет со всей этой молодежью? Царь, говорят, хочет их амнистировать. Да что он может, этот безвольный человек? В самом начале беспорядков он удрал к себе в Царское село, и с ним обе царицы.

8-го. Какие противоречивые известия, даже из «первоисточников»! Оказывается, что никто не убит, все до единого нашлись. Тайная печать усиленно работает, распространяя прокламации по всей стране. Лев Толстой написал открытое письмо в редакции всех газет с осуждением действий правительства. Но какая цензура его пропустит? Полиция и духовенство получили приказ распространять среди народа всевозможные гнусности о студентах, чтобы он не стал на их сторону, к чему есть справедливые опасения. Различные общества, учреждения и даже частные лица обращаются к царю с петициями.

10-го должен состояться суд над убийцей Боголепова, и в связи с этим опять будут, наверное, демонстрации. Собираются ввести в столице осадное положение. Что будет, что будет, если правительство будет упорствовать! Я обязательно хочу участвовать в следующей демонстрации, будь что будет. Мне надо окончательно убедиться, где правда.

12-го. Я вчера на демонстрации все-таки не была. Почему? Оказывается, Ульяна Сергеевна так же рвалась туда, как я, но об этом, конечно, думать было нечего. Как ей тяжело чувствовать себя доживающим человеком, полутрупом, теперь, когда «начинается»! И сколько бы она могла отдавать движению своего темперамента и своего революционного опыта! Но она безнадежный калека... И я осталась с нею, чтобы уберечь ее от дикого отчаянья. Этот человек не даром прожил на свете. Посмотрим, что сами мы дадим миру. И ради нее надо еще воздерживаться. Все же моя жизнь еще впереди, она же стоит у последней черты.

15-го. Ну, как же дальнейшие события? В Царском созван большой тайный совет. Царь, говорят, лично принял депутацию студентов. Сенаторы, ученые и писатели солидаризируются с требованиями молодежи,

даже рабочие демонстрируют в ее пользу. Так все общество заступается за них. Неужели высочайшие круги не пожелают с этим считаться? Ведь так, упорствуя, дождутся еще революции, в то время как уступчивостью сейчас еще они могли бы многое выиграть.

Вчерашняя демонстрация студентов, оказывается, была совершенно своеобразная; они густыми толпами ходили взад и вперед по Невскому, в то время как полиция целый день зря простояла на ложно назначенном в прокламации месте демонстрации.

31-го. Я еще кое-что узнала. Общество обратилось с петицией к самому государю. Царь сознает «печальную ошибку» 4 марта. Создана комиссия по расследованию. Министром народного просвещения назначен Ванновский. За границей общество чуть ли не сильнее здешнего взволновано и возмущено: говорят уже про революцию в России, отправляют адреса и сочувственные письма русскому студенчеству. Как всегда, поведение за границей имеет большое влияние на наши «сферы», так что, пожалуй, кое-что и изменится.

15 апреля. Опять сегодня много толков про студентов, рабочих, их планы и действия. Опять циркулируют копии всевозможных петиций и прокламаций, пускаемых в ход подпольной прессой. Как бы я хотела их все прочесть, проверить все слухи и толки, узнать правду! Мне очень трудно разобраться. Ведь Ульяна Сергеевна доживает свои дни в страшных мучениях — она мне уже ничего не может дать. Ну, а Лев Измайлович и прочие «сливки общества», разве я стану обращаться к ним за разъяснением? Их самоуверенность и самодовольство служат плохой рекомендацией их правде, если даже она находится у них. Нет, как только моей дорогой страдалицы не станет, я уйду искать правду в другой среде. Найду ли я ее?

НА НОВЫЙ ПУТЬ.

Побольше сил, побольше вдохновенья,
Надежды больше, веры и любви,
И чистоты сердечной, больше рвенья
И бескорыстность нам нужны в пути.

31 декабря. Вот сколько времени я не писала! Я тем временем вторично осиротела; умерла моя приемная мать, моя учительница жизни. Я перед нею во многом виновата. Мне часто не хватало терпения и кротости с нею, когда она, измученная болями, бывала придирчива, несправедлива ко мне. Ну, что же, искуплю эту вину тем, что закабалюсь ее семье, которая мне далеко не так близка, как она сама. Она, умирая, так беспокоилась о детях, так мучилась тревогой за них и так трогательно меня просила не оставить их, что я ей, конечно, отказать не могла. И вот я закабалена. На долго ли? Или навсегда? Ведь срока-то она не назначила! Это страшно расстроило все мои расчеты. Господи, как я рвалась к свободе, к знанию, к деятельности! А теперь еще неизвестно, сколько быть на ролях мачехи-домохозяйки.

Я тебя не виню, дорогая, — тебе ничего другого не осталось. Ведь я тебе была духовно ближе всех. Но ты же мне помоги в выполнении этого подвига. Явись мне хоть во сне и подкрепи меня своей лаской, своим советом.

А то мне не хватит сил.

1902 год.

18 января. А пресмешная ведь вышла штука с этой «Россией»! Запретили ее из-за фельетона Амфитеатрова «Семейство Обмановых» — довольно прозрачной выходки против царской семьи. Но этим запрещением достигли только того, что эта вещь теперь известна поголовно всему Петербургу. Данный номер газеты продают на всех вокзалах по 8 руб. за экземпляр и даже напрокат его дают. Сами себе наделали бед с этим запретом. Без этого мало кто обратил бы внимания; интеллигентные люди почти не читают фельетонов, а малоинтеллигентные, пожалуй, читая, не догадались бы, о чем тут идет речь.

2 февраля. Евлампия Петровна пишет, что в Москве ожидается новый бунт студентов и рабочих, она боится, что и Нил опять попадется. А ведь он кончает — без малого доктор! Неужели хоть несколько месяцев до окончания он не может удержаться от политики!

5-го. Как мне не нравятся эти «сливки интеллигенции», эти «аристократы духа»! Чем они лучше родовой или денежной аристократии? Так же, как и те, они хотят себе присвоить все блага мира, все могущество и весь почет, а остальные людишки пускай себе копошатся в будничной грязи, делая для них, для аристократов духа, всю тяжелую, «хамскую» работу. А их дело разглагольствовать о «равенстве, братстве и свободе» и перемывать косточки тех, кто не умеет и не хочет красно говорить. Ох вы, бездельники, краснобаи — не из вашей среды выйдут истинные борцы за свободу! Это святое дело требует не только умов, но и самоотверженных сердец, полных настоящей любви к народу.

6-го. Саша рассказывает, что правительство закрыло университет, хотя только около четверти студенчества приняло участие в беспорядках. Опять предполагаются демонстрации с участием рабочих. На высших женских курсах 9-го предполагается митинг. И в Киеве и в Харькове университеты закрыты. Студенчество хочет добиться права сходок и выбора ими самими профессоров. Все же в этом году они умереннее в своих требованиях. И основное их требование вполне справедливое: свободный доступ в высшую школу всех желающих без различия пола и нации.

7-го. Во вторник 19-го, говорят, будет сборище студентов у Казанского собора. Как бы мне хотелось хоть бы на часок освободиться, чтобы хоть посмотреть, что там делается! Боюсь, что дело опять не выгорит. Не найду предлога. Все равно догадаются и не пустят — ради моего физического благополучия.

Мы с ребятами читали Некрасова «Дедушка», «Поэт и гражданин» и «Русским детям». До чего все это стало современно! — Глеб, несмотря на свои 12 лет, уже хорошо чувствует гражданскую скорбь, лучше 16-летней Сони. Господи, как бы я хотела быть в состоянии хоть чем-нибудь, хоть крошечным каким делом содействовать освобождению людей от мрака наших дней! Но будут ли они счастливы от этого? Ведь сама я с тех пор, как вкусила от древа познания, куда больше прежнего страдаю и за себя, и за других. Но ведь конечная цель не абсолютное материальное благополучие, а наибольшее совершенство человечества. Поэтому должно всякими чистыми средствами добиваться постановки государства на такой лад, чтобы умственное и нравственное развитие каждого человека не встречало помех.

9-го. Был Саша — в новом вицмундире. Он рассказывал об избиении студентов в Народном доме. Но там было всего около 40 человек, да вся их демонстрация состояла в том, что они кричали «ура!» не только университету, но и царю с царицей. Теперь, конечно, опять начались волнения. Студенты ходят толпами по улицам, поют, собираются в различных местах. На-днях предполагается более многочисленное сборище с участием рабочих. Саша говорит, что их цель добиться полной автономии в университетских делах и свободы печатного слова. Он сам, да и все, вероятно, не надеются на достижение этой цели. Но отчего они так много зараз требуют, отчего не добиваться постепенных уступок? Плохо ими руководят профессора. Надо бы им горой стоять за своих питомцев, но вместе с тем их держать в некоторой строгости.

Была у Кривенко в Царском. Там какой-то мировой судья тоже много рассказывал об этих делах. В Киеве в феврале масса рабочих шла со знаменами, на одном крупными буквами было написано «Долой самодержавие!» Ну, их, конечно, забрали и избили.

11-го. Дочитали «Историю крестьянина» Эркмана-Шатриана. Тале (это 9-летней-то!) отец строго-на-строго приказал запомнить сентенцию из французского гражданского кодекса: «Человек есть свободное и разумное существо, созданное для добра».

Я читала несколько рассказов нового автора Леонида Андреева, о котором идет большой шум в обществе. Он мне не очень нравится, не то что Горький. И декадентщины у него много, и судит он со всей дерзостью неоперившегося еще птенца о великих вопросах жизни и смерти. Рисуется он, оригинальничает. Вот когда он отделается от этого оригинальничанья и останется лишь несомненная оригинальность в его талантливых рассказах, тогда он, пожалуй, и займет видное место среди современных писателей.

15-го. Вот что мне пишет Евлампия Петровна из Москвы:

800 студентов оказали вооруженное сопротивление полиции. Из них 350 забрано. Идет молва, что часть из них приговорена к 5-летней каторге, часть к 5 годам ссылки в Сибирь. Нил, повидимому, принадлежит к первой категории. Ни рабочие, ни общество на этот раз ничем не выражают свое участие — запуганы. — В «Правительственном вестнике» пишется другое: будто толпа в 400 вооруженных студентов ворвалась в частные дома доцентов. Университетское начальство, так как не могло справиться с ними, призвало на помощь вооруженные силы. Имело место вооруженное сопротивление, нашли заранее приготовленное оружие. Начальству предложено всех их исключить.

Конечно, и с той, и с другой стороны будет немало умалчиваний и преувеличений — правду, видно, надо искать в середине. Как это все-таки ужасно! У многих молодых людей погибла вся их будущность. Нил вот должен был кончать через 2—3 месяца. А теперь вся положенная им в течение 5 лет энергия, все бесконечные лишения — все это пропало даром. Так близко к цели и — конец...

28-го. Лев Измайлович получил по почте воззвание университетского организационного комитета, в котором приглашаются все граждане, сочувствующие движению, принять участие в уличной демонстрации в воскресенье, 3 марта, в 12 часов. Это такая трогательная, скромная и вместе с тем безнадежная просьба. «Не осуждайте нас, что мы, юноши, берем на себя инициативу в борьбе — славу мы охотно предоставим вам».

Саша говорит, что сами они питают мало надежды, что это воззвание растрясет наше сонное и трусливое общество. Но, если вы их не поддержите, вы, единомышленники юных борцов, тогда вы — их убийцы, а не правительство, и еще того меньше его несчастное орудие — все эти солдаты и городовые.

Но ведь всякому дорога его шкура, его благополучие. Я сама, пойду ли я? Пошла бы, если бы не дети-сироты, порученные мне покойным другом. Ведь лично мне моя жизнь гроша не стоит. Это не трусость, не инертность — это все та же больная совесть. Ведь детям я приношу определенную конкретную пользу, а там — что я могу дать?

3 марта. Ну, вот, я все-таки была на демонстрации. Боже милосердный, что это за ужас! Но самое ужасное не то, что жандармы скачут прямо в толпу, топчут ее лошадьми, бьют людей, живых людей, прямо в лицо нагайками, шашками!.. И не то, что офицеры их уподобляются диким зверям по кровожадному выражению лица и по дикому реву... Нет, хуже всего бегство, позорное бегство борцов! Как стадо обезумевших от страха баранов, бегут они, испуская нечеловеческий вой, визг! Соня права, говоря: «Отчего, раз у них достает мужества для того, чтобы давать себя бить,— отчего его недостает для того, чтобы бить самим?» А то, что за жалкая картина: не успели показаться и развернуть свои флажки, как уже последние с быстротой молнии исчезают за пазухами у офицеров, а демонстранты или обращаются в дикое бегство или валяются под копытами у лошадей. Ведь никто даже не успел прочесть мелких белых надписей на флажках!

Правда, скорее всего тут совершенно не виноваты сами демонстранты, а многочисленная праздничная толпа, пришедшая просто поглядеть на интересное небывалое зрелище и первая обратившаяся в бегство при виде битвы, увлекая за собой борцов. Эх, сколько я видела отвратительных, сколько душераздирающих сцен... Несчастный народ! Боже, сжалься над ним, избавь его от этого зверского правительства, разрази убийц...

Среди демонстрантов на мой взгляд больше рабочих, чем студентов.

Когда началась дикая свалка и столь же дикое бегство, я как-то инстинктивно отделилась и пошла одна по коночным рельсам. Я еле передвигала ноги. Меня могли бы изрубить в куски. Но храбрые воины — жандармы — не обратили внимания на одиноко шагающую фигуру — их больше привлекали сплошные массы живого мяса.

Говорят, вчера вечером в 6—7 часов была еще свалка на Конюшенной улице. Везде бродит, кипит. Когда я уехала в Удельную, то в вагоне какой-то чистенький молодой человек читал вслух евангелие Иоанна каким-то мужичкам и объяснял его совсем не в христианском духе.

5-го. Опять ходит масса слухов. Будто на самой демонстрации арестовано только 40 человек, но много было арестов накануне. Что на этот раз казаки наотрез отказались участвовать в этой бойне невооруженных людей. Что будто весь день во всех концах города происходили свалки. Что под конец даже было сопротивление. Будто в Пскове 10 человек солдат расстреляно за неповинение начальству, а весь полк держит их сторону. Наконец, говорят, что последняя демонстрация была удачнее прошлогодней как по количеству участников, так и по содержанию лозунгов.

Максим Горький избран в почетные члены Академии наук.

6-го. Познакомилась с артисткой Московского Художественного театра Муратовой. Хороший, умный, сердечный человек. Она тоже сочувствует движению. Я ее расспрашивала о московских делах. Она говорит,

что в Бутырках заключенным живется не хуже, чем вообще в российских тюрьмах. А Евлампия-то Петровна опять повыдумала ужасов! — Профессора Московского университета имели свидание с Ванновским, который был возмущен суровым приговором над студентами и говорит, что царь не допустит до этого. В обществе теперь надеются, что ссылка будет заменена более или менее продолжительным заключением..

15-го. Сегодня Лев Измайлович получил опять два воззвания подпольной печати; одно чрезвычайно сильное — обращение каких-то революционных организаций, другое — длиннейшее, от бутырских заключенных студентов, в котором они пространно излагают цели своих действий. Только напрасно они с этим обращаются к интеллигенции, которая сочувствует ли она этому или нет, но все же поголовно знакома с революционными идеями. По-моему, они не должны бы пренебрегать и буржуазными, например, купеческими слоями, такими, которые рисует Максим Горький («Фома Гордеев»). Я уверена, что там много найдется горячих голов и сердец, которых тяготит бесполезность их сытого существования, но которые не знают, где найти выход. Бросьте туда искру революционного пожара, и они воспламенятся. Надо всячески увеличить ряды.

Нил получил 6 месяцев тюрьмы, почему-то в Архангельске. Неизвестно, когда их отправят. Вся Бутырка оцеплена войсками из-за какого-то бунта заключенных студентов, и никому сейчас туда нет доступа. Скорей бы их уже отправили, я тогда начну ему писать регулярно письма с вестями с воли, уже придумала для этого условный «эзоповский язык».

16-го. Пишет мать. Высказывает свою надежду, что ее старшая дочь слишком хорошая подданная царя, чтобы принимать участие в преступлениях против правительства и против бога. Нет, мать, дочь твоя перестала быть «хорошей подданной царя»: хотя пока еще не словами и действиями, но всей душой она принимает участие в движении. Я теперь только жду зова с чьей-нибудь стороны, и я пойду — будь то на голод, на холеру, на войну, на революцию. Я больше не в состоянии служить частным интересам ни родной семьи, ни приемной. Я кой-какую помощь стала оказывать революционной организации через Маню.

18-го. Получила письмо от Нила — полное жизни и боевого настроения. Приложил гектографированное описание событий в Бутырке, голодного бунта. Бранит во-всю равнодушие, лень и трусость «общества»: «Либеральные фразы без силы и охоты бороться за осуществление своей мечты, плоский, поддельный энтузиазм и за ним холодный мелочный расчет. Нет самолюбия, нет гордости, нет силы, нет даже здорового эгоизма — скользкий, бесформенный моллюск, — вот оно, так называемое либеральное общество».

20-го. Была у нас Софья Ермолаевна Кривенко, рассказывала о замечательных личностях и деяниях семидесятых годов. Какой это был огромный духовный подъем! — Ничего, кончилась и наша спячка, разбудив, кто еще спит. Ведь замечательное явление, что люди на улицах даже как-то иначе ходить стали, что лица у них стали другие, какие-то напряженные. Извозчики и те стали скакать как бешеные — как будто на зло фараонам.

Я прочла «Мещане» Горького. Мне страшно нравится бодрый тип Нила. И какое совпадение, что он так похож на моего Нила!

Я выучила наизусть «Буревестника» и уже чувствую, с каким подъемом я его буду говорить на вечеринке. Как хорошо Горький улавливает то, что висит в воздухе! Пахнет большой очистительной бурей. Все эти

студенческие демонстрации, все эти протесты либералов, ведь это только начало! Студенчество меняется прямо на глазах, толпа на улице, в особенности на окраинах, и та уже другая стала, не так уже разрешает измываться над собой всякому городовому.

29-го. Третьего дня были похороны Успенского—тихие, скромные, без речей, без роскоши. Все же собралось около 2 000 народу. Мы, конечно, все пошли. Я случайно все время шла рядом с Короленко. Что за хорошее лицо у человека! Каким хорошим неугасимым внутренним огнем горят глаза этого уже немолодого много испытавшего человека! — Видела я на этих похоронах впервые П. Я. (Якубовича), стихами которого мы с ребятами так увлекаемся. У него есть какое-то внутреннее сходство с Короленко.

26-го в первый раз шли «Мещане». В газетах они встретили самый восторженный отзыв, а в театре, говорят, не особенно. Муратова даже страшно обижена за Горького. Никаких оваций, благодарственных телеграмм и прочих поощрений; зато много шлялось шпиков в театре и кругом него.

28-го было правительственное сообщение о том, что московские студенты, осужденные на 6 месяцев тюрьмы, будут отсиживать не все вместе в Архангельске, а в разных городах империи. Все из-за неповиновения начальству предварительной тюрьмы — дабы не возникали крупные восстания, на усмирение которых пришлось бы употреблять чрезвычайные меры.

В воскресенье 31-го в Художественном театре идет «Доктор Штокман» Ибсена. Ура! и у меня уже билет есть.

Нил на этот раз писал довольно глупое мальчишеское письмо. Хороши «герои», «мученики», если все они таковы! Какое-то мелочное подзадаривание начальства, а потом возмущение заслуженным наказанием. Правда, скучно в тюрьме, к тому же они уже втянулись в роль героев и, не имея крупных поводов для борьбы, уже придираются ко всяким мелочам.

2 апреля. Убит Сипягин. Сегодня в два часа какой-то киевский студент, переодетый жандармским офицером, проник к нему и застрелил. Его теперь, наверное, повесят. Эх, стоит ли Сипягин жизни хорошего молодого человека, юного героя! Никак не пойму целесообразности таких мер. Что они еще больше взвинчивают настроение общества? Правда, это что-нибудь да значит, что нам первый эту весть сообщил швейцар нашего дома, который радостно возбужденный прибежал к нам наверх и залпом выпалил известие. И Лев Измайлович инстинктивно полез в карман и наградил его за эту весть серебряным рублем.

12-го. Приехал братишка Андрюшка в гости к нам на праздник. Ребята его тут просвещают насчет совершающегося, повели его на Казанскую площадь, рассказывали про побоище. Этот 10-летний человек весь зарделся от возмущения. «Как они смеют! Вот подождите, когда я вырасту, я напишу такую книгу, что все сразу станут на сторону студентов и всяких, как их? левоцюнеров. Посмотрим, что они тогда с ними сделают!»

Ребята сразу стали его пичкать всеми своими премудростями — стихами Некрасова, П. Я. и других. В особенности его глубоко захватило стихотворение «Вперед» Надсона, хотя не все, конечно, ему понятно.

У нас пошла очень живая переписка с Нилом. Он теперь уже в юмористическом тоне описывает жизнь в тюрьме. Много и весьма система-

тически занимается. Счастливец! А мне хронически некогда заниматься самой собою.

28-го. Сипягина похоронили, убийцу его Балмашева судили, но смертного приговора вынести не могли, так как ему не хватило одного дня до совершеннолетия. Будет, значит, пожизненная каторга. Ну, это теперь уж не пугает — дождется и он свободы. Это очень интересный человек, видно с большим характером. Он из киевских студентов, осужденных к солдатчине: говорят, сын какого-то князя.

На место Сипягина посадили Плеве — умный подлец, как его называют, из всех сил содействовавший порабощению Финляндии.

Ванновский ушел; слава богу, говорят, что этот единственный приличный человек больше не сидит в совете нечестивых. На его место назначили Зенгера — человек с немецким лицом, осанкой и фамилией. Он поклонник классической системы. Боятся, что он сведет на-нет все реформы Ванновского. Говорят, что он до того страстный знаток и любитель латинского языка, что лично перевел на него Пушкина и Лермонтова. Ну и гусь!

На юге, в Харьковской, Полтавской и других губерниях, началось было сильное движение среди крестьян, подстрекаемых агитаторами. Они принялись за дележ казенных и частных имений, причем, говорят, даже жгли и резали. Плеве послан их усмирить. Видно, это ему блестяще удалось, ибо больше ничего об этом не слышно. А наши уже хотели видеть в этом движении начало конца!

Саша уехал учиться за границу, не надеясь на возможность здесь беспрепятственно кончать. А политику он не любит.

30-го. В Москве говорят, будто в мае объявят конституцию. Но даже Евлампия Петровна считает это вздором. Здесь же рассказывают, что недавно государь нашел на своем письменном столе записку: «Пора вам честь знать и отказаться от престола в пользу брата». Думают, что это исходит от самих великих князей. — Факт, что Плеве на юге произвел суровую расправу над крестьянами, всех их жестоко высекли, и многие с отчаяния и со стыда повесились. Говорят, причиной крестьянских бунтов был неурожай в течение 3 лет под-ряд. Вот они и таскали хлеб целыми возами из помещичьих сараев. Несчастный народ, когда же, наконец, для тебя начнутся светлые дни!..

Про Карповича, убийцу Боголепова, говорят, что он лишился ума на каторге — в течение одного года! А Балмашев сам себе, говорят, требует казни, хотя осужден только на пожизненную каторгу. Как глупо! Рисоваться, что ли, человек хочет? Ведь даже в каторге он может принести пользу людям! А там, как знать, пробьет и час освобожденья для всех.

5 мая. Балмашева-таки повесили третьего дня. Говорят, его пытали, чтобы он выдал своих сообщников. Вечная слава тебе, юный герой и мученик! Спи спокойно, — мы твое дело доделаем.

8-го. Столица богато украшена в честь приезда президента Лубэ. Они пока веселятся в Царском. А в Вильне стреляли в генерал-губернатора. Мне очень хотелось бы присутствовать при въезде Лубэ в Петербург. Будут кричать: «Vive la France, vive l'alliense franco-russe!» Почему бы им не кричать: Vive la Republique, vive la France libre! Но они этого не сделают — не догадаются. А может ли быть случай, еще более удобный для демонстрации! Во избежание скандала перед французами резни никакой

не может быть, а те, которых заберут, всегда могут выпутаться, ссылаясь на вполне простительное для столь необыкновенного случая увлечение.

Эх, хорошее времечко настает, бодрящее! И мысли об этом меня вновь воодушевили к стихотворству:

ВСЕМ ОБЕЗДОЛЕННЫМ.

Гей, запоем мы про волю и долю
Мощными звуками, бури сильней,
Мыслью недремлющей глубже могилы,
Честностью замысла солнца ясней:
«Скоро уж рухнут тюремные стены,
Пушек не станет, штыков и плетей,
Хлебных амбаров откроются двери,
Мир и довольство охватят людей.
С лика и с сердца спадут все завесы,
Правда прекрасная место возьмет,
Ясное знание веру заменит,
Творчество вольное — рабство и гнет!
Лейся, о песня чудесная, лейся,
Волнами звуков наполни весь свет,
Утомленным неси, исстрадавшимся, нищим
Из царства всеобщего счастья привет!»

Послала эти стихи Нилу (вклеенные в картину «Больной учитель»). Может, они его немного подбодрят в его тюремной скуке. Он, конечно, будет смеяться над моим изделием — такой прозаик. Ну, пусть себе смеется на здоровье.

9-го. Ну, вот, эти дни мы с Глебом и Талочкой ходили смотреть на франко-русскую дружбу. Ну, и потеха! Как оживился наш бедный Петербург! Петербуржцы теперь поймут, что могут себе позволять иностранцы и до чего они сами бесправны, что лишь приезд иностранцев им дает право галдежа хоть на один день. Но зато как же они галдели! Как они подбрасывали на руках французиков, как разъезжали с ними в обнимку, как выпивали! Даже гимназисты и уличные мальчишки пожимали французам руки. Шум продолжался до полуночи, хотя градоначальник Клейгельс благоразумно спозаранку велел убрать иллюминацию. Все заставы были заставлены полицией, чтобы не допускать в город рабочих. Еще бы! А уже в следующую ночь, когда перед городской думой стали распевать по-русски «Марсельезу» и затем «Дубинушку», полиция разогнала певцов.

Вчера еще днем мы видели с балкона, как с Невской заставы двигались в город небольшими группами целые отряды рабочих-каменщиков. Мы насчитали 540 человек и устали дальше считать. Это, видно, и они хотят принять участие в празднествах. Но вышел приказ снять всю иллюминацию, все флаги и украшения. Стали расхаживать целые отряды пеших и конных жандармов. Но толпе все это оказалось ни по чем,— кричали и шумели чуть ли не с удвоенной против первых дней энергией. Наконец уже около 11 часов ночи были пущены в ход нагайки, причем, вероятно, досталось и французским petits-marins, тесно слившимся с русскими. Вот им теперь и будет о чем рассказывать на родине — такого они в других странах вряд ли увидят.

15 июня. В деревне. Как я сюда попала? А вот как:

Ребята мои очень поправились после смерти матери, с тех пор как я им целиком могла посвятить свои заботы. С младшими мы очень подружились, с Соней же часто ссоримся. Она вообще властная, самовлюбленная

молодая особа, — вся в отца. К тому же я единственно для нее все же чужая в доме. Все же она, а не я родная старшая дочь. Ей не нравится, что я всем в доме распоряжаюсь. Но ведь она не знает, чего это мне стоит, чтобы при ограниченных средствах ее отца все было comme il faut. Ну, я и решила дать ей испробовать столь желанную ей самостоятельность. Все-таки ей уже 17 лет, она кончила школу. Если бы она справилась самостоятельно с домом и с детьми, мне было бы лучше. Ну, значит, они сейчас же по окончании занятий уехали на дачу, а я к родственникам в Тульскую губернию, куда должны были приехать и мама с младшими детьми.

Так и сделала.

Я впервые живу в настоящей деревне, в большом благоустроенном именьи. Здесь внешне все радует взор. И работы машинами, и образцовый порядок, и рожь густая и чистая чуть ли не в человеческий рост, и рослый, здоровый рабочий скот, и такие же рослые и здоровые на вид мужики. Это недаром я поставила рабочий скот и мужиков рядом. Ведь мужик — это у нас в конце концов тот же рабочий скот. Кроме беспрерывной работы (да еще церкви и водки) он собственно ничего не видит в жизни. И никому в голову не придет, что у него могут быть еще какие-нибудь потребности или что если их нет, то, значит, их надо развить в нем. Ведь это же все же человек!

Здешний управляющий, говорят, мужиков не угнетает, не обсчитывает. Это считается большой добродетелью, так как остальные, видно, этим сильно грешат. Сама помещица никогда в своем именьи не показывается и ничего не смыслит в делах. И управляющего зовут за глаза чудаком и даже дураком те же крестьяне, за то что он не пользуется этим обстоятельством, что он честный человек. Он сам уже в $3^1/_2$ утра выезжает в поле и весь день не слезает с лошади. Но как подумаешь, для чего он так старается? Кому на пользу его честность и добросовестность? ведь все той же помещице, которая за границей транжирит деньги, которые он, трудяга-управляющий, выжимает у трудяг-крестьян.

И какая при этом простота нравов! Как-то управляющий взял меня с собой в шарабане на станцию к приходу поезда. Он спешил, а тут какой-то встречный мужичонка недосточно быстро свернул с дороги. И наш Петр Петрович его, не долго думая, со всего размаху огрел кнутом по плечу. А тот только, смущенно улыбнувшись, почесался.

И этот Петр Петрович считается самым гуманным человеком в уезде!

27 августа. Ну, вот, уж и приехали домой.

Сонечка, соскучившись обо мне и испытавши прелести самостоятельного хозяйствования даже на всем готовом, стала необычайно нежна ко мне. Нет худа без добра.

Я на даче познакомилась с несколькими очень хорошими людьми. Во-первых, со старым народовольцем, который нам много интересного рассказывал о былом и дал мне читать нелегальную книжку — Туна «Историю революционных движений». Мне теперь все еще яснее стало.

Ну, а с другой, Анной Павловной, я даже подружилась и буду продолжать знакомство и здесь, в Питере. Это уже народоволка новой формации — социалистка-революционерка, влюбленная в свое дело учительница. Она советует мне обязательно поступить на курсы Лесгафта — «курсы русской революции», как их негласно зовут. Они дешево стоят и много дают знаний; к тому же туда легче попасть, чем на какие-нибудь другие, так как прав они никаких не дают. Ну, прав-то мне и не нужно, но мне нужно готовиться к определенной практической деятельности, и моя мечта — медицина. Не знаю, удастся ли мне это еще в этом году. Надо

Талю устроить в гимназию, Соню на Бестужевские курсы, а самой себе подыскать урок, чтобы не зависеть от Льва Измайловича.

30-го. Читала гектографированное письмо Толстого к либералам, написанное им в самом начале царствования Николая. Оно мне очень нравится. Нравится эта гордая прямота, отвергающая всякие сделки со своей совестью. Да, но такую роскошь может себе позволить только он — помещик, граф, знаменитость, гений, талант. До него не посмеют дотронуться— малейшая жестокость по отношению к нему возбудила бы протест всего цивилизованного мира. А мы, маленькие козявки, исчезли бы бесследно и, главное, совершенно непроизводительно, если бы мы посмели вымолвить вслух такие громкие слова. Нет, нам предназначено рыться под землей, как кроты, чтобы подкапывать гнилое здание самодержавия. И придет время, сумеем и мы выказать открытое мужество.

А Горького-то, оказывается, исключили из Академии наук как мещанина и революционера! В знак протеста Короленко и Чехов на-днях сами себя исключили из ее почетных членов.

27 сентября. Приехала Маня, окончив срок своей высылки. Она все такой же человек «не от мира сего». Пишет стихи и уже печатается. Ульяна Сергеевна ее не любила за тряпичный характер и влюбленность в Льва Измайловича.

Маня притащила к нам пару славных парней — Пумпянского и Володю Лихтенштадта. Последний в особенности симпатичен — такой не по летам серьезный, вдумчивый и уже без всякой рисовки и болтливости. Отцы обоих юношей оказались старыми соратниками Ульяны Сергеевны. Как бы она обрадовалась им! Отец Пумпянского 20 лет отсидел в Петропавловке и затем был сослан в Сибирь.

30 октября. Ну-с, Нил отсидел свои 6 месяцев и теперь на год выслан на родину. Евлампия Петровна ездила к нему. Она пишет, что он так похудел, побледнел, стал таким мрачным, что за него сердце болит. Дома у него обстановка не из веселых: отец горький пьяница, жена и дочь на него работают, а тут еще Нил поневоле у них на шее сидит. Очень ему горько, бедному. Ну, конечно, Е. П. ему будет помогать.

Маня — молодец, нашла мне урок, так что мне, слава богу, больше не надо брать денег у Льва Измайловича. Это совсем новый для меня тип людей — консерваторы-реакционеры, лейб-органом которых является «Гражданин». И странным образом при этом хорошие, простые, отзывчивые люди. Но жить в столице, в Питере, и высказывать такие дикие взгляды! Он очень добросовестный служака, чахоточный, она нежная мать семейства, неглупый человек — и только.

Соня наша как будто с цепи сорвалась с тех пор, как поступила на курсы. Но не политика ее там интересует, а чорт знает что. Вечно она на каких-то вечеринках, маскарадах, балах, спектаклях, вечно ей требуются все новые и новые наряды. Она красавица, многосторонне талантливая, в нее влюбляются без конца. И интересует ее не такая идейная молодежь, как Маня Смирнова или Володя Лихтенштадт, а какие-то хлыщеватые парни и девы с декадентскими вкусами и ницшеанской философией. В их кружке бесконечное философствование, пустые словопрения, нелепое оригинальничанье. Вот тебе и дочь старых народовольцев! Отец в отчаянии. А сколько из-за нее было жестоких споров с матерью, которая стояла за разумное ограничение свободы этой избалованной «папенькиной дочки». Вот Глеб — «маменькин сынок» совсем в другом роде: серьезный, вдумчивый, сердечный, умница, с большим характером.

Была у нас Таня. Много рассказывала о своей партийной работе. Она тоже социалистка-революционерка. Я ей иногда помогаю в составлении и печатании листков. Она уверена, что мне по моей натуре не удастся пойти по легальному пути. Да в наше время ни один честный человек не гарантирован от тюрьмы и ссылки. Лучший путь к этому — добиться свидания с политическими заключенными. Она свою деятельность начала с этого, и начальник тюрьмы ей предсказал, что ровно через год она сама туда попадет. Так и случилось. Она на всякий случай учила нас с Глебом тюремной науке: перестукиванию, шифру, писанию точками на книгах и пр. Хорошая она, Маня; такая детски-чистая, светлая, как будто озаренная извнутри душа.

8 ноября. Только что с Глебом вернулись из Мариинского театра, с «Евгения Онегина», с Фигнером в роли Ленского. Что это был за восторг! Я к Фигнеру с детства относилась с предубеждением из-за каких-то скандальных историй, слух о которых доходил до нашей провинции. Я и до сих пор не могу мириться с тем, как можно быть братом такой сестры и так мало походить на нее! Но — что за голос удивительный! С чем бы его сравнить? Он своей самодовлеющей красотой ласкает мой слух, так же как мой глаз ласкают серебряные узоры на нежном бархате. А игра его какая чудесная!

9-го. Опять говорят о проекте скорой конституции, на этот раз исходящем от самого самодержца, в защиту от враждебно настроенных, честолюбивых членов семьи. Проект конституции будто так построен, что обеспечивает и женское престолонаследие. Еще бы — ведь наследника нет как нет, несмотря на все старания.

Ну, наконец-то, и я стала курсисткой, хотя и не медичкой, не бестужевской и не лесгафтичкой, а пока всего только слушательницей курсов гигиены доктора Волковой. Это очень хорошая затея, дающая медицинскую грамотность всем желающим и прежде всего тем, кто больше всего в этом нуждается — интеллигентным домохозяйкам и матерям семейств. Курсы поставлены серьезно. Проходится физика, химия, анатомия и физиология как основа практической гигиены. Только я свою школьную науку изрядно уже позабыла, и мне придется порядком поработать.

1903 год.

3 января. Вчера я ночью долго, долго читала дневник Герцена. Сперва он меня было разочаровал тем, что в нем не чувствовалось той силы, которой я ждала от него. Но какой он честный, правдивый и хороший человек при всем своем громадном уме! И какой у него широкий и ясный кругозор, охватывающий все человечество...

7 февраля. Я у Радецких познакомилась с их племянником Юрой, который перевелся из Киева сюда в нашу военно-медицинскую академию. Это необыкновенный красавец, какой-то жгучей южной красоты. И, что при этом удивительно, ничуть не самовлюбленный, а, судя по его высказываниям, очень дельный, серьезный студент. Я его приглашала к нам в гости, и сегодня он первый раз был. Соне он страшно понравился. Это редкостная по красоте пара людей, когда они стоят рядом: какая-то красота времен потерянного рая или — грядущего социализма.

И, что интереснее всего и чего его родственники не должны знать, он — социал-демократ! И, видно, не только по взглядам. Он, должно быть, весьма серьезный деятель. Я подозреваю, что он сюда перевелся не только

ради лучшей постановки здесь медицинского образования. Но он пока никаких попыток пропаганды у нас не делает; или он как социал-демократ вообще не считает нужным тратить свои силы на каких-то «буржуев», или он раскусил народнически-эсеровский дух нашего дома и считает свое дело здесь безнадежным.

9-го. Были с Глебом на литературном вечере в гимназии Стоюниной. Здесь мне больше всего понравилось чтение В. В. Чехова и братьев Адельгейм, из которых мне особенно понравился старший. Я бы хотела их послушать в театре. Я еще не слыхала такого сильного чтения; они умудряются даже унылые песни Никитина превратить в захватывающую драму с кипучим действием.

Ну-с, весенний сезон в этом году рано начинается. Уже вчера в университете должна была быть сходка, но его спешно закрыли, будто бы по случаю экстренного ремонта. Ну, а самых неблагонадежных студентов еще раньше забрали.

18-го. Евлампия Петровна опять ездила навестить Нила. Она говорит, что он за это время еще больше развился, стал еще более возвышенным — одна сплошная идея. О, господи, как я его хочу видеть! Надо бы с ним поговорить о многом, чего не скажешь в письме. Все-таки ни Анна Павловна, ни Таня меня не удовлетворяют, какими бы они хорошими идейными людьми ни были. Не нравится мне что-то в этих социалистах-революционерах — какая-то вечная праздничная приподнятость, по-моему иногда искусственная. Такие лица, как Нил, мне духовно ближе. Мне бы надо разобраться во всем, у кого из них правда. Подчеркнутая сухость социал-демократов мне тоже кажется немного искусственной.

23-го. Валентина Федоровна с восторгом говорила о горьковском «На дне», которое она видела в Москве. Художественный театр приедет сюда на короткое время с этой пьесой и с чеховским «Дядей Ваней». Я обязательно хочу туда попасть. Пьеса уже при чтении чрезвычайно сильно действует. Пока мы с Соней поем полную безнадежного отчаяния песню босяков «На дне». И мне хочется найти какой-нибудь выход из этого безнадежного отчаяния, с которым я никак не могу мириться. Мы с Соней уже присочинили к песне бодрый, воинственный третий куплет.

25-го. Получила такое славное, откровенное письмо от Нила. Он боялся, что я рассердилась на какое-то его длинное пессимистическое письмо, которое я на самом деле и вовсе не получила. Ну, значит, все в порядке. Он меня приглашает к себе на лето с братишкой Андрюшкой, который ему очень симпатичен. Ну, на лето-то не придется, а на пару дней, действительно, надо будет. Думаю, что мы будем хорошими деятельными друзьями, когда мы договоримся обо всем.

26-го. Мы вчера с Соней были у Юры и остались очень довольны. Славный он такой, серьезный парень. Рыбак. Ловит Сонину душу. И она поддается ему. Но боюсь, не его словам и убеждениям, а его красоте и обаянию его голоса. Я уверена, что ни революционерки, ни тем более социал-демократки из нее не выйдет. И вот как странно: мне, напротив, так хочется знать, разобраться, решиться, взяться за дело, — а меня что-то он и не думает ловить. Отчего? Или и его, серьезного деятеля, тоже пленяет лишь Сонина красота? Но ведь и то сказать: чем я для него, как рыбака, могу быть интересна, когда я никогда не высказываюсь, а все только слушаю! Проклятая застенчивость, вызванная чрезмерным самолюбием...

27-го. Я еще раз перечла «На дне». Спасибо Горькому. Такие вещи поднимают над пылью буден. Я еще недавно сокрушалась, что у нас будто вовсе вывелись настоящие герои дела. А они, оказывается, втихомолку делали свое дело без шума и громких слов. А темная часть общественного мнения, та, которой одной только принадлежит легальное печатное слово, делала все возможное, чтобы дискредитировать их перед народом как нигилистов-преступников.

3 марта. Вчера со всеми курсантами-гигиенистами была в анатомическом музее. И опять диким пламенем меня охватила моя старая страсть к медицине. Отчего всегда самое любимое так трудно достижимо? Чтобы его больше ценили? Как бы ни было трудно, я в этом году сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться своего.

Маня во что бы то ни стало хочет итти на вооруженную демонстрацию. Ее сестра и Лев Измайлович всячески удерживают ее от этого. Зачем? Ее место там или вообще в таких делах, которые решаются только порывами. И если она погибнет? Что за важность? Ей хорошая смерть, а для человечества потери мало, так как практической пользы она никогда ни в какой области не принесет. Не такой она человек. А ее мученическая смерть вдохновит на дело менее восторженных, но более сильных и деятельных товарищей.

5-го. Прочла «Не страшное» Короленко. Что я из него вынесла? То, что все люди равноценны по той искре божьей, которая во всякого заложена, но которая у одних ярко горит, у других еле тлеет, у третьих засыпана толстым слоем золы. И помочь раздувать тлеющую в них искру божию надо всем, всем, даже видимым пошлякам и подлецам. Безнадежных людей нет.

15-го. Как долго Нил не пишет! Вдруг мое письмо к нему пропало на почте? Правда, очень было неосторожно с моей стороны вплести туда политику — ведь он все еще под полицейским надзором. Правда, я могла бы еще раз писать. Но я боюсь, как бы он не подумал чего. Может, он его и получил и сам боится ответить? Иногда мне кажется, что он питает больше чем только дружеские чувства ко мне. Что-то он писал такое странное о каких-то своих несбыточных мечтах, фантазиях и порывах, о необходимости взять себя в ежовые рукавицы, чтобы «заставить хозяина держать свой дом в порядке». Может, он предполагает и у меня что-нибудь подобное и боится за нас обоих, зная, что из союза двух церковных крыс ничего хорошего не может выйти. Эх, скорее бы он писал, да все бы осталось попрежнему! А то меня беспокоит какой-то его нервозный тон.

20-го. Я расспрашивала Маню о ее частном житье-бытье. Она за комнату платит 14 руб. Наверное, есть и подешевле. Обед курсовой стоит 5 руб. в месяц. Ну, а какая-нибудь юбчонка, ситцевая кофта, ботинки трехрублевые, чай, хлеб, книги, конки и пр. мелочь. Думаю, что на 20 руб. курсистке вполне можно жить. Значит, если я найду еще урок, чтобы продолжать посылать домой, сколько нужно, то дело вполне осуществимо. Я чем дальше, тем больше уже мысленно живу на полной свободе. Я думаю, что теперь уже я имею на это право. Ребята выросли и очень окрепли, все они пристроены, я их приучаю к максимальной самостоятельности, так что, я думаю, они вполне справятся без меня.

7 апреля. Сейчас вернулась из Художественного. Была на «Дне». Мои впечатления?.. Люди живут для лучшего. И я думаю, что много-

много людей родилось, жило и умерло для того, чтобы родился Горький. Благодаря ему, его помощью станет лучше жить огромным наиболее несчастным массам людей. Такие вещи, как его «На дне», сразу подвинут дело вперед на огромное расстояние. Неужели уже теперь, скоро станет лучше? Должно стать лучше. Ведь ни у кого больше терпенья нет; «зло кругом чересчур уж гнетет, ночь кругом чересчур уж темна». И вместе с тем трудно верить; еще слишком много темных умов, а главное темных сердец.

9-го. А вчера была на «Дяде Ване». Что за резкий контраст с «На дне»! В одной пьесе на самом дне человеческого общества, среди его отбросов, придавленных, нет, раздавленных жизнью, приниженных, оскорбленных раз навсегда, — все-таки и несмотря ни на что кипит ключом жизнь,— ключом, загрязненным, засаленным, мутным, окровавленным, но все же кипит. А как начнется землетрясение, даст ему спасительный толчок — и подымется он горячим фонтаном, зальет поля и леса, болота и пустыри. И, вылив всю кровавую муть, всосанную из поверхностных покровов земли, и, напитавшись крепких минеральных солей ее недр, уже будет биться кристаллически чистым, здоровым и жизнетворным источником. Тогда идите, пейте из него, чеховские «Дяди Вани» и «Три сестры»! В нем вы найдете исцеление от своих недугов — неврастении и пессимизма, лени и безволия.

12-го. В нашем обществе идут споры, разговоры и пересуды без конца, все по поводу «На дне». Вся печать, как один человек, осуждает пьесу, начиная с Михайловского и Вейнберга и кончая всякими мелкими сошками; «Горький не драматург, в его сценах нет действия, нет узла, в его лицах нет жизненности, — это философствующие философией самого Горького марионетки: вся пьеса только и делает, что бьет по нервам без всякого смысла, не дает ни эстетического, ни нравственного удовлетворения» и т. д., и т. д.

Чего они хотят? Я думаю, что они Горького достаточно знают, чтобы не ожидать от него красивых слов, чарующих картин, вообще эстетического наслаждения. И должны же они тоже понять, что его гордый, свободный, независимый дух не может мириться ни с какими общепринятыми произвольными формами. Бьет по нервам? Вызывает истерики? Да не лезьте же вы, слабонервные дяди Вани с компанией! Кто вас просит? И почем вы знаете, что персонажи «На дне» не типы, а фантазия Горького? Вы, ожиревшие тюфяки, разве когда-нибудь бывали в такой среде? И вы же сами себе противоречите, говоря, что подобные типы еще до Горького давали и Толстой и Достоевский и еще не знаю кто. А если так, то почему именно горьковские типы так захватывают?

Вы говорите, что роль Горького кончена. Слепы вы, что ли, или нарочно закрываете глаза? Может, и вы предвидите роль горьковских героев в грядущих мятежах, восстаниях? Ведь уже теперь кипит, кипит! Тихорецкий погром, златоустовские события, бакинские рабочие волнения, происшествия в Сочи, Либаве, — всего этого вы не видите, не хотите видеть?

К противоположной категории явлений относится кишиневский еврейский погром и еще неизвестно какой — дикая битва пехотинцев с флотскими в Кронштадте 7 апреля.

Из университета исключено 14 человек, из женского медицинского института сперва 28, потом еще 67 человек, за то, что требовали права обратного поступления для исключенных.

18-го. Была еще раз «На дне». Публика устроила автору овацию, кричала ему многократное спасибо, послала ему благодарственную теле-

грамму. Была бы я богата, я бы всю сцену закидала цветами. Второй раз пьеса действовала еще сильнее первого. Хожу весь день под ее впечатлением, сама не своя.

Таня бедная опять осуждена на месяц тюрьмы и год высылки — за преступление, в котором она не уличена — за хранение нелегальной литературы. И она, слава богу, не убивается, а почти что юмористически смотрит на дело. Вот как самодержавие закаляет даже таких слабых людей, как она!

24-го. Вчера была на последнем представлении «На дне». По окончании представления все отправились в партер для оваций. Крики, шум, гул невообразимый, летящие на сцену цветы, летящие к потолку шапки... У выхода толпа молодежи еще раз устроила автору овацию. И вдруг наэлектризованная толпа как по команде запела «Солнце всходит и заходит» и под стройное пение двинулась вперед по Фонтанке. А фараоны, не ожидавшие, так же как сама толпа, подобного казуса, растерянно смотрели вслед импровизированной демонстрации.

7 августа. Только что вернулась в Питер и сижу одна в пустой квартире. Хочу всерьез заняться своими делами, пока никого нет.

Гостила $1^1/_2$ месяца у своих. Еще больше подружилась с братишкой Андрюшкой. Ему уже 12 лет. Это необычайно любознательный человек, но странным образом неуспевающий ученик и как раз по тем предметам, к которым он обнаруживает больше всего интереса. Хороши же, видно, методы преподавания в гимназии! Он очень неохотно говорит о ней. Это темный пункт в его жизни, вообще полной ярких мальчишеских интересов. У него 2 переэкзаменовки, я ему помогала готовиться к ним. Кроме того мы много экскурсировали по окрестностям и отдыхая читали. На него, так же, как на моих питерских детей, сильнейшее впечатление производит Горький.

С остальными членами семьи у меня мало общего. Они вполне вошли в мещанскую колею города после смерти отца и гибели брата. Я там ни за что не могла бы дольше жить.

Один раз при мне приезжал Нил на денек. Мы опять ни о чем не успели поговорить. За нами явно следили Евлампия Петровна и ее сестра с каким-то обостренным вниманием. Приходилось говорить о безразличных вещах. Чувствовалось, что и он внутренно так же нервничает от этой обстановки, как и я.

Он как-то постарел за это время, выглядит не 24-, а 30-летним. Он только успел мне сказать, что тоже еще не приобрел прочного миросозерцания, еще колеблется. Он больше мучится отвлеченными вопросами, чем практическими. Здесь его путь определенный: он во всяком случае станет врачом-общественником. Он надеется, что и я пойду по тому же пути, и мы будем работать вместе. Опять советует для ускорения дела мне ехать учиться в Берн, так как в России все равно не удастся работать без помех — атмосфера слишком насыщена политикой. Условились, что я на денек приеду к нему, чтобы познакомиться с его семьей.

Поехала. Познакомилась. Живут бедно. Мать и дети очень милые, а отец развалина.

Мы надеялись, что без свидетелей мы наговоримся вволю обо всем. А вместо этого мы оба так нервничали, что ничего из этого не вышло. Нам легче было в обществе других. Мои догадки подтвердились. Мы больше чем только друзья. И это большое несчастье. На его шее семья — мать старая, сестра больная, брат подросток: на моей еще целых две семьи. Создать еще одну нищую семью? Еще раз закабалиться грозному молоху —

семье? Теперь, когда он, Нил, стоит перед широкой плодотворной общественной деятельностью врача, когда ему осталось два экзамена, когда его уже ждет определенное место? И когда я впервые стою у порога в широкий вольный мир? Нет! Это было бы безумием.

Мы ничего не говорили обо всем этом, мы и так поняли друг друга. Мы расстались с тем, что будем продолжать писать друг другу, будем очень искренни и откровенны в письмах, окажем друг другу всякую поддержку в жизненной борьбе — письменно.

Мы очень волновались оба и крепко-крепко пожали друг другу руки на прощаньи.

А вслед за этим я написала ему письмо, в котором просила прекратить переписку, так как я боюсь, что при создавшихся обстоятельствах она нам обоим будет не помощью, а помехой в достижении наших целей. Мне было страшно тяжело решиться на это, но эта операция необходима. Надо покончить со всем прошлым, чтобы не загородить пути к новому.

9-го. Он все-таки ответил. В его письме и боль, и обида. Он просит не отрезать путей, по крайней мере не сейчас, не обдумав всех возможных последствий. Я ответила, что это к лучшему для нас обоих, просила, чтобы он писал мне только, если остро будет во мне нуждаться и больше никто ему не сможет помочь. Э-э-х!

Оказывается, и Соня за это время пережила подобную же трагедию. Они все лето переписывались с Юрой. Он писал подчеркнуто сухие письма (но писал), она — свои длинные темпераментные эпистолы. Я, так же как и Соня, уверена, что его сухость была напускная. Когда сама Соня разоткровенничалась, он так же откровенно и очень тепло на этот раз писал ей, что она ему очень дорога, но что у него безудержно развивается туберкулез, и он не имеет права связать ее судьбу со своей. Что он в этом отношении будет тверд и непреклонен и что во избежание трагедий им лучше больше не встречаться. — Бедная девочка! Пожалуй, ей теперь будет очень кстати взять на себя заботу о доме, отце и детях, чтобы забыть о своем горе в утомительных мелочах жизни...

Ну-с, писала я и Льву Измайловичу о своем твердом намерении выселиться из его дома и целиком перейти на положение курсистки. Что попытаюсь попасть в Медицинский институт или на Рождественские курсы, а лишь в крайнем случае к Лесгафту. Он мне ответил очень спокойно, что в Медицинский институт мне, не будучи медалисткой, почти безнадежно попасть, что не следует разбрасываться, а с самого начала твердо держать курс на Рождественские, откуда потом легче перевестись в Медицинский.

15-го. Приехали наши. Я им предоставляю максимальную самостоятельность, чтобы они при мне приучались обходиться без меня. Были у нас Николай Пумпянский и Володя Лихтенштадт. Разгорелся жаркий спор между ними и Львом Измайловичем из-за Достоевского. Володя спорит спокойно, умно, логично, выдержанно. У него самостоятельное мышление, и он мужественно отстаивает свои мнения. Николай будет послабее его, но он славный, честный, горячий парень. А Лев Измайлович всегда в спорах бывает узок, односторонен и крайне нетерпим. Кто не согласен с ним, в особенности из молодежи, — попадает в разряд дураков, невежд, недорослей и психопатов.

31-го. Была Марья Матвеевна, фельдшерица, которая мне настойчиво советует поступить на Еленинские акушерские курсы, которыми заведует сам царский лейб-акушер профессор Отт и с которых легче всего перейти на медицинские. Сходила туда, там мне говорят, что я опоздала с подачей

прошения, что сейчас это можно устроить только лично через профессора Отта. Думала-думала и записалась к нему на прием, захвативши с собой единственный свой золотой в 5 руб. Вошла. Смущенно стала ему рассказывать о своих затруднениях, прося его помочь мне поступить на Еленинские. Он сухо выслушал меня и сказал: «Это вы не по адресу. Здесь я только врач. Обратитесь в канцелярию курсов». Я ему опять про то, что я была и что меня направили лично к нему. Он опять: «Обратитесь к канцелярию». И позвонил лакею: «Следующую больную». Я вышла совершенно обескураженная. Только зря потеряла свой золотой — целое богатство для меня. Он, подлец, и не думал мне его вернуть.

Ну, а зато я все-таки получила второй урок, 20-рублевый, через Анну Павловну. Итак, дело у меня в шляпе.

2 сентября. Записалась на курсы Лесгафта. Меня приняли без никаких, несмотря на опоздание. Завтра пойду в первый раз. Нашла себе славную комнатку. Как-то все будет в моей новой жизни? Талочка плачет. Глеб смотрит хмуро, а Соня пока увлекается своими новыми обязанностями домохозяйки. Я у них буду проводить все воскресенья и праздники и по будням между уроками и лекциями забегать к ним на часок, помогать где нужно.

Новая жизнь.

3 сентября. В первый раз сижу со своим дневником в своей маленькой уютной комнатке курсистки. Так это действительно правда, а не сон, что я настоящая курсистка? Что и я человек с ярлыком? Каково-то будет внутреннее содержание этого сосуда с ярлыком? Боюсь, что я уже не смогу себя чувствовать равной между равными. Мне 24-й годик, я много испытавший человек, у меня уже нет юношеской непосредственности и упругости. И все-таки как я счастлива!

Как мне понравилась большая светлая аудитория с сотнями слушательниц! У большинства интересные, симпатичные лица. Найду ли я среди них круг друзей или и тут буду осуждена на одиночество?

7-го. Начались практические занятия по остеологии. Стали шлифовать на бруске по поперечному отрезку человеческие кости, препараты для микроскопа. Сговорилась с другими курсистками в течение зимы доставать дешевые билеты в Мариинский театр.

9-го. Была у нас сходка по случаю выбора старосты. Интересно: сколько шума, гама! Ведь преобладает зеленая молодежь. Хотя есть публика и много старше меня. Это меня утешает. Есть, например, даже старые опытные учительницы, есть матери семейств, есть даже мать со взрослой дочкой. Большинство весьма пролетарского вида, но есть и франтихи.

В скором времени предполагается платная вечеринка для доставки средств неимущим. Пока все замечательно хорошо, и я прямо молодею душой, чувствую себя 17—18-летней, за которую меня и принимают за мою легкомысленную кудрявую стриженую голову и румяные щеки.

11-го. Жаль, и библиотека и столовая открыты только с 2-х до 4-х, значит, мне почти недоступны. Завтра соберется комиссия по приисканию занятий для неимущих для которых пока что, делаются сборы. Старостой нашего курса окончательно утверждена Клавдия Александр, живая, энергичная, очень образованная и сознательная девушка, приблизительно моего возраста — хороший оратор.

13-го. Была на практических работах. Петр Францевич (Лесгафт) задал нам на неделю 10 работ, которые я при моем образе жизни и работы и до рождества не выполню. Надо мне раздобыть пособий у моих знакомых врачей и работать на дому вечерами. Мне ни на что времени не хватает, приходится сидеть до поздней ночи, и опять от недосыпанья начинаются головные боли. А может и от насыщенного воздуха переполненной аудитории. Была в гостях у одной из наших питерских курсисток и познакомилась там с адвокатом Елпатьевским, сыном писателя.

Представляю, какую интересную картину изображаем мы, лесгафтички, когда целой стаей влезаем на верхотурку конки для поездки в город: только и разговоров, что о костях — прямо могильщики какие-то! Я за неимением времени беру с собой в такие поездки свой брусок с продольным разрезом кости и усиленно полирую его в пути под веселый шум товарок. Жаль на такую ерунду специально тратить время.

21-го. Вчера был у меня чрезвычайно счастливый день — я его никогда не забуду. Был вечер в честь Короленко в зале кредитного общества. Нас, курсисток и студентов, целая пропасть прошла зайцами. Читали чудные вещи Короленко, но как-то без оживленья, не разогрело. Из писателей видела Михайловского, Венберга, Потапенко, Анненского, Анненкову, Шапир, Чирикова и... Горького! Были, говорят, еще Скиталец и Телешов.

Как меня обрадовала встреча с Горьким! Он вовсе не такой нескладный, здоровенный мужик, каким он кажется на открытках и портретах. Это высокий, чрезвычайно стройный, худой до невероятности человек, с изможденным, желтоватым лицом с плотно обтянутой кожей. Волосы коротко острижены. Одет он в черную суконную рубаху, высокие сапоги, очень скромные, но хорошо сшитые. Мне кажется, что он очень стесняется, даже как-то страдает под любопытными взглядами публики. И я, признаюсь, принадлежала к тем, которые проникли в артистическую, чтобы увидеть его лицом к лицу. Только я не глядела на него в упор, как другие, и ничем ему не надоедала.

27-го. Сегодня была в «Предварилке» на Шпалерной улице, отнесла Мане ее вещи. Она уже сидит. Помню, как она меня предупреждала, что визит в тюрьме обычно предшествует сиденью в тюрьме. Ну, пока я никакой склонности не чувствую к делам, ведущим к тюремному сиденью. Я наслаждаюсь своей волей и удивительно интересной и разнообразной курсовой жизнью. Мне все больше нравятся лекции Лесгафта: исходя из строения костей, он открывает нам жизнь в целом во всем его многообразии.

Я познакомилась с одной массажисткой-акушеркой-лесгафтичкой, которая нам много рассказывала о прежних порядках на наших курсах, о том времени, когда они еще никакому попечителю учебного округа не были подвластны, когда на них учились и мужчины и женщины и даже рабочие.

1 октября. Много что-то интересного было за это время. Было у нас специальное педагогическое рисование. Было собрание лесгафтичек по поводу предполагаемого устройства бесед с детьми в Подвижном музее. Была я в самом Подвижном музее и с радостью повидалась со всеми прошлогодними сотрудниками. Заглянула и в Народный дом графини Паниной. Устроили вечеринку у Хохлушки с Кацапкой, у которых самая большая комната из всей компании. Было нас человек 8. Пили чай, пели и разговаривали до часу ночи. Тон беседе задала Саша, самая политически-грамотная из нас. Она год целый жила за границей среди эмигрантов и стала там социал-демократкой. Она совершенно не признает роли земцев, молодежи и вообще интеллигенции в современном революционном дви-

жении. Очень мало интересуется крестьянством, — кроме рабочих для нее ничего не существует. Спорили все, кто во что горазд, но, мне кажется, не так ради выяснения истины, как ради самого процесса спора. Хотя публика и говорит с большой уверенностью, но думаю, что и рабочих и крестьян они знают не больше, чем я.

Очень интересно сорганизовали угощение: каждый должен был из дома принести стакан или чашку, а также булку и чего-нибудь вкусного,— все это складывалось вместе, а сама хозяйка пожертвовала чаю да сахару. Самыми изысканными лакомствами в здешней среде являются простая халва, изюм да орехи, шоколад-лом и печенье-лом.

2-го. Наш кружок собирается вскладчину выписать журнал для своего политического самообразования. На курсах за душу курсисток борются 2 партии; во главе социал-демократок стоят сестры Богомазовы, во главе эсерок — сестры Измайлович. Ни те, ни другие меня особенно не привлекают, — я хочу сперва получше теоретически разобраться в вопросах.

Были целой компанией зайцами на «Ромео и Юлии» с Собиновым. Мы уже стали довольно ловкими мошенниками. Несмотря на массу зайцев и не меньшую — гончих, мы заняли превосходные места. Я захватила с собой и Соню, — пусть познакомится и с бытом учащейся голытьбы рядом со своими фешенебельными бестужевками. Ее наш мир, неожиданно для меня, очень привлекает. Не начинает ли у нее проявляться материнская натура? Лучше поздно, чем никогда.

9-го. Ах, как мне хорошо живется! Мне как будто стыдно перед кем-то за этот избыток радости,— как будто я этим ограбила кого-то. А может, и в самом деле так? Может, я еще не имею права бросить свою приемную семью, нарушить завет дорогой покойницы? Вчера была у них. Лев Измайлович чем-то удручен. У него, кажется, есть денежные затруднения. Соня, конечно, не может так экономно хозяйничать, как я. Да и ребята изрядно распустились без меня. Но я вернуться не могу. Слишком долго я и так ломала свою натуру.

4-го. Было у нас собрание по поводу ведения бесед с детьми в Подвижном музее. Шел разбор детской литературы. Говорил Петр Францевич (Лесгафт), Селима Марковна (Познер) и многие курсистки старших курсов. Из первокурсниц выступала только Саша, да я немного, сама пораженная своей смелостью. Эх, жаль, что у меня так мало времени! Как бы я хотела участвовать и в образовательных прогулках с детьми, устраиваемых Петром Францевичем. Я и в театры перестала ходить, настолько увлекаюсь кипучей курсовой жизнью, которая для меня, увы, доступна лишь наполовину. На рождество назначаются репетиции, надо к тому времени сделать все свои препараты. Боюсь, что я не успею. Боюсь, что к весне не одолею всего курса при таких обстоятельствах. Я систематически не высыпаюсь, я почти регулярно запаздываю к курсовому обеду и питаюсь все больше чаем и ситным. Работоспособность моя уже уменьшается. Сегодня мне пришлось уйти с черчения из-за сильного головокружения.

7-го. На меня почему-то обратила внимание одна девица, которая лишь изредка появляется на курсах. Она, кажется, даже не курсистка, а из «ловцов душ», социал-демократка. Зовут ее Маргаритой. Это имя ей очень идет. Такая она чистая, нежная и вместе с тем строгая. Она мне предлагает вступить в организацию. Я ей возразила, что еще не чувствую себя достаточно подготовленной. Она говорит, что одно другому не мешает. Я могу продолжать заниматься в своем кружке, но все же надо начать хоть

технически обслуживать партию. Я просила несколько дней сроку, чтобы подумать.

Почему она именно меня избрала? Ведь я никогда не выступаю, ничем себя активно не проявляю... Как мне быть? Я этого очень хочу, но опять-таки не знаю, имею ли я на это уже право перед своими двумя семьями. Ведь если я на это решусь, то уж навсегда. И достаточно ли я могу быть полезна делу?

19-го. Была у меня Маня Смирнова, только что выпущенная на свободу. Она ей не особенно рада, говорит, уж очень она хорошую компанию оставила в тюрьме, и очень уж они славно зажили вместе. Пожалуй, Нил и прав, что в наше время за стенами живется свободнее, чем на «воле». Она меня тоже пригласила в свою организацию. Была очень удивлена, что я, прожив столько лет в народническом окружении, стала социал-демократкой. — «Что-то на это Лев Измайлович скажет!» Я ее просила пока ему об этом не говорить.

А интереснее всего, что ко мне вчера вечером совершенно неожиданно заявился — кто бы вы подумали? — Юрий. И знаете с чем? С тем же предложением. Он, видите ли, чуял во мне социал-демократический уклон, но не хотел форсировать дела, а издалека глядел за моим развитием в данном направлении. Что это, какой-то заговор против меня как будто? И что за педагогические подходы ко мне! Забыл он, что ли, что я чуть ли не на год старше его? Ну, я его и огорошила тем, что уже завербована. Он недолго еще посидел и ушел. Но до чего он изменился? Весь как-то посерел, поблек. Да, туберкулез не шутка, в особенности, если человек хочет соединить серьезную учебу с серьезной партийной деятельностью.

20-го. Решили вчетвером с Хохлушкой, с Кацапкой и с Ивановой — все члены нашего десятка — нанять квартирку в 3 комнатки с кухней и самим хозяйствовать. Третья комната нам нужна для наших чтений, собраний и вечеринок. А то с этими хозяйками и прислугами все время приходится быть на-чеку. И что для меня очень важно: будем сами готовить, и я хоть вечерами буду обедать. Подобную коммуну уже устроила другая часть нашей компании во главе с Лизой, и очень довольны.

23-го. Я окончательно решила то, что у меня давно назрело; я дала утвердительный ответ Маргарите. В такое время нельзя жить только для науки. Она поможет делу переустройства жизни, но еще надо долго и упорно бороться за ее право на это. Итак, я записалась в эти борцы — будь, что будет. «Пускай погибну я» — не я одна. И настанет время, когда мы будем не только погибать, но и побеждать.

На этот путь, который мне был, очевидно, предопределен всеми обстоятельствами моей жизни, меня почему-то окончательно натолкнул Горький с его «На дне». Почему? Думаю, что здесь он ярче всего показал, до какой бездны могут дойти под влиянием социального неустройства даже лучшие и даровитейшие по природе люди. Эта судьба может постигнуть каждого из нас. Этого ужаса терпеть нельзя. Против этого надо бороться и будем бороться.

А если когда-нибудь судьба мне подарит сына, я его назову Алексеем в честь Горького. Алексей значит — помощник. Пусть он станет таким же помощником человечества в борьбе за лучшее будущее, каким является Горький. Да будет так.

25-го. В связи с моим новым званием и соответствующей деятельностью я сочла за лучшее дневник свой, вместе с письмами, карточками люби-

мых людей и прочими драгоценностями, уложить в шкатулку и отнести на хранение к Радецким — единственным людям из моего знакомства, которым не приходится бояться обыска. Это еще имеет то удобство, что я могу продолжать вести в нем свои записки, отдыхая у них после уроков. Софья Александровна, конечно, знает об этом, и я знаю, что она зубами своими вырвет мои драгоценности у каждого, кто покусится на них. Она обещала свято хранить и всякую нелегальщину, которая у меня заведется. Это ли не насмешка наших дней: такая ретроградка по взглядам, поклонница «трех китов», из личной привязанности ко мне, Але, готова содействовать революции, т. е. будущей убийце этих трех китов. Чудеса, да и только. Только она говорит, что я «слишком хороша для революции», мне бы надо «украшать собой дом хорошего «мужа».

27-го. И чего это только этот Петр Францевич не придумает. Кроме ежедневной гимнастики для своих курсисток он еще организовал какие-то общественные игры (олимпийские?) по воскресеньям в манеже. Я вчера была там, а сегодня у меня все мышцы болят, как будто меня часами били.— Ну, и бесилась же я там! Мне гимнастика по системе Лесгафта не нравится. Т. е. я ее очень даже признаю как воспитательную систему, но сама я приезжаю на курсы уже настолько усталая после своего многочасового рабочего дня, что двойное напряжение интенсивного и умственного и физического труда на его гимнастике мне уже не под силу. То ли дело игры! В них уходишь целиком и свободно душой и телом.

На воскресных играх бывают не только курсистки, но и студенты различных учебных заведений, и профессора, и еще какие-то литераторы седобородые, и рабочие, и чуть ли не все желающие. Игры интереснейшие, требующие ловкости, быстроты, сообразительности. В особенности мне понравилась сложная американская лапта. Я летала, как мяч. Все мои мальчишеские повадки детских лет опять были налицо. Многие меня всерьез приняли за мальчишку, а потом, узнав, что я всего только курсистка-лесгафтичка, все же почему-то окрестили меня Алешкой. Видно, роковое для меня имя.

Мне Глеб пожертвовал для гимнастики свои шаровары и голубую рубашку. Этот костюм несколько отличается от принятого лесгафтичками. Ну, и попала в мальчишки.

Была на лекции Тарле о Французской революции. Я ужасно довольна. Надо будет постоянно ходить на его лекции, хотя это собственно не полагается первокурсницам.

31-го. Переселилась в коммуну. Кажется, заживем знатно. Публика хорошая, компанейская.

На курсах стали заниматься стенографией,— понятно, только желающие — значит и я.

Были на вечере бестужевок — мне он не понравился, да и никому из наших. Будет ли наш лучше?

Петр Францевич теперь удивительно интересно читает. На его лекциях не чувствуешь ни парализующей усталости, ни головных болей. Читает он об утробной жизни младенца и о первых месяцах его жизни. Он горячо заступается за его права человека еще в этом возрасте, громя невежество и эгоизм родителей, которые в ребенке видят какую-то игрушку для себя.

6 ноября. Чтения наши в коммуне, как я и ожидала, проходят довольно бестолково, уснащенные смехом, болтовней и чаепитием. Все же мне полезно после моего длительного монастырского воспитания больше тереться в обществе других, в особенности в таком, где я вынуждена больше

деятельно выступать, так как у меня больше знаний и развития. Они меня тут уже прозвали ходячей энциклопедией, потому что я, худо ли, хорошо ли, но ориентируюсь в любом вопросе. Видно, не совсем даром я прожила в ученой среде Льва Измайловича.

Хотела вплотную втянуть в наш кружок и Соню, чтобы ее отвлечь от выспренно аристократической компании бестужевок, в каковую она попала. Что-то не выходит. Не нравится она нашим. Ей кто-то напел, что у нее замечательный голос, и она вздумала учиться петь. А наши смеются над ее будто бы комариным писком; им подавай солдатское рявканье... Да, пожалуй, не соединить несоединимого; там утонченная эстетика, здесь— базаровщина. Не знаю уж, что лучше, что хуже.

13-го. Приехала Евлампия Петровна. Говорит, специально ко мне, чтобы видеть меня в новой обстановке. Я же подозреваю, что это шпионаж... Привезла мне свежейшую новость: Нил женится! И на ком. На ее сестре Кате, 32-летней, неинтересной во всех отношениях девице, над которой мы с Нилом в свое время немало подтрунивали. То-то тогда на даче обе сестрицы так заинтересованно следили за каждым нашим словом и движением. Но он-то, он-то, как мог решиться на такой шаг, жениться на явно несимпатичной ему девице, на 8 лет старше его! Неужели он продается ей за деньги! Или он был вынужден это сделать за все те благодеяния, которые он получил в этом доме?

Евлампия Петровна зорко следила за впечатлением, которое произвела на меня эта весть. Но я за все эти годы научилась держать себя в ежовых рукавицах. Я и не дрогнула, а спокойно высказала свою «надежду» на всяческое им счастие и благополучие. Вот как люди учат лгать...— Но она не угомонилась: «А я так вовсе не верю ни в счастье ихнее, ни в любовь: что хорошего может выйти из такого брака, когда один из супругов носит в голове и сердце образ другой». — Я притворилась непонимающей. А она, уже с плачем: «Не притворяйтесь! Если моя Катюша будет несчастлива с ним, то это будет ваша вина; ведь вы любите друг друга —отчего вы тогда не согласились выйти за него?» — Я со смехом: «Хорошее дело, когда он меня даже и не просил об этом!» — Не верит... Ну, бог с ней. Но после этого я начинаю думать: не глупейшая ли демонстрация против меня эта история с его женитьбой? Фу ты, какой дурак в таком случае! Ведь заест она ему жизнь! Ни о какой интенсивной общественной деятельности думать нечего будет. Отъест он себе брюшко, наживет лысину и станет смирным семьянином. Ну, что ж, туда, значит, ему и дорога.

3 декабря. Сегодня у нас собралась интересная компания не только своих курсисток. Делала доклад социал-демократка со стажем (Анна Павловна Паромова, жена Соколова), — видно, человек несколько высшего калибра, чем наши курсовые эсдечки. Она мне очень понравилась: такая простая, чистая, сердечная. Без громких слов и резкостей она нам многое разъяснила.

8-го. Третьего дня на курсах читались приветствия, речи и отчеты по поводу 10-летия существования Общества физического воспитания. Особенно хорошо говорил профессор Долбня. Как они все любят нашего Петра Францевича! Оказывается, большинство профессоров занимается бесплатно на наших курсах, исключительно из любви к делу и к самому Лесгафту. Основная работа Долбни в Технологическом институте.

Я раньше никак не могла себе представить, что можно быть такими поэтами математики, как Долбня или Бауман... Я, кажется, даже начинаю любить столь ненавистный мне раньше предмет.

10-го. В воскресенье была наша курсовая вечеринка. Все мы ею очень остались довольны. Какие хорошие простые, товарищеские отношения между курсистками и профессорами, какое славное непринужденное веселье! Наш милый дедушка превзошел сам себя, был мил и оживлен, как никогда. Запросто беседовал со всеми, смеялся и шутил, расточал похвалы. Только как-то пугливо отмахивался от чтения адресов вслух, — прочел их про себя сидя в углу.

Опять выступил Долбня с очень своеобразной речью, в которой он совершенно отрицал историю, социологию и философию, как науки, ставя их на одну доску с религией. Для него существуют лишь точные науки: математика и естествознание. Это какой-то Мефистофель по силе ума и сарказма, но вместе с тем редкостно добрый и отзывчивый человек.

12-го. Были с Соней и с Глебом на «Пиковой даме». Жалею, что потеряла на это время. Меня сейчас уже совсем не тянет в театры и концерты. Рада только, что встретила там Володю Лихтенштадта, который только что приехал из Лейпцига и много интересного рассказывал о заграничных настроениях. Он, видимо, съездил туда по поручению организации.

(Окончание следует).

Московский Художественный театр.

Д. Тальников.

I.

Юбилейные дни для каждого живого художественного организма — дни мучительных тревог. Дело тут не в славословии обильном и обрядах кадильных, которые никакой в общем ценности за собой не имеют — одна суета сует. Никому не нужен также в сотый раз вспоминаемый умилительный рассказ о том, как в один прекрасный день в «Славянском базаре» состоялась «историческая» встреча и как Станиславский с Немировичем-Данченко, тогда еще молодые, без нынешних седин, просидели в пылких разговорах далеко за полночь, до самых петухов. Пора «беллетристику» эту заменить анализом идей.

Перед юбиляром в эти дни ответственных раздумий ставится вопрос о подведении итогов жизни, о самой жизни его в будущем — вопрос художественной и общественной «самокритики»; весь ли он закончился на перевернутой странице истории в данном отрезке дней и дел и ему остается честно признаться в этом, или же он жив для новых творческих страниц, для новых подвигов и борьбы?.. Обычно, покуда организм молод и наиболее продуктивен, весь, устремлен вперед — вот именно может пылать «до самых петухов», — он вне юбилеев. Почет и слава приходят с сединами, со старостью. Вот почему на юбилеях так часто бывают грустны: мы прощаемся навек с молодостью, свежестью, гордыми замыслами...

Но социальное значение такого подведения творческих итогов велико: жизнь не задерживается на мертвой точке, она перевернула страницу, чтобы начать новую — и вот готовьтесь к новым записям...

Московский Художественный театр, хоть и молод, сыграл большую культурную роль в истории русского театра, он перерос из истории театра в историю русской общественности, в свое время расцвета явился выразителем и средоточием тоски сумеречной и каких-то новых чаяний предреволюционного русского общества. Он слишком значителен и серьезен, как факт художественный и общественный, чтобы сводить его «день судный» юбилея к одному казенно-оптимистическому благодушию, к которому сводят его авторы многочисленных «юбилейных» статей. Он имеет право на более серьезный и строгий суд современности, если только он—не весь «в прошлом», не весь — «mortuus», не весь — одна обильно славословимая интеллигентская «икона». И он сам не должен бояться такого суда, и современность не должна «деликатно» отказываться от него. Прекрасный театр, к которому издавна тянулись, как «в Москву» обетованную, многочисленные герои чеховских российских будней, со всех медвежьих углов предреволюционной России, как к мечте о новом искусстве, о новом

откровении и усладе горькой, — конечно, должен иметь, что предъявить и в дни, когда на жизненном пиру новая, революционная Россия, о которой мечтали так в свое время «облезлый барин» Трофимов и Аня, «пионеры» грядущего...

II.

Празднуя в самый канун войны и великих потрясений 15-летие своей жизни, Московский Художественный театр подвел уже в общественном сознании итоги своему делу; тогда же выяснилось, что он успел сказать полностью то свое «новое слово», которое он принес на русскую сцену, полностью успел уже обозначиться со всеми своими крупными достоинствами и со всеми грехами, — завершил «круг» своего художественно-общественного бытия, круг своих эстетических идей.

Сумма этих идей, которым следовал неуклонно за первые свои 15 лет работы Художественный театр, сводилась к идеям так называемого натурализма. Поставив своей задачей осуществление на русской сцене бытовой правды во всей тщательности ее деталей, театр боролся с условностью и «ложью» искусства во имя принципа подлинности или точной иллюзии этой подлинности. С бо́льшим или меньшим успехом он прилагал мерку своего творчества ко всем организующим элементам театра: режиссеру, актеру, драматургу, живописцу. Добиваясь синтеза искусств в театре, «общего впечатления» от представления, выдвинув на первое место значение ансамблевого целого, он ослаблял в театре значение актера и его индивидуальности, как главной образующей творческой силы театрального искусства, свел творчество в известной степени к культурному мастерству и совершенству, к «хитрой», а, в сущности, наиболее легкой в искусстве — «механике», к той рационалистической «технике ремесла» (писательского, театрального), о которой так много говорят сейчас формалисты. Но это означало бы — там, где не было налицо непосредственного таланта — перестать «заражать» и захватывать зрителя своими эмоциями и идеями. Это был путь европеизации русского театра, путь эпохи вымирания великого стихийного «интуитивного» творчества, великих «непосредственных» талантов.

Конечно, натурализм «художественников», как определенное мироощущение, не явился произвольно, случайно или подражательно. Дело тут не в одних мейнингенцах, приехавших в Россию, и не в великолепном их режиссере-новаторе Кронеке, идеи которого усвоили Станиславский и Немирович. «Натурализм» выражал в искусстве социальную эволюцию века, дыхание и голос производственного уклада механизирующейся жизни кануна войны. О «научной функции» театра настойчиво твердил еще maître натурализма Золя. Для психологии машинного города, для настроений городского интеллигента, попавшего под колесо истории и неврастенически подавленного противоречиями этого общества, характерно было это точное, но поверхностное, не углубленное воспроизведение на сцене среды, выполненное в совершенстве на широкую ногу поставленной фабрикой-театром с ее дисциплинированной армией рабочих, монтеров, электротехников, декораторов, директоров и пр. при всех, уже значительных, возможностях техники предвоенного времени; характерна была эта централизация власти в руках управляющего «фабрикой» — режиссера; это начавшееся уже выдвигание массовых сцен, «толпы», но в этом театре пока только в качестве фона для индивидуума-героя; подавление актерской индивидуальности и самобытности, о котором я выше говорил, и культивирование «ансамблевого» актера-техника, послушного орудия в руках режиссера... Этим методам внешнего оформления со-

ответствовало снижение идеологической значимости пьес, которые театр трактовал, как материал для своих экспериментов, в духе «чистого» самодовлеющего искусства. Снижение и «опрозаирование» социальных идей во имя натуралистической правды быта и натуралистической психологии личности (постановки в Художественном театре «Горя от ума», «Доктора Штокмана», «Ревизора», нынешней «Женитьбы Фигаро»), увлечение настроениями мистико-философскими и символическими (Метерлинк, Андреев, Гамсун, Ибсен) — было в духе всего того эстетического индивидуализма и расслабляющего импрессионизма, которым жило предреволюционное общество.

Отметивший своим появлением и ростом эту фазу развития, которую русский театр неизбежно должен был пережить и изжить в связи с общим развитием русской жизни и ее европеизацией, Московский Художественный театр сыграл несомненно крупную историческую роль. «Но эта роль, — писали мы в свое время, — отходит уже в прошлое. Эпоха об щественного строительства, которая должна сменить нашу эпоху кризисов и брожения, и в искусстве должна ознаменовать переход от художественно-бесплодного и бессильного натурализма к новому, полному свежих творческих сил, обогащенному всеми новейшими техническими достижениями реализму, бытовому и психологическому, изображению быта нового человека и «души» этого человека, — к новому стилю, который найдет эпоха.

С такими задачами, завершивши «полный круг» сравнительно безмятежной жизни, стоял театр перед новой страницей своего бытия. Написал ли он ее?

III.

В бурные годы войны и революции, в грохоте пушек, потрясших тихое и уютное здание в бывшем Камергерском переулке, в отсвете пожаров, горевших за стенами театра, прошла вторая половина жизни его, вторые 15 лет его, и юбилей, который должен подвести сейчас черту именно под эти годы его второй жизни, вновь устремляет общественное внимание к этому театру, как к одному из культурнейших элементов оставленного нам наследия старой культуры.

Как всякий живой художественный организм, не изживший, не исчерпавший себя, театр стал, как мы видели, перед новыми проблемами, очутился перед каким-то глубоким творческим кризисом, резко обозначившимся в нем к концу первого периода работы, — как очутилась перед ним вся российская жизнь, те социальные силы, выразителем настроений которых театр являлся.

Театр одного поколения — 90-х и 900-х годов, кануна 1905 года и последовавшей за ним общественной реакции, тянувшейся до самой войны,— театр поколения, попавшего на величайший в русской истории стык двух эпох, — как одолел он этот великий рубеж, рубикон истории, перевалил ли через него с новым запасом энергии и примкнул к новому поколению, или же рубеж оказался и для него критическим, катастрофическим, как для поколения, породившего его? Как вышел театр из художественно-идеологического кризиса, в котором он очутился на пороге новой эпохи, нашел ли свое новое слово в ответ на запросы нового времени, отразил ли в совершенных формах своего мастерства, в самом стиле своего нового творчества в какой бы то ни было степени голос эпохи, новый темп жизни, новую складывающуюся конструкцию ее?

Театр, бывший некогда передовым, ломавший старые прочные рамки реалистического театра, за работой которого так следило общество и

молодежь, чувствуя в ней художественный «эквивалент» других социальных ломок, идущих в недрах самой жизни, — каким он вышел из колоссальной катастрофы старого мира? Или же эти 15 лет были годами сплошных перепевов прекрасных, но старых мотивов? Шел ли он во главе новых исканий искусства, — и это значит: был ли он «современным театром» нового поколения, «современником» своему веку в настоящем творческом смысле этого слова — или же, чувствуя необходимость в новом слове, искал его и не находил — и там ли искал, где надо? — был в брожении идей и слов, и остался в конце концов только «академическим», «историческим» театром, живой исторической и художественной страницей определенного, пройденного уже этапа русской театральной жизни?

Вопросы... вопросы, с которыми к театру пристает современность, в сущности, модификация одного и того же трагического вопроса, который ставит ибсеновская Гильда, пришедшая за «своим королевством». Всякий художественный организм, если он жив и хочет жить, не может жить только своим прошлым, на «проценты» от нажитого капитала. Он неизбежно обречен на неустанное каждодневное новое творчество, новые искания неуспокоенного художественного духа. Жив ли Сольнес — вот о чем спрашивает Гильда, вторгнувшись свежей бурей жизни в тихий кабинет стареющего «строителя».

IV.

Общий идейный кризис театра в сфере художественной, естественно, обозначился прежде всего, как кризис формальный. Все было сказано, проделан «полный круг», как выразился Станиславский на одном из предреволюционных юбилеев своего театра (кажется, 10-летнем). Чтобы «жить в искусстве», надо было творить дальше, но у Сольнеса уже «кружится голова на высотах».

Оставив основное ядро своего театра творить на счастливо найденном и пройденном пути, Станиславский все эксперименты и поиски «нового слова» направил на лаборатории-студии, где гибким материалом в его руках экспериментатора была бы послушная молодежь, а не испытанные, уже устоявшиеся в своих художественных принципах и больше ничего не ищущие, старые актеры. Так, работа Художественного театра разбилась на деятельность его в «центре» и на периферии — в филиалах, и эта последняя работа, отметившая второе 15-летие жизни в искусстве Художественного театра, представляет значительный интерес и в целях нашего анализа; без ее рассмотрения все наше представление о работе Художественного театра последнего периода будет недостаточно полным; к сожалению, недостаток места мешает нам сейчас это сделать здесь, но «новые слова» и там оказались весьма старыми.

О самостоятельной творческой работе «центра», «метрополии» за истекший период приходится сказать не много. Театр предпочтительно старался жить за счет своего прошлого, не очень охотно бродя по неверным путям поисков и не очень охотно испытывая капризы случайностей. Я говорю не о поездке (тоже не случайной) театра в страну мистеров Бэббитов со своим «стабильным» репертуаром — поездке, которая должна была повлиять самым резким образом на творческое самочувствие театра, обнаружив перед ним зияющую пропасть между искусством старых интимных полутонов и расслабленно тягучих импрессий дореволюционной России — и бешеным экспрессионистским и «конструктивным» стилем современного передового Запада. Он себя должен был почувствовать в роли милой старой провинциальной бабушки на торжище шумном не-

боскребов и золотой валюты, — какой-то «Московский Художественно-американский театр» в воображаемом синтезе журнального остряка.

Сыграла ли, однако, заграничная поездка роль действительной творческой встряски, импульса к стилевому осознанию современности? Дальнейшее показало, что нет. Ставя сейчас в юбилейный сборный «итоговый» спектакль своими старыми испытанными силами отрывки из «этапных» пьес, сыгранных им на протяжении 30 лет своей жизни, театр отобрал сцены из «Царя Федора Иоанновича» (постановка 1898 года), «Карамазовых» (1910 г.), «Трех сестер» (1901 г.) и «Гамлета (1911 г.), т. е. пьес своего старого, старейшего «стабильного» дореволюционного репертуара, созданного еще в далекие первые 15 лет своей жизни, только одним «Бронепоездом» отметив последний, молодой этап своей деятельности, — как будто последние 15 лет прошли для театра бесследно...

Может быть, это предположение и не так далеко от истины. Репертуар театра за последний период не отличался той ясностью и определенностью художественного и идеологического выбора, которая могла бы достаточно четко характеризовать его современное лицо. От андреевской «Мысли» к Мережковскому, сулившему «радость» — в годы войны; от сантиментально-мещанских «Осенних скрипок» к «Селу Степанчикову», — к старому давно похороненному быту «Смерти Пазухина» (нашедшей в театре прекрасное воплощение). Была смелая попытка дать выход потребности эпохи в героической романтике и трагедии, но из этого ничего не вышло — и не могло выйти, — ни из байроновского «Каина», ни из недавней работы над «Прометеем». Театр не имеет актеров трагических дарований (оттуда и бессилие холодной декламационной риторики качаловского «Гамлета» и неврастенически-упадочного и тоже риторического Гамлета-Чехова); сама экспрессивность трагического стиля не в характере этого театра угасающей либерально-буржуазной интеллигенции. Обречена на неудачу — даже и при наличии в театре такого подлинно-эмоционального артиста, как Леонидов — и попытка ставить «Отелло» после замечательного страстно-трагического исполнения в Москве роли Отелло артистом иной школы Папазьяном.

И сейчас театр продолжает жить больше перепевами старых, давно отзвучавших, идущих в какой-то сотый раз, пьес своего первоначального репертуара или же случайными и скупыми постановками современных пьес, имеющих, в большинстве случаев, слабую художественную ценность и не требующих углубленного творчества («Унтиловск», «Растратчики» и др.). Не сходит со сцены и сейчас «Царь Федор Иоаннович», изрядно одряхлевший за свою длинную сценическую жизнь, такой серый и нудный (с невыносимо-скучными боярскими шапками и длинными бородами, с царицей за пяльцами, с натуралистическими соловьями в ночном саду), «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», «На всякого мудреца» Островского (один из превосходнейших по исполнению спектаклей «стариков»). Были возобновлены во всей своей натуралистической ясности «Ревизор» (с натуралистически-патологическим Хлестаковым-Чеховым и прозаически-однообразным городничим-Москвиным), «Горе от ума» в очень слабом молодом составе, но во всем, — правда, потускневшем от времени, — блеске натуралистического быта, с неизбежным снижением общественной значимости грибоедовской комедии.

Такое же снижение и отход от сатирических задач спектакля был осуществлен и в новой постановке театра — «Женитьбе Фигаро», весьма слабо разыгранной молодежью, но с очень хорошим зато декоративным оформлением, которому неизменно аплодирует зритель. В чисто-художественном звучании был смысл и другой новой постановки театра — «Горя-

чего сердца», старой — и далеко не из удачных — пьесы Островского: хорош и красочен был здесь (хотя и переигрывал) Москвин, и очень хорош Тарханов (заставляя вспоминать, впрочем, непревзойденного в этой роли Кондрата Яковлева); и опять здесь был чудесный «настоящий» лес хорошего художника Крымова, и опять натуралистически-подробно, «по-настоящему», с «серьезным» видом разыгрывались нелепые длинные сцены «игры в разбойников», приобретавшие свой самодовлеющий самостоятельный смысл независимо от общего композиционного стержня пьесы (подобно сцене фокусов Шарлоты в постановке «Вишневого сада»).

Репертуарным откликом на современность за эти годы, в сущности, явились только, с одной стороны, «Дни Турбиных», разыгранные молодежью, а не «стариками», оставшимися верными старому репертуару — и вызвавшие к себе интерес не столько художественной стороной пьесы, весьма слабой, — сколько политической — и весьма сомнительной в смысле именно современности («луковой» по выражению Луначарского), в сущности продолжающие на сцене Художественного театра традицию омоложенных чеховских Вершининых, баронов Тузенбахов, поручиков Федотиков и Соленых, перенесенных в дни и обстановку революции; с другой стороны, переделка революционной повести Вс. Иванова «Бронепоезд» (с Качаловым в главной роли) — посильная дань старого театра требованиям наших дней, — характера «Любови Яровой» в другом «старом» — Малом театре или «Разлома» в театре Вахтангова.

Может ли дать эта пестрота репертуара руководящую нить для выяснений вопроса о современном художественно-идеологическом лице Художественного театра?

V.

Смешанный репертуар определяет в известной степени творческие блуждания нашего театра. Один «Бронепоезд» еще не делает в его стенах новой весны, да и было бы трудно требовать от определившегося «взрослого» организма каких-то нарушений своей природы. В искусстве, где больше всего действительны искренность и правдивость, все должно быть органичным, «направление» должно лежать в самой «крови». «Свое» лицо дороже всего в искусстве. И можно предположить, что не «Бронепоезд», а старое лицо «Дяди Вани» — выражение подлинной идеологии и современного Художественного театра.

Не один репертуар, однако, определяет эту идеологию целиком. Самый характер, принцип оформления новых и возобновления старых постановок — по-европейски культурных, технически совершенных, отмечен той же неизбывной для этого театра печатью натурализма; театр не ушел от сказанных когда-то в искусстве «новых слов», содержание которых давно уж выветрилось; театр продолжал жить в заколдованном кругу выработанной некогда системы, ставшей природой его, к кризису которой он подошел еще 15 лет назад. Из этого тупика он не выскочил за весь последний период революционных смятений. Мало того, он углубил его, как мы можем увидеть это на опыте его «периферической» работы. Самый темп этих постановок тягучий, импрессионистский, ритм актерской игры XIX века, ритм расслабляющих «настроений», стиль всего театра в его целом — это не стиль современного европейского общества XX века, «экспрессионистский» и «конструктивистский» всяких толков, напряженный, энергичный, волевой. Динамизма, проникающего все поры современной жизни и искусства, нет в этом театре.

Общественное значение Художественного театра в прошлом заключалось в том, что он был преимущественно (и это самая блестящая стра-

.ица его жизни) «театром Чехова», выразителем тоски и хмурости раздав-:енной реакцией эпохи, театром полутонов, мягкой лирики, пассивности, еатром не ярких красок, а нежной пастели, — всего, что отличало обще-твенную и литературную Россию тех годов, когда он зародился. Здесь ыли и порывы к новому, мечты о будущем, но в известной мере эстетизи-юванные — о «неизъяснимо» красивой жизни «через 200—300 лет», «небе в алмазах», о надвигающихся «бурях»... Но шел уже 905 год. Ювые голоса жизни нашли отклик в театре: таков бунт Горького против мещанства» и реакции — театр отразил Горького этой поры, хотя отразил го больше в образе индивидуально-анархическом и эстетическом, чем об-цественном, — с тем, чтобы после гибели 1905 г. отразить и эстетские .астроения общественной реакции (постановка «Бесов», вызвавшая про-ест Горького и всей левой общественности). Не «левый», и, конечно, .е «правый», а театр, желавший быть просто художественным, аполи-ичным театром чеховской интеллигенции — вот его органическая при-ода; интимная, индивидуальная психологическая драма вместо социаль-ой и политической нашего времени — вот содержание его эмоций, оответствующее всему индивидуалистическому характеру европейской кизни и литературы кануна «великих событий» (Гауптман, Ибсен, Ме-ерлинк, Пшибышевский).

Печать этого мироощущения лежала и на игре его актера, на мето-ах сценического воплощения образов. Актер подлинных сильных страстей подлинной социальной драмы, актер не натуралистических рефлексий, а ействий, активности, мужественного начала не мог родиться в атмо-фере эстетической пассивности, которую создавал на сцене театр. В этом тиле была выдержана и самая внешность театрального зала, интимная бстановка его, строгий серый тон его занавеса, тканей, его марка тоскующей айки... Этот театр первый уничтожил у себя шум живых голосов «улицы», плодисментов, вторгающихся в театр с живым зрителем и так подыма-ющих настроение актеров; он уничтожил и оркестровый антракт старых раматических театров, такой содержательный по существу, заполняю-щий пустую паузу между актами и держащий зрителя (да и актера а кулисами) в том особом ритмическом подъеме, в каком всегда держит узыка.

Но преимущественно тон сильной страсти должен был прозвучать а сцене нового театра, как характерный звук приближающихся гроз. еволюция принесла в русский театр страсти улицы, нового советского рителя. Она не хочет углубленного покоя, она ищет движения, бод-эсти, острых ритмов. Она ищет здоровой и бодрой «всенародности», тиля «балаганного» зрелища, задорно-резкого крика и пестроты театра арлекинады», остроты плакатного театра, «буффонадного» актера. Даже и крайностях и в нелепостях этого театра чувствуется какая-то свежесть олодой жизни, острота, динамичность эпохи. Пусть многое не прини-ается в этом театре — именно то, что от «штукарства», а не от подлин-ого творчества, пусть будут разногласия даже в идеологической оценке акого, напр., спектакля, как «Ревизор» в театре Мейерхольда, но этот пектакль совсем не агитационного типа, но своеобразный, остро-напря-:енный, насыщенный динамикой, остается, несомненно, одним из зна-ительнейших достижений современной театральной жизни, — спектакль, це не только форма ощущается, как форма, но ощущается в самом оформ-энии дыхание современности, где достигнут какой-то синтез актерских иереживаний» старого театра с современной остротой «ударности» и кспрессивности этих переживаний, — спектакль эпохи. Создал ли что-ибо равноценное ему Художественный театр за эти годы?

Вот откуда сейчас эта тихая грусть прошлого в его стенах. Так и кажется порой, что вот раскроются массивные двери, и ворвется в театр сама молодость, как ворвалась она в двери старого Сольнеса. Но двери крепки, и трагедия строителя развивается неслышно, глубоко внутри.

VI.

Возобновление ряда постановок старого репертуара, вплоть до чеховских, и возобновление во всей их первоначальной подлинности — не только простая техническая необходимость для этого театра: звучавшие в свое время так молодо и свежо — в наши дни иных слов, иных звуков они призваны показать органическое лицо театра, возродить его живую творческую кровь того прошлого, в котором была его гордость, слава, подлинная свежесть и современность. Но как проснувшийся через столетие сказочный чудак озирается с недоумением, не узнает мира, и новый мир не узнает его, так и воскресшее на сцене прошлое «московского чудака», (о котором недавно нам поведал А. Белый), встречается сейчас с недоумением новым поколением. В этом подлинная трагедия просыпающихся через столетие и еще не состарившихся творчески людей.

По-старому смотрится в окно обсыпанный белым цветом старый сад, о котором говорится еще в Энциклопедии; заливаются настоящие соловьи в этих садах в лунные ночи; темнеют пятна на обоях под снятыми портретами; колышатся занавески и цвирикают сверчки под печкой... Как будто ничего и не произошло. Кого, социальные настроения какой группы выражают сейчас эти занавески и сверчки? Чей голос звучит с подмостков театра, претворенный художественно в голос его актера?

Станиславский в своей искренней книге («Моя жизнь в искусстве») не скрывает ощущения своего творческого пребывания в прошлом: «Я думаю, что многого из юных стремлений я уже понять не могу органически»; и хотя он сознает, что старая эпоха — «время мирной России» — было временем «довольства для немногих», но он не может уничтожить той «органической» связи с «мирным» прошлым, которая в самой крови театра, и вот почему не только «многое» сейчас, но и самое главное, может быть,— ему трудно понять, ощутить. Характерно, что в 1918 г., уже перешагнувши со всей страной через порог новой жизни, Станиславский еще мечтает о «новой постановке» «Чайки», не шедшей в театре 12 лет; но ведь «Чайка» осталась старая, а прежнего уже не вернуть. И разве не слышал величавый «строитель Сольнес» полного безнадежности стона этой самой «чайки», попавшей под колеса «броневой» машины истории, и там погибшей, хотя и до сих пор ее эмблема («органическая») украшает занавесы и старого строгого МХАТа, и молодой Малой сцены его?

Великая заслуга Художественного театра и большая сила его в том, что это — театр большой культуры, первый наш театр европейского начала, того начала сознательной «дисциплины», порядка в искусстве, знаний, интеллекта, труда, мастерства и высокой технической выучки, которое он внес в старый талантливый, но размашисто-вихрастый, распущенный, мало дисциплинированный русский театр. Он — наш европеец с ног до головы, вышедший из Замоскворечья, первое слово Европы на нашей театральной почве. Серьезность, вдумчивость, требовательность и суровая бережность в отношении к своему искусству, — то, что знали на русской сцене только отдельные великие актеры, — укрепились у нас, как необходимое общее сознание правильных условий развития искусства, со времен Московского Художественного театра. Старому лозунгу «гения и беспутства» он противопоставил лозунг непрестанного культурного

труда, — таланта и труда. Вокруг театра и в нем самом создалась, как в храме, атмосфера поистине некоего культа, подлинной «религии» искусства.

И эти традиции, и высокие образцы того мастерства, которые дал нам Художественный театр, должны быть постоянным художественным напоминанием современному молодому театру в его ученических шагах. «Старики» Художественного театра еще молоды, ибо таланты не стареют. Если кончился период активной строительски-творческой жизни театра, период «новых слов», создававших эпоху, — то сохранилась, покуда еще живы эти «старики», — во всей непреходящей силе художественного очарования их работа прошлого, ценная своими формальными эстетическими достижениями, — тонкий вкус, чудесный сценический русский язык, — вот эта самая не стареющая власть талантов.

Есть в искусстве подлинном то, что непреходяще радует века и поколения. И Пушкин не «современен» в том смысле, в каком мы говорили выше, — в смысле тематики, идеологии, ритма и стиля, в смысле «новых слов», — но и «старыми» своими словами он чудесен для современников наших, — непреходящ и жив. Старый Художественный театр — как всякий театр — жив постольку, поскольку живы его творцы. Уйдут с жизненной сцены эти прекрасные работники его и созидатели, и мы никогда больше не увидим на театральной сцѐне такого Чехова, такого — исключительно живописного и поэтического в этом театре — Тургенева, которые могли быть только ими созданы в плане известных художественных восприятий эпохи. Этот театр стал для нас классическим, и так мы должны подходить к нему: вот почему наше поколение должно торопиться увидеть эту предзакатную художественно-прекрасную вереницу картин и образцов, созданных театром и уходящих в небытие с жизненным веком их творцов. Должен быть возобновлен ряд классических постановок активно-творческого периода этого театра, в дополнение к тем, которые уже возобновлены, — во имя чисто-художественной непреходящей ценности их, — не только исторической и педагогически-воспитательной. В таком именно смысле мы понимаем слова А. Луначарского об «обеспечении» за театром возможности ставить «старые пьесы» («Правда» № 251). Здесь поколение наше увидит во всем блеске и ясности подлинное лицо этого театра, всю поучительную картину его роста, исканий и достижений, ощутит всю атмосферу предреволюционных настроений русского и европейского общества (Чехов, Гамсун, Гауптман, Ибсен). И здесь театр будет творить, переживать снова свою вторую творческую молодость, делать свое подлинное дело, присущее ему органически, осуществлять свое, выпавшее ему на историческую долю, призвание.

Марксистская критика предостерегает от слишком примитивного и прямолинейного подхода к искусству. Искусство выполняет свою великую социальную функцию не непосредственно и не элементарно.

Свой «социалогический эквивалент» («социальный заказ») Плеханов выводил из полнокровного художественного творчества, ибо в мире искусства действителен только «художественный эквивалент» социального. Ценность произведений дидактического искусства имеет весьма ограниченное значение не только эстетическое, но — что важнее всего — и практическое, в смысле влияния. «Заражает» и организует только подлинное, психологически-углубленное художественно-правдивое творчество. Это и есть «искренность» и «честность» в искусстве.

Недавнее возобновление прекрасного спектакля «Вишневого сада», после долгих лет исканий путей к современности, может быть воспринято, как некий символ органического возвращения к истокам, какое-то осознанное завершение «круга» работ этого театра, славного жизненного пути

его. От себя не уйдешь в творчестве — этот закон звучит не менее убедительно, чем в жизни биологической личности, и перед нами в этом спектакле вновь обретенное, подлинное лицо театра.

Вот здесь, в этом спектакле тонкого благородства, тонкой культуры и мастерства, тонких настроений, Художественный театр осуществляет полностью свою природу, призвание и художественное назначение. Театр, вполне откристаллизовавшийся, определившийся полностью, как театр известной переходной эпохи «кануна», театр «Чеховской России», с нею, в сущности, творчески кончил старые блестящие страницы своего бытия. «Вишневый сад», которым мы могли так любоваться сейчас в отдалении зрительного зала, есть и отдаление эпохи, «история», чудесный эпилог, лебединая песнь этого бытия. Каждый художественный организм, полностью сделавший свое дело, приходит к эпилогу. Но из старого возрождается новое.

Вряд ли, конечно, можно согласиться с тем, что «подлинный пролетарский зритель» воспринимает теперь этот театр, как «свой» театр, и его успехи, как «свои», в чем хочет нас уверить А. Луначарский, но что перед Художественным театром, — как указывает тот же автор, — раскрыты новые «боевые, творческие пути, раскрыты дали, раскрыта новая молодость» — в этом, конечно, критик прав.

Художественный театр хочет жить новой жизнью, вступив в нее через свою молодежь, через свое второе поколение; перед ним огромные задачи — собрать в свой театр действительно талантливых актеров, учить их своему опыту, художественно оформить, воспитать в плане нового современного искусства эту свою «смену», в плане подлинного творческого преображения действительности поставить ее на рельсы современного «стиля». Он может и, мы знаем, хочет это сделать, но это уже будет новый Художественный театр наших дней, нашего поколения, новых театральных форм [1]), нового действительного отражения в искусстве революционной современности.

---

[1]) В этом духе и звучат слова В. Немировича-Данченко на юбилейном чествовании: «Верю, что вырастет новый молодой Художественный театр» («В. М.» № 252).

В степной коммуне.

Анна Караваева.

Поезд торопливо гукнул и прогрохотал дальше. Скоро его не стало слышно — и нас охватило безмолвие ночной степи, нарушаемое разве ленивым скрипом линейки. Глаз не сразу привыкает к этой мышино-серой мгле под редкими звездами. Но постепенно различаешь по обе стороны дороги темную неровность взрыхленной земли.

— Чьи это здесь пашни?

Мой возница, неторопливый дядя с русско-украинской речью, выразительно присвистнул:

— О-о, тут буде большое діло. Новый совхоз народився.

— Какой?

— Та зерновой же совхоз, на 200 000 хектаров.

Он повернулся ко мне и, небрежно подергивая вожжами, весь отдался своему рассказу:

— Они же уж пашут. Нехай бы давно было, а то еле поговорить люди успели, вот, мол, совхоз будет, а уж нá тебе — пашут. Разве ж на то миру не вдивиться? — С иронией, плохо скрывающей невольную похвалу, добавил: — Куды быстро научилась работать совітска власть... Выехало 250 тракторов, и пошли, и пошли! Шум стоит, целое воиньство! На бригады поделены, над каждой один особый начальник наблюдае, работают на две смены. Пятнадцать тыщ хектаров под озимое в мамент сготовили, в мамент! А потом весной под яровое почти двісти сгарнуют... ой, мати моя, иде ж тут не быть хлібу?.. Ну, и людей же бегало смотреть, вот дивилися такой работе. Як же не скажешь: от-т хозяева-а!

— А вы говорите — жуликов много.

Он неопределенно хмыкнул.

— Так тут же усе на виду. Богато работали. Картина!

Я спросила, бывал ли он в коммуне имени Карла Либкнехта.

— На мельницу, на кузню к ним езжал.

— Ну, как?

— Живут справно, но работают дюже. Они ведь на голое мисто пришли, там ведь в степи до их было колено лысо. Ну, може два дома было, а боле ничого. Ну, вот они и строются все, аж до души доходит. А так ничего, люди обходительные. По началу как они тут зажили, жалко было глядеть: рваны, босы, домов нема.

— Ну, а теперь?

— Кто же ровняе.

* * *

Когда выехали на бугор, откуда видна коммуна, уже стало совсем светло. Белые домики и зелень, а дальше еще гуще темнеют зеленые купола деревьев. Мальчонка в отцовской шапке, подтягивая длинные до пят штаны, любопытно осмотрел меня со всех сторон и не сразу ответил на мой вопрос:

— Где у вас тут председатель?

Невысокий человек в полушубке подошел к нам.

— Дядя Федя, вот тут до тебе.

Кратко сообщаю, зачем приехала. Он слушает, жмурясь и потирая рукой щеки, — лицо у него мятое, непроспавшееся.

— Что ж, — говорит он, — если такое ваше желание, то нам очень даже приятно. Мы тут в степи больше все одни да одни.

Мы идем широкой улицей, обсаженной молоденькими топольками. Прохладный ветер треплет их неокрепшие кроны, и они, трепеща серебристыми листьями, белеют, как и хаты. Все под выцветшими шляпами соломенных крыш, хаты выстроились на солнце, показывая свои чисто обмазанные стены, словно заботливые и обиходные девчата. Кое-где среди травы пестреют цветы: темнокрасные петуньи, желтый горошек, оранжевые бархатцы.

— В степи совсем желто, а у вас трава еще не сгорела, — говорю я.

— Чай, мы от степи-то разнимся.

— Деревца-то давно садили?

— Всякие есть: однолетки, двухлетки.

— Хорошо это, что об зелени заботитесь. Вид у вас совсем другой тут, будто и не степная деревня.

— Так мы и должны делать, — говорит он полупоучительно, полухвастливо. — Мы ведь тут должны жить, як светоч какой.

Он, видимо, не знает еще, как ему со мной держаться, и потому отвечает в несколько приподнятом тоне.

— Кто это у вас за цветами ухаживает?

— А это наши девчата... барышни, — почему-то поправился он.

I. Печурка.

Хат десятка три-четыре, стоят они просторно, и около каждой глинобитная печурка с высокой трубой. Пожилая женщина ставит на маленькую плиту большой эмалированный чайник.

— День добрый, хозяюшка.

— Будьте здоровеньки.

Завожу разговор. Что, видно, у них готовят отдельно, каждый для себя?

— Як видите, — досадливо поправляя платок, женщина прибросила в печку кусок кизяку. — Нехай бы все эти печурки бісы забрали. Одна морока з ними. — Она сердито чистит картошку и бросает в котелок. — Отт, спросите председателя, когда кормиться будем все зараз.

— Тьфу! — прервала она разговор, бросаясь к печке — ветер распахнул дверцу. Женщина, громко чихая, стала шуровать в печке.

— Нет еще у нас общей столовой, — сказал председатель. — Все вот строимся, расходы большие. Есть более срочные нужды, чем столовая.

Мы идем к длинному строению, которое отличается от других хат крылечком под узорчатым козырьком крашеного навеса. На кусочке железа: «Народный дом». Длинное узковатое зальце. Глиняно-желтый бордюр по беленым стенам. Два-три плаката. Деревянный шкаф без

гекол с книгами. Несколько школьных парт, старинных, с неудобными юпитрами. У стены старинный же орган, дубовый, с нарядной резьбой. [поднимаю крышку — и жмурюсь от пыли. Трогаю клавиши. Ни одна е звучит.

— Труп, — сочувственно следит за мной председатель. — Не машина для музыки, а прямо труп.

— Откуда это у вас?

— Да один коммунар нам ее в наследство оставил, а наши ребята, онечно, учиться вздумали... ну, не доглядели маленько. Бывает.

В глубине за партами сцена. Поднимаю тяжелый холщевый занавес, окрытый грязно-голубой масляной краской. Крохотная сценка, два шага в ширину, еще три в длину, актерам выше среднего роста подвиться на ней едва ли возможно. Задник изображает завод, который легко ожно было бы принять, например, за тюрьму, если бы не черные трубы, эвольно щедро утыкавшие крышу. Ни перспективы, ни желаемого коэрита художнику соблюсти было никак не возможно. Днем на сценке элутемно, как в чулане, что касается красок — будь вы сам Мазерель, ного ли можно сотворить из сажи и белой глины?

— Ну, как наша сцена вам нравится?

— Конечно, вам надо в будущем лучше.

— Э, — сказал тут секретарь коммунарской канцелярии, подниая над закапанным чернилами столом оживленное лицо. — У нас тут имой такое творится, что яблоку негде упасть.

Он сбросил со лба два черных вихра.

— Так играем, что даже молоканы к нам ходют, а у нас и своей ублики уйма. — Он весело фыркнул. — Местов больше уж нема, а элоканы в дверях тискаются; а ну, пустите, голубчики, до театру. ускаем, конечно. Но ж-жара такая ж делается, что играть нам можно іе-еле. А молоканы ни одного спектакля как на грех не хотят проустить.

Потом председатель говорит:

— На машину перво-на-перво пойдем. Это мы так молотилку зовем.

II. «На машине».

Ветер за ночь уже стих почти, только по дороге кружит легкие юнки пыли.

— Засуха у нас, — говорит председатель. — Вот уж три месяца ждя не бывало.

Вышли за ворота. Карл Либкнехт, нарисованный на железе, учий брюнет с угольно-черными усами и глазами, смотрит на неоглядіе степные просторы.

— Значит урожай-то не из важных?

— Куда-а. Еле средний. Если бы не альбидум... Мы этот сорт и угой еще просто зовем «гирька». Аль-би-дум нас больше всего вывез. нас его больше половины.

— Давно вы про альбидум узнали?

— Да года два будет. Как узнали, так и посеяли. Все-таки по 40 дов собрали с гектара. Можно им пользоваться.

Издалека слышен шум молотилки, и сухменная степь живет и горит громким голосом будто наперекор знойному небу.

Темнокрасный корпус молотилки возвышается над желтыми проэрами, словно некий корабль, яростный и пышный, над покоренными регами. Ее огромное тело сотрясалось, объединенное в одном дыхании

с трактором — молотилка работает его приводом. Подхожу и читаю на тракторном боку: «International. Cicago. 15×30».

— Интер у нас силач, — подошел к нам морщинистый загорелый человек в засаленной кепке. Усы его желтые, как степная щетина, а глаза будто выцвели от солнца. — Четыреста пятьдесят сил в ём заключено.

— Ну, как, дядя Карташов, керосину хватит? — спросил председатель.

— Боюсь, не хватит, браточек. Посылай на Целину за топливом. Этому ж чорту (он махнул на трактор) знай только давай.

«Интер» фыркает едким сизоватым дымком, и на жнивье пахнет городской улицей. На крышу молотилки без останову падают снопы, исчезающие мгновенно в ее весело бушующем чреве. Я вижу вверху грудастую девку с могучими икрами, которая легко и рьяно потчует машину снопами. Синяя девахина юбка вздувается парусом, девка хохочет, забирая ее промеж крепких колен, желтый платок на ее голове мелькает, как ромашка.

— Дядя Хфедор! — плюясь хлебной пылью, кричит она. — Велите ж, пусть буханок з пекарни принесуть нам помягче... А, дядя Хфедор!

— Сама и без хлеба мягка, — цыркает вверх сквозь зубы белобрысый парень, багровый от загара.

Девка опять хохочет и уже кричит в другую сторону пронзительной скороговоркой, широко разевая белозубый рот — она раззадорена, опьянена шумом, своим здоровьем и молодостью и готова, кажется, наслаждаться собственным криком. Я подставляю ладони под исток — и зерно теплой струей бежит по пальцам.

— Ай да Интер! Всю ночь ныне робил и опять тарахтит.

— Разве вы и ночью работаете?

— А почему ж нет? — смачно жует хлеб дядя Карташов. — Днем ветром разносит, а ночью тихо. Мы не считаемся, коли для хозяйства треба.

Он идет к «походной» кухне, похожей на городской уличный ларек. Там режут хлеб и выдают борщ, который варится поодаль в большом чумазом котле, будто вынутом из банной каменки.

— Сколько у вас тракторов?

— Четыре, — отвечает дядя Карташов. — Тракторов-то хватает, да вот ума-то у нас мало. Как поглубже засмотришься в культуру, так и хлоп себя по башке: «эх, кабы мы книжны были люди-и!».

Он начал жаловаться, как трудно вести большое коммунарское хозяйство, какие бывают неудачи, а трудностей не перечесть.

— Главное, планы плохи, все самодельные, многое зря...

По дороге на мельницу председатель Федор Тимофеевич раскрывает мне основную суть карташовских сетований.

— Нет у нас руководителя настоящего, чтоб был научный человек. Тянемся мы все к инду-стри-лизации хозяйства, а что выходит — недовольны. Вот, взять хоть бы дизель у нас на мельнице, совсем дурной, вовсе позорит нас.

Дизель купили по случаю за 6 000 руб. С нынешней зимы истратили на его ремонт не одну тысячу. Помол на сторону поэтому прекратился, выпала важная статья доходов коммуны.

— Вот... тарахтит, а сам вовсе дурной, — уныло поскреб под фуражкой Федор Тимофеевич, когда мы уже подошли к мельнице. В машинном отделении двое молодых ребят, чумазых, засаленных, делали что-то возле корпуса машины. Маховик гудел, бежали вверх серые ленты трансмиссий.

— Ведь работает ваш дизель?

— А трясется-то как, смотрите. Нет, он дурной вовсе стал. Уж и свету не дает. Вечером с лампенками сидим.

В помольном отделении все седо от мучной пыли. Сыплются из желобов в лари бурая отрубь, желтоватая и белая струя муки. Пробую— душистая, сухая.

— Почему вы все-таки урожай считаете еле средним?

Тут заговорило сразу несколько коммунаров-мельников. Разве столько может давать здесь земля? В 1925 году — вот это был урожай: собрали около 40 тысяч пудов, а теперь 10—12, не больше.

— Климàт не по земле. Без мелиорации спокойно не дыхнешь.

Малорослый человек в холщевом фартуке озабоченно поджал губы.

— Артизьянские колодцы, говорите, — с усилием выговорил он трудное слово. — Нет у нас еще столько пороху — пять тысяч за это надо.

Паренек, сидя на фордзоне, привез на подводе зерно. Он ловко спрыгивает наземь со своего дымящегося коня.

— Что, фордзон не плохой ломовик у вас?

— Хвост трубой не гне, — смеется парень.

Мельница работает до темноты.

* * *

— Да, — сказал мой квартирохозяин Иван Данилыч, — двадцать пятый год был дюже с плодами, не знали, куда хлеб девать... А вот эти два последних так и секуть, так и секуть.

Катерина подперла щеку темной ладонью и скучливо моргает черными, еще горячими глазами.

— Одежка, обувка на дивчатах як тае, а получим ли хоть по червёнцю?

Иван Данилыч пошевелил бровями и неспешно положил ногу на ногу.

— А и по пятерке не здастся, тебе жалковать не зачем. Расхватать по червёнцю немного надо ума, а как діло спечется хуже мухи?

Он опять шевельнул темнорыжими бровями и добавил:

— Ужинать лучше собирай.

III. «От какой гниды освободилися».

Ужин, завтрак, обед — еда одна: баранина, заливающая картошку бело-голубым студенистым салом, густой борщ в бельмах бараньего жира, помидоры, красные и сочные, глянцевитые, пупырчатые огурцы. Изо дня в день Катерина Михайловна морщится и обливается потом возле печурки за хатой, сердито жмурит черные глаза — каждодневное пиршество неизменно, как движение земли вокруг своей оси.

— Бачу же сама, что не умею, — досадливо говорит потом она, проворно мелькая иглой. — Но ведь уси ж мы так учены.

— Стребоваем ныне столовую, — горячо поддерживает красивая кареглазая молодуха.

— А ты за бога боле чипляйся, може выйдет гарненько, — смешливо советует Катерина.

— А, какого ляду присовітовала.

Катерина рассказывает о «старых годах», когда людям «за того бога шею грызли». Нрав у Катерины, по-молодому меняющийся от досады к смеху, и потому рассказывает она хорошо. Смеемся над историей о попах

с чудотворной иконой, о жуликоватом страннике, называвшем себя «тринадцатым апостолом» и исцелявшем «с глазу на глаз» девиц от «лихого глаза». Смешна также история о пьянице-попе, мощах и «христолюбивом» уряднике.

— Да, було, було, — отирая сухим пальцем веселую слезу, кивает головой бабка Карташиха.

— От какой гниды освободилися, — рассеянно бросила кареглазая молодуха. Безбожие здесь естественно и просто, как кивок бабки Карташихи. Ни в одной хате, где довелось побывать, я не видала ни иконы, ни даже гвоздя в переднем углу. Бегло тут вспоминаешь слышанные в свое время разговоры об «исконном», «нутряном» и пр. «благочестии» деревни. А здесь люди выбороли себе жизнь под степным беспощадным небом, а «благочестие» — под колесами фордзонов.

— Есть у вас все-таки верующие из стариков? — спрашиваю у одного коммунара. Он, смеясь, рассказал мне о двух древних старухах, у которых будто бы по иконе в сундуке.

— А впрочем сам не видал.

IV. Как идет жизнь.

Будит дробный звон колокола. Чиркаю спичкой, смотрю на часы — еле начало четвертого. За стеной на улице чей-то басистый шопот:

— Таиса! Дивка сонная, вставай... Таиса! Ну!

Это огородник, «плантатор» по-здешнему, будит катеринину дочку Таису, нескладную пятнадцатилетку с мечтательными бархатными глазами.

— М... м... — томится Таиса, не имея силы оторваться от сладкого сна на холодке.

— Що ж так percentenько? — жалобно тянет она, но огородник неумолимо басит:

— Отт, яка паненка г....а выискалась. Живо!

Я мысленно провожаю сонную встрепанную Таису до огорода, который поливают на заре, выпуская воду из пруда. Чтобы дойти до краснеющих гроздьев помидор и зеленых раковин завивающейся капусты, вода должна чуть не до колен смочить смуглые таисины ноги. «Зато сна як не було», говорит потом Таиса. Она поведала мне, что «добьется до агронома».

Колокол частит еще и еще — вставай, коммуна. Выйти через десять минут на улицу — уже слышны стуки молотилки и тарахтение «Интера» — от машины не уходят, тут и ночуют. На небе еще белесая, предрассветная муть, а улица уже перекликается. Коммунары идут на мельницу, в плотницкую, в кузнечную, в столярную. Малорослые плоскобокие фордзоны тянут подводы с зерном на мельницу. Круглолицая пекариха, завязывая на ходу фартук, торопится к пудовым квашням. Над крышей пекарни скоро завьется синий дымок. Еле солнце поднимается, как «промнутся» молотильщики — пошлют за хлебом горячий, нетерпеливо фыркающий фордзон. Тут только поспевай. Недаром председатель говорит:

— Семья у нас в 250 человек, в рабочее время пудов по восемь за день уберем. — В семь опять звон колокола — завтрак, печурки дымят. Во втором — обед. Последний колокол уже в полутьме, когда подоят коров. Недолго горят лампенки — к девяти вся коммуна спит. Где-нибудь всхлипнет запоздавшая гармонь, прозвенит девичий смех — и тишина.

V. Как начали.

Мы едем на пчельник, и Федор Тимофеевич рассказывает мне историю коммуны.— Вышел в 1919-м году призыв от советской власти: организуйтесь в коммуны. Люди у нас в большинстве намученные, редкий на германской не бывал, а которые с плена пришли. Ну, ходили из хаты в хату и сбили народ. Две коммуны — «Братская жизнь» и «Красные земледельцы» — соединились. Назвались имени Карла Либкнехта, чтоб никому не обидно было, а потом еще поразила нас его мученская судьба. И за нас, кажем, пропадал человек.

— Гражданскую войну вы еще застали? Как тогда приходилось коммунарам?

— Не сахарно. Палили когда надо, чого ж?

«Героический» период и другие коммунары вспоминают как-то против ожидания спокойно, будто даже с ленцой.

— Бились люди, ну и ты не сидел на печке.

Они целиком вросли в настоящее, полное надежд и забот.

— С чего же вы начали?

— С голого места, тут только два строения было: домик, что теперь под яслями, да амбар. Тут вроде как кусок от имения Султан-Гирея (в самом-то имении совхоз). Да... Ну, вот начали жить. Было у нас: семь лошадей, десятка два коров, овец испанских сотни две, трактор один. А нас пятьдесят девять семей, а кругом степь. Жили сначала в амбаре, намерзлись, собаке легче. Потом давай строиться. Заботы приняли-и! Дерево у нас дорогое, пять рублей бревно, по шестьсот рублей саманная хата нам обошлась. В сырые еще хаты попереходили, своим паром и высушили. Девять семей за разное время в сторону отошли. Кто забот испугался, кто единоличную собственность пожалел. Кажут, которые теперь уж по второму дому строят, на работников ноги взвисели. Ну, нехай их как хотят.

VI. Теперь.

— Четыре трактора у нас: 2 фордзона, Кейс да Интер. Других машин тоже прибавилось. Локомобилей два, сенокосилок не три, а пять, борон 20 штук, на 8 прибавилось. Овец испанских было пятьсот, теперь их 900, коров 30 голов, лошадей 19. Овцы у нас такие есть, что в племовчарню 138 голов послали. Ну, мастерские наши вы повидали, не очень богато, но куем, слесарим, плотничаем сами, еще и для единоличников делаем. Заводишко маслобойный поставили за 2 500, мельница 17 тыщ встала... А только...

— Что ж, худо разве? Вы очень много сделали за 8 лет.

Председатель поглядел из-под надвинутого к глазам козырька:

— Это так. А почему сочувствия нет? А, говорят, эксплоа-ти-руете мельницу. А, индустриа-ли-зация у вас полным ходом... Який же ляд «полным», когда без столовой живем?.. Того не чуют, что мы еще темны, о научном руководителе тоскуем...

Он ругает дизель, маслобойку, где тоже какая-то «чортова проруха». Я осторожно спрашиваю, не увлекались ли иногда машинами через силу. Напоминаю про локомобиль, который не употребляют (фордзон дешевле), о просорушке, которую купили без камней, думая, что подойдут своедельные, но ничего не вышло, машина стоит зря.

— Продали бы теперь, да покупателя не найдем... Конешно, будь умственность наша больше, индустриа-ли-зация была бы у нас что надо, да и не задолжались бы, а то планы у нас никуда.

— Много долгу?

— Шестнадцать тысяч надо отдать до нового года. Очень мы этим все озабочены.

— Это пока, да и понятно: вам все нужно в больших размерах, не для одного, а для 250 душ.

— Разумеем, разумеем. Но ведь тоже завидно на людское житье. Вот в Ростов изредка съездишь. И-и, чего-то там не побачишь: магазины, рестораны, кино. Люди такое кушают, что аж слюнки текут. Приедешь в степь, и даже горько станет. У коммунаров, которые многолетные, еле по две сменки на себе, в хатах зимой продувает, бо у нас только одни рамы... э-эх... Думаешь себе: вырабатываем мы наши часы, а когда легче будет?

— Всегда работали на часы?

— Нет, последние года. Сначала лозунг был: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Полозунговали мы таким манером да чуть в трубу не вылетели. Мало еще в нас совести, мало. Верите ль, больных у нас оказалось без счету... Ах да ох. Смотрим: тут не доделано, здесь не кончено. Поворотили на часы. Лучше стало. Старые, малые не работают, больных лечим. Ребята с 14 лет, которые не учатся, уже работают. Видали, как меня на улице ловят, кто работу кончил.

— Боятся часы потерять?

— То-то все мы прилежны, коли лукавство наше в узелок позавязали.

Интересуюсь, как управляется коммуна.

— Есть совет коммуны. Председателем вот меня выбрали (покоя лишился с того дня), хозяин — общее собрание коммуны. Организация у нас по всем правилам, только в самих нас еще изъянов много.

— Нелегко человека перевоспитывать.

— Кто каже, что это в дудку свистеть? — раздумчиво говорит он и вдруг сразу повеселевшим голосом крикнул: — Э-эй, под-д-да-ай!

— Вот и сад наш, — обернулся он ко мне. — Поглядите, как мы его омолаживаем, это не везде увидишь.

VII. Садовая молодость и... Толстой.

Иван Степанович главный садовод «упорен годами», как говорят женщины в коммуне. Уже дедушка, а в каштановой бороде седина прячется ловчее груздя во мху.

— Обратите внимание, — говорит Иван Степаныч, указывая на старую грушу, — какая она корявая, карежится во все стороны, словом, старость. Теперь... глядите сюда.

Протянув руку вперед, словно маг, вызывающий волшебство, он идет дальше по тропке.

— Вот... с прошлого года молодеет.

Груша с пышной куполообразной кроной. Другая, третья, целая семья. Это новое древесное племя, нарядное, гордо поднявшееся вверх к солнцу.

— Вы листья посмотрите, они и на ножке-то иначе сидят. Вот тут было срублено, тут сращено, видите?.. Груш на каждом дереве будет по пять сортов, один из них двухфунтовый дюшес.

— Здорово!

— На будущий год и остальное фруктовое старье мы так же вылечим.

В питомнике уже поднялись над буроватым черноземом карликовые выводки яблонь розмарин, абрикосов, тутового дерева.

— Вот скрещение меня ужасно интересует, — таинственно говорит Иван Степаныч.— Какие тут чудеса возможны! У меня мечта — к Мичурину съездить. Стар уж он, поди?.. Как бы еще не помер, пока мы поспеем съездить.

Я спрашиваю, где он научился ухаживать за садом.

— От людей, из книг. Я русский, но вырос в Закавказьи, свой сад имел.

— Вы, значит, в коммуне другой работы не несете?

— Все сад берет, к сожалению.

— Почему это «к сожалению»?

Он отвел меня в сторону и зашептал, качая головой:

— Указывают на меня, мало-де работаю, однажды даже «эксплоататора» от своих получил. И все недовольны: подай им сразу виноград, подай сразу мед...

— Пчелка же, сами видите, торопиться в работе не любит, — продолжает он те же мысли уже на пчельнике. — Мы их вот какой роек собрали (он сложил ладони ковшичком), а теперь их двенадцать ульев. Я уж ублажаю, как могу, этот народец. Обратите внимание, ульи-то разноцветные. В случае ветра испугаются или грозы, чтоб каждый рой свой дом нашел легче. Погодите, говорю нашим, до будущего года, будет тогда пятьдесят ульев, как раз по улью на семью.

— Что же, соглашаются?

— Конечно, хотя они уж ныне ложки приготовили, чтоб мед хлебать.

Он надевает тряпичную шляпу с черной кисеей и осторожно поднимает крышку с голубого улья.

— А в пчелиной-то республике какая идет работа, вы только гляньте... Сейчас рамочку тихонько вынем...

Он вынимает рамку за рамкой. Пчелы, жужжа и трепеща над гнездами сот, заняты размножением своего деятельного рода.

— Я и говорю всегда нашим: обожаю я садоводство, виноградарство, цветы, пчел. Человеческой жизни не только хлеб, а и садовая молодость тоже нужна, нельзя без радости жить.

— Ваша правда, Иван Степанович.

Еще раз дивлюсь его многообразным уменьям.

— У меня ж у самого сад был куда лучше этого.

— Не жалеете об этом времени?

— Зачем же, ежели я понял общее благо.

В прохладе омшанника И. С. поясняет, откуда это он понял.

— С юности сочинения Толстого читал.

Он цитирует целые отрывки из толстовских учительных рассказов и вспоминает свои давние восторги:

— Тогда, понимаете, такая подлая кругом была жизнь... и вдруг этакий свет, доброта, святость... Возлюби общее благо, людей... Подумайте... а?..

Он страстно доказывает, что «вся наша жизнь Толстым заготовлена».

— Был ли бы коммунизм, если бы не жил Толстой? Есть ли такие люди, которым графское их звание было ни по чем, которые ото всего бы отказались... а? Я думаю, что такие вот люди и строят общее благо.

— Вы убеждены, И. С., что Толстой именно строил?

Он некоторое время смотрит на меня с изумлением и укором.

— Ах ты, батюшки мои, да как же иначе? Конечно, он строил. Да я же это по себе вижу! Кто я был до чтения Толстого? Разве я понимал жизнь, общее благо?.. Ведь наша-то советская власть разве не есть общее благо?

— Ну... ты тут соли через край сыплешь, — вмешался все молчавший председатель. — Ежели б наша советска власть для всех была благая, так ведь тогда никак из положения не вылезть: тут тебе мы, а тут Султан-Гирей. Попробовал бы ты нам зараз благо сделать.

Иван Степанович не поддается, досадливо отмахиваясь:

— Ты что мне политграмоту преподаешь? Я сам ее изучал, ладно уж. А Лев Николаевич тут не при чем.

— Почему же, — говорю я, — очень даже при чем, Иван Степанович. Вы любите этот сад?

Он даже изумляется.

— Ну, что вы? Жизнь же моя вся забивается на это дело.

Я спрашиваю, кто, по его мнению, имел всегда больше прав на этот сад: помещик Султан-Гирей или они, хлеборобы-крестьяне.

— Ну, ну, — даже расхохотался он, до того ведь это очевидно. — Конешно, наши законные права, мы их добыли.

— Можете вы себе представить в этом омоложенном саду других хозяев кроме коммуны?

— Ну, это то, что должно быть.

— Так. А как же с Султан-Гиреем? Он ведь, я думаю, этого всего не хотел вам преподносить.

— Мы сами взяли! Своею собственной рукой!

— Так ведь это уж выходит насилие. Вы думаете, Лев Николаевич это бы одобрил?

— А то бы нет? — говорит он, колеблясь и почесывая пальцем в бороде. — Что ж бы ему и не одобрить, раз он общее благо для всех заготовить хотел.

Он приберег еще один аргумент:

— Чай, Владимир Ильич Ленин уважал Толстого во-как, превыше небес.

Я рассказываю ему, что Ленин писал о Толстом и как наша партийная и советская общественность готовится к столетнему юбилею Толстого. Садовод смущен.

— Скажи пожалуйста, всю расценку для человека переменили. И для чего?

— Видно, так требовается, дорогой, — невозмутимо говорит председатель, сладко позевывая.

Мы долго еще обсуждаем вопрос, почему наше октябрьское десятилетие изменило все «расценки» для людей, и садовод в конце концов соглашается, что это «железная необходимость». Тут же приводит евангельскую цитату о старом и новом вине. Но он еще не успокоен.

— Но как же тогда выходит? Верил я Льву Николаевичу — и выходит как бы зря время терял... Оказывается, не он меня к коммунизму привел...

Я успокаиваю его: пути к коммунизму могут быть разнообразны для каждого отдельного случая, и никакая встряска для сознания не проходит бесследно.

— Не сомневаюсь, И. С., что в свое время Толстой сильно помогал вам, но теперь вы, коммунары, могли бы показать Толстому пути жизни.

И. С. даже испуганно отмахивается:

— Что вы, что вы? Мы, крестьяне малограмотные... да Толстому! Да как же это может быть? Как он, великий человек, шел и как мы идем?

— Вы хотите сказать, И. С., что вы все опередили Толстого, и он остался далеко позади?

— Да неужто ж он, великий, и вдруг позади? Ой, ой... Да неужто ж мы такие, а?

На полу омшанника уже заиграли золотые хвосты вечернего света, когда мы кончали разговор о значении великих утопий.

— Люблю я мыслями поработать, — таинственно говорит мне на прощанье Иван Степанович. — Но у нас эту благородную потребность не удовлетворишь.

— Почему?

— Наши ребята очень все практикой озабочены. Только бы им еда, питье да одежа. Всякая умственная высота им непонятна.

— Долгов да и забот всяких неотложных у ваших коммунаров много, вот им и не до высоты. Придет и это в свое время.

— Ну, — засмеялся председатель, когда мы выехали на дорогу к виноградникам. — Поговорил наш ученый всласть. А то ему одни молоканы достаются — спорит он с ними. Все насчет безбожных вопросов да ихней критики.

— Насчет чего критика?

— А по поводу того, что мы коммунары. Они нам все пророчат, что мы сгибнем, передеремся. Коли б вы были с богом, а то у вас его нема, — так говорят. Невозможно, дескать, по-ихнему, чтоб все пятьдесят хозяевов были довольны.

— А вы что на это?

Он присвистнул и поправил картуз, слезающий на глаза.

— Спорим... да вот виноградник развели... Вот и лозы наши.

На пригорке над прудом, как девичьи шеренги, идущие за водой, выстроились двести лоз. Их кренит вниз, и зеленые кудри скоро достанут землю. Тугие кисти плотных зеленых пузырьков отягощают ветви.

— Но винограду ныне все равно не быть, ведь лозы только трехлетки, им можно бы без помехи в питомнике быть. Наши коммунарские желают скорей виноград кушать, а наш садовод против: не торопите лозу, она сверх силы не может. Вот наш старик нарочно и пересадил лозу — доказать хочет, что с трехлетней даже при ягодах винограда настоящего не будет. Вот уж на будущий год будем с виноградом. Двести лоз — двести пудов на худой конец.

VIII. «Столовая мечта».

— Идем до базу, — говорит Михайловна.

Баз — просторная ограда, куда загоняют к вечеру коров для доения.

— Тпрусеньки, тпрусеньки, — зовут своих коров доильщицы. Коровы все больше темнорыжие, розовомордые, со спокойными мокрыми глазами. Доильщицы моют им вымя, обтирают и тянут соски. За изгородью уже приготовлен большой чан для сливания молока, впору сесть взрослому человеку. Но чан наполняется слишком медленно. Заглядываю в ведра доильщиц — не больше трети.

— Задивишься нашему удою, — насмешливо сказала крупная краснолицая женщина в белом платке. — Разве так корова доиться должна? Надо, чтоб целое ведро давала зараз.

В голосе ее возмущение.

— Сколько ж тут молока на семью достается? Губы чудок смочить.

— А давали у вас коровы по ведру?

— Як же не давали, когда корм был. А ныне все в степи пожгло.

Подошли еще коммунарки с ведрами, тоже ждут молока. Утренний удой идет в сепаратор, а вечерний коммунарам.

Женщины вслух жалеют скотину.

— Заморилися.

Одна говорит доильщице:

— Буде тянуть. Телку оставь.

— А що ж? Тоже дитё.

Женщина в темном платке, горько вздыхая, поднимает плечи.

— Ох, когда мы с мужем единоличники были, то-то ж на коровушек душа радовалась: сытые, поеные.

Ее сожаление встречается сочувственно.

— Пару буренок насытить яка ж тут заковыка?

— А у нас тридцать.

Спрашиваю у немолодой чистенькой женщины в белом платке и фартуке:

— Что ж, коммунаркам, как видно, жаль своих прошлых отдельных дворов?

— О чем не пожалеешь, когда жизнь трудна, — неспешно, как бы выражая общую мысль, сказала женщина в белом платочке. — Добра уж у нас много, работаем-то как, сами бачите, а радости нема.

— С утра встанешь, и така ж забота головушку морочит. Как-то долги заплатим, какой ныне год задастся? Охо-хо...

— Работаем, солнца не видаем, добра все больше накопляем, а когда радость буде?

— Живем в коммуне, та за нее и помираем, — вздохнула маленькая длинноносенькая женщина.

Женщина в белом платке рассудительно поправила:

— Ну, до смерти далеко, а вот долги — такая ж тягота. Они и дышать не дають.

Другие подхватили, перебивая друг дружку, женские жалобы все как близнецы: одежу, обувь не справишь, каждый огрызок сахару считаешь и т. д. Дальше круг жалоб расширился. Заговорили о столовой, страстно, с нетерпеливой тоской, как о желанной мечте. Я вспомнила тут сибирскую свою знакомку, Прасковью Чатошину, многосемейную, но обиходную бабу, высохшую до времени от дворовых своих забот.

— Прасковья Сергеевна, — скажешь ей, — столовую бы открыть у вас в селе.

Тогда кроткая моя Сергеевна преображалась.

— Да провались она, чертова выдумка! Я не гулящая, чтоб чужую стряпню есть.

А тут в степи призывают тот день, когда все сядут за общий стол.

— Буде у нас, як у ресторани.

— Бела клееночка, каждому своя тарелка.

— Цветов поставим на окны, да и на столы тоже.

— Повариху, а може и повара найдем.

— Ха... ха... Пусть нас пирогами да шницелями кормит.

— Есть из овощев таки сытны кушанья, бабы!

— Говорю ж, буде як у ресторани.

— Пусть тогда из «Сеятеля» к нам гости жалують.

— Тогда не обидно нам: у вас кофий, у нас кофий, будьте здоровеньки.

Мы сидели все в кружок на колючем ковре сохлых трав. Коровы за изгородью слились в одно шумно вздыхающее полусонное тело. Тьма всюду густая, плотная словно армяк. Пахнуло горьким кизячным дымом печурок.

— Отт, дожидаются! — злобно, как о врагах, говорит чей-то звонкий альт.

Но женщинам все не охота расходиться.

— Ну ж, и закабалёны ж мы той печуркой!

Это дружно на разные лады повторяют все. Жалуются, что многие безграмотны, что ничего нет «для умственности», проклинают зимнюю скуку и пряжу.

— Ой, да когда ж ту прялку, что Надежда Константиновна говорила, продавать будут в каперативе?

— Все купим. Тут тоже свобода для нас.

— Не вроде машины.

Заказывают мне все разузнать про прялку. Много спрашивают про Москву.

— Хоть бы одним глазочком!

— Ильича бы повидать!

— Как он там, милой наш, спит сном гробовым...

— Увидишь вот его, а уж ни о чем не спросишь...

— Ой, да я б его только побачила, це мене дома да улицы, везде их е, а Ильич-то один.

Кто-то воодушевленно предлагает устроить экскурсию в Москву. Ревниво вносится разъяснение:

— Но... одни чтоб коммунарки! Мужики и так свет видают.

— Хоть бы пяток нас покатило... на всю жизнь бы помнили.

Мне тут же дается поручение разузнать об экскурсии.

IX. «Страдаем, а меду дождемся»!

Мы чиним у амбара чувалы, т. е. большие мешки. Молотилка торопит — скоро некуда ссыпать зерно. Чувалы как на зло с такими дырами, что кулак пролезет.

— Як наша жизня! — сердито обкусила нитку румяная молодица, с желтыми, как спелый колос, волосами.

Разговор только что шел о коммунарских долгах. Золотоволосая обижена, что трудностям «конца не мае».

— Що, у нас не коммунарьско государьство? Пусть зараз, богато даст нам...

Но с ней не соглашаются, потому что это не так просто: «все рты того ж захочут».

Я тоже напоминаю, какая мы еще бедная страна.

— Так пусть уси города и деревни буде одна коммуна! — страстно требует молодица.

Высокий дядя, с коричневым, лоснящимся от загара лицом, расхохотался так, что запрыгали жилы на его сухой темной шее.

— Ну, догадлива ж ты! Да ты спроси Рыкова в Совнаркоме: «для чего, товарищ Рыков, стараешься?». А он тебе: «да чтоб коммуна была по всей земле!». Чуешь? Только не одной деньгой коммуна жива, а и горбом ее надо поднимать.

Он спрашивает, какое у меня впечатление от коммуны. Говорю, что у них в коммуне много такого, чего в деревне днем с огнем не найдешь, будущее уже на глазах.

— А, — подмигнул он. — Да ежели б мы его не видали, так в куче бы тут не жили. Вы еще года через два к нам загляните, друзей с собой везите. После коммунарского вина аж песни запоете, як на свадьбе. Мы за свою коммуну когда и страдаем, но меду мы дождемся... Чи нет, бабы?

X. О перехожих людях и интересе.

Разговор о них зашел, когда мы сидели в слесарной. Начали со старого «дида», ворчуна-плотника, который редко когда бывает доволен. Слесарь, молодой, сухощавый, почесал небритую щеку, вымаранную чем-то черным.

— Ну, этот хоть ворчун, да наш. А то есть и такие, что ворчат-ворчат, да и уйдут потом.

— Да, — сказал председатель, — бывали у нас такие бродяги перехожие. Попросятся, потом каются — и шагай опять до шляху.

Спрашиваю: середняки или бедняки?

— Э, про то много у нас неверно говорят. Бедняк-де понимающий, его скорей к коллективу привяжешь. А вот совсем иначе выходит в жизни. Приходит к нам такой голый: хочу с вами работать, примите. Хорошо. А работаем мы, как видите сами, с восхода до ночи. Вот он встанет поутру и зевает, и потягивается. Ай, я-де не проспался еще... Потом думает себе, что ежели он в коммуне, так карман у него будет прямо набит деньгами, а до коллективного имущества ему что. Поживет да и каже: ой, как у вас порядок строгий, я этак не привык.

Слесарь презрительно сплюнул.

— Я одному такому толкую: мы ж как рабочие тут на степи... из хозяйства хотим продукт сделать, чтоб первый сорт. А он: тут ничего моего нет, я вольный... Жулье!

— Так оно и есть, — подхватил председатель. — Этакие народы только в глухое время подкормиться пролезают, до нового хлеба.

— Бывают у вас и теперь такие случаи?

— Теперь уж не принимаем никого, коммуна переполнена. За нынешний год у нас двадцать новорожденных, надо об них думать. А земли под зерновым хозяйством у нас не больше 500 гектаров. Скоро хватать не будет. Куда нам еще таких едоков принимать?

— Те, кто с добром пришли, держатся как надо, — добавил он. — Отдал имущество в общий котел, уж уйти-то не так просто, его интерес держит. Может иногда и сердце у него щипляет, а он живет — интерес держит, зря всего лишиться жалко. Вначале ведь многие жалеют, что из единоличников ушли. Потом свыкаются, живут, работают хорошо.

XI. Об «умственной культуре».

Ясли в старинном каменном доме, в том самом, что достался коммунарам вместе с амбаром. Двадцать пять детских коек, выструганных коммунарскими плотниками. Бязевые простынки, перовые подушенки, клеенки для грудных, все чистое, имеется на две смены. Видишь круглую ребячью щеку, с блаженно прижатым к ней кулачком на белом квадрате подушки — и невольно сравниваешь. Вспоминается мне в уральской деревне нарядная изба: резные ставенки, расписанные, как полотенца, над крыльцом радужно пестрый петушек из железа. Не изба, а невеста. Но за печкой висела скрипучая «зыбка», где в пропревших, вонючих тряпках корчился и плакал ребенок. Мать подержала его у груди и положила на те же тряпки, удивленно успокоив меня:

— Мать честная, да этим пискунам чистого не наготовишься!

Заведывающая яслями (она же женорганизатор), тов. Климова стучит на ручной машинке.

— Целинское Епо отпустило вот нам мануфактуру, нашьем платьиц ребятишкам. За три года мы для них все необходимое имеем, но вот умишки

ихнего занять нечем. Ни игрушек, ни книжек у нас нет, а ребятам тоже культура нужна.

— Ну, эти хоть малы. А вот женщины меня беспокоят. Созывала я их не раз на собрание, так еле двое-трое. Тугой у нас народ, не желает тянуться к свету.

— Но с голыми руками тоже трудно пробудить интерес к работе.

Приходим, наконец, обе к выводу, что надо связаться с окружным женотделом, просить шефа, написать ряд статей в газету «Сельский пахарь» и т. д. Климова озабоченно морщит свое смуглое, впалощекое и подвижное лицо, как будто слегка стесняясь.

— Я еще хочу... об одной нашей несправедливости поговорить. Сердце болит за молодежь. Часть молодежи учится за счет коммуны в ШКМ, а коммуна назначает срок до 17 лет. — Климова волнуется. — Нельзя образованию рогатки ставить, если человек способен. Зависти еще в нас сидит много. А, твой сын или дочь за книжкой, а мой на черной работе — не желаю, пусть и твой идет туда же... Да вот... хоть бы моя дочь... Если, говорит, мне учиться больше нельзя, так я и жить не хочу... Хоть бы уж вы поговорили с нашими...

— Нет, — говорю я при этом старом и нехитром маневре. — Этот вопрос вообще интересно выяснить.

Федор Тимофеевич боится не трагедий, а другого.

— Учимся у города, а его же и опасаться приходится. Разве мало у нас хороших ребят в город посманивали? Вот и страшно: а вдруг наши ребята от коммуны отворотятся: а, кажут, ну вас, степные, деревенские. Но мы ныне другое выдумали. Коли надо, будем на агронома учить, на техника, но пусть подпишет наш ученик, что-де столько-то лет обязан работать на коммуну. Пусть они у нас культуру поднимают.

Секретарь заможний уныло оправляет свои черные вихры.

— Так надо ж и деньги на культуру откладывать. Откуда брать нам умственную культуру? Книги у нас не соответствуют, старье, хоть кульки клеить. Народ зимой дуреет от скуки, по 12 часов спит.

— А вы мешали ему спать, товарищи?

— Как то-есть?

Рассказываю о простом способе подворных читок. Он поднимает широкие брови:

— Не догадывались, ей-богу.

Он же потом рассказывает мне, как приходилось «заполучать» коммунарских ребят к «массовому просвещению».

— Основали драматические занятия, вовлекли ребят в спектакли. Комсомольцы у нас есть такие артисты, что на станции Целина не найдешь!

— Что же вы ставили?

Заможний морщит лоб.

— «Из подпольной жизни»... «Природа мстит»... «Коммунары»... ну и другие еще.

Авторов не помнит.

— Откуда доставали пьесы?

— Да как придется, а которые и сами сочиняли. Вот бы нам в декорациях играть! — и он мечтательно смотрит на молодые топольки за окном. — Мы в Москву писали... 45 рублей восемь смен стоят... эх!

— Подождешь, — хладнокровно тянет к себе бумаги председатель. — Вот как мы с долгами выкрутимся?

Он показывает рапортичку предстоящих платежей: вот они, 16 тысяч.

— Были из них кредиты даже на полгода только, будто вот у нас производство какое.

— Как же все-таки вы заплатите?

Он поджимает губы и щурится.

— Попросим отсрочки еще на год... а то скот придется продавать. Главное — шпанки жалко, этакие ж овцы!

— Подсекают нас эти годы, — вторит приземистый коммунар, в замасленной рубахе. Обмахивается кепкой, черной от машинной сажи, и покусывает длинные усы.

— Надо вовсе на альбидум переходить. Я высчитал, что от нее 25—30 рублей чистых с гектара остается. Худо ли? Этак только степь переборешь.

Мы бы еще говорили о коммунарских тяготах, как вдруг вмешался дядя Карташов.

— Все это ладно, как-нибудь перевернемся, не то еще бывало. А вот «международное» как?

Многажды вместе с другими ругала и я «международное», что деревне надоело, как оскомина, и т. д. Мы, оказывается, не всегда точно оцениваем его живучесть.

— Чжан Зо-лина-то укокали?

— Одним разбойником меньше!

— А Чемберлен, Чемберлен-то как? Все пакостит?

— А Польша? Лига наций?

— И что, скажи пожалуйста, к нам эти подлюги причепилися?

Наконец самый главный вопрос:

— А с войной тише не стало?

Обсуждаем опять и заключаем: нет, не стало.

— Ну, и что ж, — дядя Карташов засмотрелся куда-то вдаль. — Дойдет до точки и пойдем, другого ничего не удумать, земля у нас с бою взятая.

Коммунар, в засаленной машинным маслом рубахе, теребнул свой длинный ус.

— На земле жить нам, «с них» буде, поцарьствовали.

Так обсуждалось «международное» еще во многих своих отраслях, но обо всем не расскажешь.

В последнем разговоре Иван Степанович, коммунарский философ и садовод, говорит мне тоном требовательного упрека:

— Мы еще впервой у себя писателя видим, а надо было куда раньше о нас писать, без нашей работы социализму тоже не построить, обратите внимание... Явно неправильно думают: вот ежели люди в куче работают, дело уж сделано, а трудности корова слизала? Э, пусть иногда нашему крепкому духу подивуются да помнят, чтоб не угашать его и хранить.

Я думаю, он прав. Для «духа» у нас, действительно, еще не выработано соответствующих норм поведения. Судя по коммунарским жалобам есть немало таких правоверных материалистов, которые, собирая блага плодов земных, считают только гектары да человеческие руки, а голова как бы остается не у дел. Что в ней делается, в этой самой голове, как мрачнеют в ней мысли, как бессилеет воля и вера в свою работу,— стоит ли заботиться о таком пустяке? — Я не знаю во всех подробностях этой истории с долгами коммуны, но думается мне: некая «увязка» в платежах должна быть — и, во всяком случае, не шестнадцать же тысяч в год!.. Не слишком ли быстро вырастает у нас мнение о «крепости и силе» коллективных хозяйств, не очень ли мы торопимся снимать плоды? — К жалобам коммунаров нельзя не прислушиваться, ибо это не расчетливое нытье собственника двора, единоличного накопителя и продавца, а это — забота общественная.

Недавно получила я письмо от коммунаров, что ими подано ходатайство об отсрочке платежей. Коммунары должны получить эту отсрочку, нечего бояться, что за ними пропадет. Мне вспоминаются слова дяди Карташова:

— Мы добро к своему боку не прижимаем.

Во время хлебозаготовительной кампании коммунары открыли амбары и пригласили вычислить, что с них «треба на наше государство» — и вывезли более двух тысяч пудов.

* * *

Уезжала я из коммуны под вечер, когда в золотом мареве пропадает дорога к молотилке. За буграми осталась коммуна. Та пядь степная, где «перебарывают» степь.

Сальск. округ, коммуна им. К. Либкнехта — Москва.

Против безответственного фразерства.

Вл. Васильевский.

Вопрос о наших толстых журналах в последнее время все чаще и чаще становится на очередь. Наши толстые журналы в том своем виде, в котором они издаются, несомненно уже не удовлетворяют современного читателя. Его потребности переросли форму полу-журнала полу-альманаха и властно требуют новых достижений в этой области — создания нового типа ежемесячника.

Указанная неудовлетворенность находила свое отражение и в той критике, которая раздавалась не раз и по адресу старейшего из наших толстых журналов — журнала «Красная новь». У «Красной нови» не мало недостатков (не меньше их, конечно, и у журнала «Молодая гвардия» и у других). С критикой толстых журналов (как и вообще с литературной критикой) у нас далеко не все обстоит благополучно, — так, например, нельзя пройти мимо напечатанной в десятой книжке журнала «Молодая гвардия» статьи В. Ломинадзе — «Красная новь в 1928 г.». Автор ставит своей задачей «показать, каково общественно-политическое лицо нашего наиболее читаемого, наиболее «солидного» литературно-публицистического ежемесячника». Такая обязывающая задача требует громадной ответственности, и нельзя не протестовать против той придирчивости, поверхностности и недоказанности, с которыми она выполняется комсомольским журналом.

На страницах нашей печати не раз уже со всей решительностью указывалось на необходимость бороться с верхоглядством, с излишним самомнением, с безответственностью, проскальзывающими иногда в работе нашей молодежи. В номере от 4 ноября газеты «Комсомольская правда» тов. А. Селивановский, один из редакторов «Молодой гвардии», в своей статье о реорганизации этого журнала, между прочим, пишет: ««Красная новь» преподнесла нам в этом году букет обывательской пошлости (см. произведения Г. Алексеева, Б. Пильняка, С. Сергеева-Ценского и т. д.)». И—все. В чем заключается пошлость Б. Пильняка, С. Сергеева-Ценского и др.? Это остается читателю неизвестным (кстати, того же Сергеева-Ценского можно обвинить в чем угодно, но меньше всего в пошлости). Ничем т. А. Селивановский своего огульного оплевывания ряда талантливых писателей не доказывает. Что это, как не беззастенчивое безответственное бросание фразами?

Еще более яркий образчик такого же безответственного фразерства мы находим в указанной статье журнала «Молодая гвардия». Тов. Ломинадзе пишет:

«...у «Красной нови» нет никакого направления. Общественно-политическое лицо журнала расплывчато и бесформенно. Если попытаться

определить одним словом идеологическую линию журнала, то это слово будет — эклектика.

...пора положить конец расхлябанности, шатаниям, эклектической мешанине, отсутствию определенной политической линии в руководстве таким значительным литературным органом, как «Красная новь». Пора превратить журнал в орган революционной мысли и революционного искусства.

... Не ошиблись ли мы, заявляя в начале статьи, что у «Красной нови» нет своего направления? Редакция делает все возможное, чтобы направление создать. Увы, это, однако, не наше, не пролетарское, не революционное направление».

Одно из двух: либо это пустые, громкие фразы, и тогда надо удивляться их беззастенчивой развязности, либо это серьезные обвинения — тогда они должны быть серьезно обоснованы.

Тов. Ломинадзе уделяет «доказательствам» своего суждения о «Красной нови» очень мало места. Можно привести поэтому все его доводы по порядку. Первый аргумент нашего новоявленного критика касается материала, помещенного «Красной новью» о Толстом. Было помещено семь статей, из них только одна (Луначарского) сопровождена примечанием редакции о ее дискуссионности. «Это, очевидно, должно означать,— пишет Ломинадзе, — что редакция со взглядами остальных шести авторов согласна». Наивность этого утверждения (а из него Ломинадзе делает свои выводы) совершенно очевидна: среди указанных Ломинадзе «статей» имеются переписка Л. Н. Толстого с Панаевым и воспоминания внучки и сына Толстого. Помимо этих сырых материалов и кроме статьи Луначарского в «Красной нови» были посвящены Толстому статьи В. Фриче, Р. Люксембург и Раскольникова. Последней из них ставится в упрек ее односторонность, а наряду с этим отмечается, что она верно подмечает ошибки тов. Луначарского. Статья Люксембург названа прекрасной, о статье Фриче не сказано ни слова. В чем же дело? Именно эти три статьи (с разных сторон анализирующие творчество Толстого) определяют лицо журнала, и ничто другое. Невероятной искусственностью и какой-то придирчивостью страдает вывод тов. Ломинадзе, что соединение в журнале разнообразного материала является «разносторонностью эклектического свойства», откуда тов. Ломинадзе умозаключает, что «линия», «позиция» «Красной нови» не является образцом «стопроцентной идеологической выдержанности». Следовало ли вообще печатать ценнейшие в биографическом отношении воспоминания ближайших родственников Толстого, идя на то, что рядом с фактическим материалом о Толстом в их воспоминаниях неизбежно скажется не наше, не большевистское миросозерцание? Тов. Ломинадзе над этим вопросом даже и не задумывается. Нам кажется, что опубликование этих воспоминаний, в окружении марксистски выдержанных статей о Толстом, не может быть признано ошибкой.

Вторым примером, который приводит «Молодая гвардия», являются воспоминания С. Елпатьевского. Тов. Ломинадзе приводит следующую характеристику тов. Ленина: «Г. С. Елпатьевский — внимательный наблюдатель русской обывательской жизни, настроениям которой он «чутко» поддается». Отсюда следуют целые потоки самых ужасных слов по адресу «Красной нови», которая дает гостеприимство «персонажам», «по-кадетски» рассказывающим о прошлом. Товарищу Ломинадзе невдомек, что из оценки Ленина можно сделать и обратный вывод, — о целесообразности печатания мемуарного документа, написанного внимательным наблюдателем русской обывательской жизни, дающим яркую картину этой жизни и чутко схваченных им настроений. Нельзя требовать

от Елпатьевского ленинского понимания политических событий прошлого. Но его воспоминания представляют несомненный интерес. Поэтому они и нашли место на страницах «Красной нови», причем редакция в специальной выноске оговорила свое несогласие с его оценкой политических событий. А Ломинадзе пишет: «Одного этого факта было бы достаточно, чтобы всерьез взяться за пересмотр «линии» журнала». Говорить так — это, значит, заниматься пустым фразерством!

По поводу примечания от редакции к воспоминаниям Елпатьевского (в № 8 «Красной нови») Ломинадзе спрашивает: «Если редакция не разделяет «оценки общественных движений, даваемой Елпатьевским», то спрашивается, зачем же она помещает его воспоминания в своем журнале». Можно ли придумать что-либо более наивное? И на этом автор строит политическое обвинение против редакции «Красной нови».

Третьим аргументом тов. Ломинадзе является утверждение, что помещение воспоминаний Елпатьевского рядом со статьями коммунистов (!) говорит об отсутствии сколько-нибудь определенного политического направления журнала, а также то, что именно эти воспоминания в гораздо большей степени определяют стиль журнала, чем другой материал. Доказательств этому нет никаких, автор просто декларирует, тем более, что тут же он сам приводит длинный перечень других авторов (Лепешинский, Бубнов, Стеклов, Квиринг, Раскольников, Шубин и т. д.).

Четвертый аргумент — голое, ничем опять не доказанное утверждение, что «идеология Эренбургов и Андреев Белых становится в «Красной нови» господствующей, определяющей весь (!) характер журнала». Ну, хоть бы одну фразу, поясняющую это голословное утверждение, привел уважаемый тов. Ломинадзе! Ведь он же сам дает похвальный отзыв об этих статьях и специально оговаривается, что было бы нелепо отказываться от сотрудничества обоих этих писателей, особенно в таком журнале, как «Красная новь». Прямо непонятно, чего хочет от «Красной нови» тов. Ломинадзе, тем более, что всякий непредубежденный читатель отлично понимает, что господствующая идеология дается в руководящих статьях на боевые актуальные темы о хлебозаготовках, о строительстве социализма, об индустриализации и т. п., а вовсе не в путевых очерках о Польше или Армении.

Все это было бы смешно, если бы из этого не проистекало чрезвычайно серьезное явление. Журнал молодежи приучает своего молодого читателя к поверхностности и безответственности в выработке определений своего отношения к тому или иному явлению. Редакция «Комсомольской правды» устроила вечер Маяковского. Собравшаяся молодежь должна была дать Маяковскому «мандат» на поездку за границу. Этому предшествовала статья Тальникова в «Красной нови», в которой он подвергал критике ряд писателей, в том числе и Маяковского, за их книги о загранице. Маяковский обрушился на Тальникова (прочел даже свои стихи о нем, напечатанные в «ЧиПе»). Выступавшие ораторы стали также «громить» Тальникова. Причем выяснилось, что статьи Тальникова никто даже... не читал. Тон руководителей вечера был схвачен, и этого оказалось достаточно. Хорошо ли это?

Пятый аргумент тов. Ломинадзе — Тальников. Очень похоже, что тов. Ломинадзе, подобно участникам подношения «мандата» Маяковскому на поездку за границу, также не читал статьи Тальникова. В своем разборе статьи (он уделяет внимание только одной статье), Ломинадзе невероятно упрощает содержание этой статьи Тальникова, давая неверное ее изложение. А вопрос, поднятый Тальниковым, очень серьезный и заслуживает самой горячей поддержки именно в журнале молодежи.

После статьи Тальникова о том, как используют свое пребывание за границей для своих книг о ней наши писатели («галопом по Европе»), появился ряд статей в других изданиях на эту же тему. Можно смело сказать, что указанная статья Тальникова явилась первой серьезной попыткой критики наших путешествующих писателей, в том числе и Маяковского, которому поэтический талант и несомненная революционность отнюдь еще не создают иммунитета в области литературной критики [1]).

Критику Маяковского (причем Тальников оговорил совершенно определенно, что критикует его н е к а к п о э т а) Ломинадзе сейчас же превращает в травлю Маяковского (еще бы!), а «источник травли Маяковского, по его мнению, тот же самый, что и травля театра Мейерхольда». Ну, конечно! Можно ведь договориться и до самых невероятных глупостей. Но неужели тов. Ломинадзе не смутило хотя бы то обстоятельство (которое, кстати, он и сам отмечает), что в редакции «Красной нови» состоит тов. Раскольников, который является одним из деятельных участников кампании з а сохранение театра Мейерхольда?

На этом статья Ломинадзе собственно кончается. Затем идут три звездочки и два абзаца, в которых заключается буквально несколько фраз о художественном отделе «Красной нови», — о том, что «в вопросах художественной литературы редакция «Красной нови» демонстрирует такую же неразборчивость и отсутствие ясно очерченной линии, как и во всех других вопросах».

Читатель должен все это опять принять на веру, так же как и обвинение Б. Пильняка «чуть ли не в открытой ненависти к нашей советской действительности». Все это звучит каким-то кликушеством!

А несколько конкретных замечаний автора показывают, насколько он плохо знаком с тем материалом, о котором берется судить: «Роман Мугуева «Огненная лапа» дается совершенно в духе пошлых романов Бенуа». Вот и весь разбор. А между тем тов. Ломинадзе, когда это писал, не читал даже всего романа. Можно согласиться, что роман Мугуева по своим художественным качествам совсем не в плане «Красной нови» (о чем Ломинадзе совершенно не говорит), но он н е в д у х е Б е н у а. Мугуев впервые подает колониальную обстановку и события (участником которых он сам был) в революционном разрезе.

Молодой, начинающий писатель, В. Дмитриев впервые выступил с первыми своими двумя произведениями: одно напечатано в той же «Молодой гвардии» (и о нем тов. Ломинадзе молчит), другое — небольшой рассказ «Равноденствие» — в «Красной нови». Тов. Ломинадзе выхватывает только две фразы из этого рассказа, причем не передает даже содержания рассказа в целом. Выхваченные искусственно фразы звучат дико, — к чему они, в чем дело, читатель не понимает. Если взять приведенные тов. Ломинадзе фразы в контексте рассказа, они звучат совершенно по-другому. Инженер-индивидуалист, углубленный в свои личные переживания, думает застрелиться, но захваченный пафосом социалистического строительства, перерождается, и жизнь приобретает для него новый смысл. То, что сделал тов. Ломинадзе, является самым худшим образцом литературной критики, безответственным издевательством над начинающим писателем.

---

[1]) Подробнее об этом см. ниже в пост-скриптуме тов. Тальникова к его «Литературным заметкам».

В этой статье я не имел в виду защищать «Красную новь» вообще. В нашем журнале имеется очень много дефектов, которые можно и должно критиковать. Но если мне пришлось так подробно остановиться на небольшой статье журнала «Молодая гвардия», то это лишь потому, что статья тов. Ломинадзе является характерным выражением той дикой, заскорузлой, культурной отсталости, когда громкая трескучая фраза подменяет собой истинное понимание дела. А борьбу с этим явлением особенно решительно следовало бы вести как раз в боевых органах нашей коммунистической молодежи.

Литературные заметки.

Д. Тальников.

О «новейшей поэзии» и проблеме формы. — Стих и проза. — Вопросы ритма. — О «конструктивизме». — Поэзия и проза. — Проблема «вещи» в поэзии. — Проза как «организационный прием» поэзии. — Должна ли поэзия быть «понятной». — Писатель перед судом читателя. — Ленин и «Евгений Онегин». — Homunculus поэзии. — «Прежде всего надо быть поэтом».

I.

Как-то отмечая в своей тетради жалобы на «равнодушие» женщин к поэзии, Пушкин объяснял его тем, что «природа, одарив их (женщин) тонким умом и чувствительностью... едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии... искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму... Вслушайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... Исключения редки». Этот суровый приговор поэта литературным вкусам своих современниц, в сущности, можно распространить на общую массу читателей не одного только пола и не одной только Пушкинской поры. Наибольшим успехом всегда в читательской массе пользовались в области художественной прозы Марлинские, Вербицкие и их современные эпигоны (имена сам подставит достаточно чуткий читатель), а еще трагичнее всегда обстояло дело с областью стихотворной литературы.

Поэзия как таковая—вообще трудно воспринимаемый род искусства, требующий особого эстетического предрасположения, особого вкуса, особого квалифицированного воспитания. Она в искусстве слова адэкватна музыке, которая ведь тоже не ограничивается только общедоступными и понятными «песнями». «Язык богов», как образно и содержательно называли стихотворную поэзию древние, — вот эти маленькие замкнутые пьески, напечатанные обрывистыми строчками, где сконденсированная общая мысль и динамизированная на особый лад эмоция обусловливают известное ритмическое строение, требующее тонкого уха и острого глаза, — представляют, конечно, чтение особого порядка, не такое легкое, как думается обычно, «трудное чтение»,— в том случае, конечно, если желать «понять» стих как таковой, «почувствовать» его синтетический смысл. Подлинных читателей и ценителей поэзии до чрезвычайности мало — таких, которые не «бесчувственны к гармонии», к «мере» (метру) и «рифме», у которых поэзия не «скользит по слуху» автоматическими рядами, «не досягая души».

Но если традиция общелитературного чтения и быта, традиция школьная и вообще учебная сделали стих «старой» классической поэзии

понятием более или менее привычным, усвоенным, с привычным подходом к нему; если чтение этих стихов стало в известной степени «автоматическим», часто лишая их присущей им свежести и силы непосредственного воздействия на читателя, лишая читателя остроты восприятия их как «нового», — восприятия поэтического и даже смыслового — вспомним пример Мережковского на заученном им с детства и воспринятом автоматически Лермонтовском стихотворении, где в строчке: «по небу полуночи ангел летел» — «полуночи» воспринималось чисто механически («скользит по слуху») не как родительный падеж от «полночь», а как два слова:

По небу, по луночи ангел летел...

Если все это так по отношению к «старым размерам», то читать «новые» стихи, не канонизированные в литературном сознании и в собственной традиции, — стихи, где резко нарушены привычные, «нормальные» стиховые приемы, конечно, неизмеримо «труднее».

«Новые» стихи у нас мало читают, еще меньше их любят. В этом, конечно, помимо отсутствия подлинных поэтических дарований, виновата самая «новизна» приемов, резко воспринимаемая читателем, как отклонение от нормы. Вот Есенин, один из немногих поэтов, которого много читали у нас в эти годы и любили, — поэт не широких социально-политических интересов, отвечающих революционной общественности, как Демьян Бедный, а отграниченного замкнутого мира чисто-«поэтических», хотя и однообразно-узких, переживаний, — его читали не только за поэтическую «эмоциональность» и прозрачную мелодичность его стихов, но и за близость его к старым привычным стиховым нормам, за его «доступность» и «понятность», как поэта.

«Новый» стих, «новейшая поэзия», пришедшая в русскую литературу с футуризмом на смену символизму, «непонятны» читателю, нуждаются в специальном разъяснительном комментарии, «подстрочнике», в переводе на общепонятный язык смысловых, поэтических и ритмических образов. Непривычный и неискушенный читатель, который останавливается с недоумением перед новым для него явлением «непонятной» поэзии, нуждается в известном «путеводителе» по этой поэзии, руководстве — как читать ее, на что обращать предпочтительное внимание, что осмысливать, как специфический фактор новизны. И собственно давно уже пора «уединенную» современную поэзию, стоящую где-то в стороне от влияния на читателя, вернуть на большую дорогу литературно-читательских интересов, давно пора критике «ввести» читателя в этот мир новых звуков, новых образов, новых поэтических рядов. Эта сложная задача не стоит сейчас во всем ее теоретическом объеме в поле внимания настоящих беглых заметок. Здесь, на конкретном материале, ограниченном одним предпочтительно примером из текущей поэтической жизни (примером показательным, ибо речь идет об одном из наиболее талантливых представителей сегодняшнего поэтического дня), мне бы хотелось определить перед читателем только некоторые моменты этой задачи, наметить только некоторые вехи того подхода к современному стиху, о котором я выше говорил.

II.

Читая значительные отрывки из «Пушторга» Сельвинского, напечатанные в «Красной нови», неискушенный читатель, вероятно, неоднократно задавал себе прежде всего естественный в таком положении вопрос: стихи ли это или просто рубленая проза, притом, надо сказать,

достаточно неудобоваримая, грузная, тяжеловесная, хотя и блистающая смысловой остротой?

«Предметная», социальная поэзия Сельвинского, с идеологической стороной которой мы уже знакомы, должна была, поскольку она поэзия, разрешить в первую очередь специфическую для искусства и неотъемлемую от самой природы ее проблему так называемой «формы». Вышеуказанный вопрос читателя естественно рождается при соприкосновении с фактическим разрешением этой проблемы формы в «Пушторге». И еще другой вопрос, уже не чисто-формальный: поэзия ли это в широком смысле — или проза нехудожественная, а если поэзия, то «что есть поэзия?» — вопрос Евг. Нея.

В поэзии всегда идет речь о предельной организации слова, художественной речи, ее конструкции. «Конструктивизм» поэтому, как определенную, скажем, «школу», не надо смешивать вообще с вопросом о конструктивном принципе поэзии, который получил такую острую постановку в наши дни, дни «литературных революций», — может быть, именно потому, что путь этих революций лежит «через немотивированные и смешанные виды» (Ю. Тынянов), т. е. там, где нарушена согласованность и соотношения нормальных факторов поэтических рядов.

Это нарушение всегда болезненно воспринимается современником. Известно, что пушкинская «Сказка о попе» (от которой формально исходит в своем творчестве Демьян Бедный) долго возбуждала вокруг себя споры: стихи ли это или просто рифмованная проза.

... Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?..
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив». —
.....
... Беса старого взяла тут унылость:
«Скажи, за что такая немилость?..»

Известно, что Кольцов — не просто читатель, а сам поэт — писал об этом пушкинском «раешнике»: «...и уху больно, и читать тяжело». Гоголь утверждал, что эта сказка «писана даже без размера, только с рифмами»; акад. Ф. Корш — что это «не стихи, а рифмованная проза». Только позднейшие исследователи определили размер «Сказки», как силлабический, в виду произвольного числа слогов в каждом стихе являющийся «рубленой прозой» (Л. Поливанов), а в наши дни В. Жирмунский определил его, как «чисто-тонический» типа «вольных ямбов» Крылова и стихов Маяковского. Б. Томашевский, может быть, и прав, когда указывает, что хотя «твердой границы между прозой и стихами и нет», но прежние художники слова обращались обычно к ясно выраженным формам «типичного стиха или типичной прозы», делающим различие ясным.

... Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой...

На реальном материале только в «исключительных» случаях может возникнуть вопрос соответствующего порядка, но вот этот «исключительный случай» литературной «революции» налицо, и вот именно у современного читателя весьма часто подымаются такого сорта смущающие вопросы по отношению к современной поэтической продукции: стихи ли это или проза? Спор ведется — думает Б. Томашевский — в сущности в плоскости «художественного восприятия, эстетических навыков, воспитания и традиций, свойственных разным направлениям» («Русское стихо-

сложение»): представители старой поэтической традиции «не улавливают» у молодых поэтов «звукового задания», вполне ощутимого для молодой аудитории, «родственной поэтам по вкусам» и руководящейся непосредственным «внутренним чувством». Конечно, такое объяснение научно-расплывчато, не точно. Что такое «внутреннее чувство», напр.? Но общая оценка факта так или иначе приблизительно отмечена правильно. «Облако в штанах», напр., ставшее уже «классическим» в среде литературной молодежи, воспринимается иначе людьми иных эстетических навыков: их «внутреннее чувство» не принимает уже самого заглавного образа — достаточно вульгарного и вовсе не лирического:

буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах.

Самую ритмичность «вступления» они не сумеют «понять»:

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

Но молодежь будет иначе воспринимать эти стихи. Вот Р. Якобсон утверждает, что «стихи Пушкина как поэтический факт сейчас непонятней, невразумительней Маяковского или Хлебникова». В новейшей поэзии, с трудом воспринимаемой «стариками», молодежь чувствует созвучность себе, роднящее с эпохой нарушение всех принятых гармоний, всего налаженного строя: да, этот стих, его «технологические» черты, смысловое преобладание, «прозаичность», весь комплекс художественных приемов обусловлен социальным бытием современности. «Литературная революция», психологическая и формальная, отвечает революции бытовой...

Во всяком случае вопрос о различении стиха и прозы — сложный вопрос, который современные исследователи (и здесь большая заслуга так называемых «формалистов» — достаточно назвать работу Ю. Тынянова «Проблема стихотворного языка», «Введение в метрику» В. Жирмунского и др.) пытаются уточнить с бо́льшим или меньшим успехом.

III.

Возьмем практику так называемого «конструктивизма». Необходимо заранее ограничить или, вернее, расширить объем этого понятия указанием, что практика эта ничем принципиально не отличается от практики вообще «нового стиха». В сущности, думается, нет специального «конструктивизма», как особой школы. Есть просто группа поэтов разной поэтической установки и разной степени способностей, объединившихся по каким-то личным «организационным» мотивам. Есть отдельные талантливые поэты, идущие путем так называемого «конструктивного» строительства стиха, но этот их путь в значительной степени предопределен всем развитием нашей новой, так наз. «левой» поэзии, главным образом, футуризмом, отчасти акмеизмом. Вообще же, как выше уже отмечено, принцип «конструктивный», определяющий весь характер строительства современной литературы, живописи, театра на Западе и у нас («экспрессионизм», кубизм, Маяковский, Мейерхольд, — Ю. Олеша в этом смысле несомненный конструктивист), — есть понятие общее для нашей эпохи.

Вот наш «Пушторг». «Технически» он написан, по определению самого автора, «модернизованными октавами тактового стиха», «советской окти-

ной». Понятие «тактового стиха», противополагаемое, очевидно, понятию старых силлабо-тонических ритмов, довольно неясно — чуть ли это не так наз. «дольники», метр которых основан на счете одних ударных слогов (см. Брюсова «Науку о стихе»):

Стамати был стар и бессилен,
А Елена молода и проворна,
Она так-то его оттолкнула... и т. д.

— из Пушкинских «Песен западных славян». «Дольник» утвердился со времен Блока в поэзии; в своем дальнейшем развитии это т. н. «чисто-тонический» «ударник» Маяковского, не очень далеко ушедший от «тактовика» Сельвинского. Известные уже нам «Записки поэта» были написаны тоже «пятиударником», где на каждую строчку приходится 5 ударений. Но ритмические уклонения делают его «разноударником», т. е. приближают к организации речи прозаической. Вот строчка, ритмически отклоненная от нормы:

Хлесткая пощечина ветра сшибла с меня шляпу.

Сельвинский уверяет, что это стих: читатель смущенно перечитывает и никак не может выйти из слухового представления (Ohrenphilologie) о прозе и все думает, что его мистифицируют этим самым «ударником». Сам автор характеризует приблизительно ритмическую сторону своего «Пушторга» лозунгом: «Девственность метра синкопой рви!» (синкопа — «ритмический ход», переносящий ритмическое ударение с ударяемого слога на неударяемый). «О, диссонанс и разноударник!»

К этой же группе моментов, характеризующих «конструктивизм», по мысли его авторов, относятся их композиционные устремления. В своем искусстве они видят «центростремительную организацию материала», сведенного в «фокус» в «предустановленном месте конструкции с максимальной нагрузкой на единицу» (т. е. «коротко, сжато, в малом — многое, в точке — все»). Отсюда и излюбленный ими «локализованный прием», который они считают специфической принадлежностью своей поэзии, — «локальная система», «локальная игра», т. е. «построение поэтического образа, звукописи, словаря и т. п. в плане данной тематической или психологической необходимости». Когда Пушкин признавался: «Люблю цезуру на второй стопе», то это заявление его «не отразилось на материале, — пишет Сельвинский, — так как в приведенной строке на второй стопе цезуры не имеется». «Иначе» у конструктивистов: «Любил родительного падежа» (из поэмы «Мотька Малхамувес»). «Классик поставил бы в этом случае падеж винительный», заявляет торжественно Сельвинский, и, конечно, сделал бы это не один «классик», а просто грамотный человек. Когда-то остряки пародировали стиль Сем. Юшкевича таким же путем: «Великого, свободного, могучего русского языка!» — но они вовсе не уверяли, что это какой-то «локальный прием», а это был просто шарж.

Во всяком случае построение образов и пр. в плане «данной тематической или психологической необходимости» является принципом всякой подлинной поэзии, не превращающей этот принцип в самостоятельную «игру». На практике эта «игра» может стать путами, связывающими свободный выбор эпитетов, тропов, суживающими поэтические возможности. И мы видим в «Пушторге», что стих Сельвинского часто отступает от этого узко-формально понимаемого принципа и перегружается образами разнокачественных рядов не в плане данной тематики.

Далее идут принципы «экономии стиха» и организованной динамичности, выдвигаемые как реакция на «развал русской поэзии» и проти-

вопоставляемые размягченности и расхлябанности символизма и всего того, что объединялось термином так наз. «декадентства». В самом стихе и языке «конструктивистами» подчеркивается резкий уход от мелодики и звуковой гармоничности, изломанность ритмов, часто с трудом улавливаемых, установка на «разговорные интонации», на идущий от Хлебникова «поэтический размер живого разговорного языка». Язык резко экспрессивен, в духе эпохи, остро построена речь, несмотря на обильную рационалистическую терминологию, насыщенная эмоциями, трепетом, динамикой — признаками, строго говоря, вообще поэтической речи.

Решающим, однако, моментом для выяснения вопроса о природе современного стиха и его отличия от прозы является, конечно, момент ритма; именно он, а не другие моменты, — как, например, выдвигаемая старой поэтикой «эмоциональная окраска», присущая вообще искусству и не-стиховому, — определяет подлинную природу стиха.

IV.

Мы знаем тенденцию новой поэзии,—начиная с символизма,—отрицания понятия метра, как принципа единства и нормы, в пользу свободного ритма, дающего многообразие. Позднейший символизм, все более отказываясь от практики созданного им «свободного стиха», возвращался к строгому кругу старых метров, строгих рифм, рассматривая всякое отклонение от них, как нарушение законов стихосложения. Ранний же футуризм, явившийся ему на смену (около 1910 г.) как «поэзия современности», ищущая новой тематики и новых форм, — впал в резкую крайность. Как указал еще В. Брюсов, подводя итоги этим исканиям,—в поисках новых ритмов и рифм футуристы «разрушали самое существо стиха, писали стихи а-метрические и а-ритмичные с концевыми ассонансами, настолько приблизительными, что они уже не производили впечатления созвучий... убивали вообще все звуковое строение стиха, лишая его одного из сильнейших средств воздействия — напевности» («Худ. сл.» 1921 г., № 2).

«Конструктивизм» с его темами «современности», с его ритмовыми исканиями в сущности является прямым последователем неофутуризма не только в его тематике, но последователем и в его «грехах», прежде всего в его отходе от метра, которым в значительной степени определяется отличие стиха от прозы. «Проза не имеет точного метра»... Но метр является только нормой, определяющей «ритмическое задание» стиха и характеризующей его отклонения. Понятие ритма Ю. Тынянов и считает определяющим конструктивным фактором стиха, характеризующим специфичность стихового слова и отличие его от прозаического его «двойника»; именно в фактах и условиях ритмовой конструкции он ищет ответа на наш вопрос. Эти условия он формулирует в законах ритмических факторов: «единства» стихового ряда, «тесноты» его (т. е. более сильной связи соотношений между словами «по положению», чем в обычной прозаической речи), и главнейших: «динамизации» речевого материала и «сукцессивности» его в стихе, когда форма осознается как динамическая. Специфическим «первичным» признаком стихового ритма по теории Жирмунского, Томашевского, Брюсова, Пешковского и др. является слоговое равенство стиха в целом; новейшие «левые» теоретики (Л. Тимофеев) «слоговости» противопоставляют повторение «целой строки с конечным ударением», как постоянно повторяющийся речевой элемент, закономерное чередование которого и создает ритм». Здесь стих характеризуется только «вторичным» признаком, приближаясь к грани подлинной прозы.

Чтобы рельефнее воспринять отличие стиха от прозы, мы должны иметь в виду попытки вообще отмести всякую границу между прозой и стихом, которые делались неоднократно. Делал это Маринетти, утверждавший, что проза—это только «неудавшиеся стихи, в которых содержание заглушило форму»; П. Буцци называл прозу «стихами, из которых намеренно украли динамику» (— значит, специфичность стиха все-таки имеет свои основания!), а имажинист Шершеневич, характеризуя это современное явление сглаживания грани между стихами и художественной прозой, резюмировал: «исчезли размер, обязательность рифмы, исчезнет и все, вернее: исчезнет проза». А. Белый в одной из своих последних теоретических статей («Горн» 1919 г., II—III), отвергая, как неправильный по существу, критерий присутствия метра в поэзии и отсутствия его в самой изысканной художественной прозе, считая самое противоположение ритма метру «условностью», — приходил к формуле слияния поэзии с прозой в ритме, присущем обоим. Доказывая, что Гоголь, например, невероятно богат оригинальными тропами, фигурами речи, «звучанием звуков словесных, искусно закрытыми рифмами, ритмами вольными, изощренными метрами» и прочим, он заключает о гоголевских произведениях, что они — «чудеснейший стих, а не проза». И строчку гоголевскую: «Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович» и т. д. он записывает стиховым размером — именно дактило-хореическим — так:

Нó ар/бýз не/мéдле/нно исче/зáл.
Пóсле/ э́то/гó Афа/нáсий И/вáнович.

Так, конечно, можно было бы переложить на размеры «музыкальную» прозу Тургенева, Флобера, «метричную» прозу самого А. Белого и пр., но не обречены ли эти попытки на очевидную неудачу, и то, что так ясно звучит в прозе, не будет ли казаться просто смешным и, значит, убийственным в стиховом начертании?

Во всяком случае, строчка Сельвинского

Хлесткая пощечина ветра сшибла с меня шляпу

представляется читателю опытом такого же типа.

Тынянов в своей работе уделил значительное место критике этих «наивных» попыток, доказывая, что «ритмичность» прозы не есть еще «ритм» стиха. Все различие переносится в область функциональной роли ритма. В прозе самой ритмической нет этих специфичных для стиха условий, о которых мы сейчас говорили, «единства» и «тесноты» стихового ряда, «затрудненного» слова, нет речевой динамизации особого типа («украли динамику», по П. Буцци), нет деформирующего влияния ритма на семантические элементы слова. «Ритм в прозе ассимилируется конструктивным принципом прозы (преобладанием в ней семантического назначения речи) — и этот ритм может играть коммуникативную роль», — даже отрицательную; известно, что «ритмичность» в прозе, не становясь подлинным ритмом, является мешающим, отвлекающим моментом, чего никак нельзя сказать о ритме в стихе.

Так, ритмичность определенно «мешает» нашему восприятию «метрической» прозы того же А. Белого, своего «Котика Летаева» написавшего, напр., в «скучнейшем» размере... гекзаметра (А. Крученых):

Мама встретила, двери открыв, Ангеликою:
Крыльями шали накрыла, и — плакала вместе со мною:
— Мой миленький, мáленький: ты уж прости, Христа ради!

V.

Таким образом, вопрос переносится целиком в область функциональной роли ритма. Ритму подчинены остальные факторы, и вот здесь, в этом подчинении, и заключается главное решающее отличие стиха от прозы, здесь рождается главнейший признак стиха — динамизация его,— в этом подчинении и в том «деформирующем влиянии», в которое вступает принцип ритма с принципом воссоединения семантических речевых элементов в стихе.

В стихе мы имеем «деформированную семантику», то, что другой исследователь (Томашевский) определяет формулой: «звуковое задание в стихах доминирует над смысловым», а в прозе — смысловое над звуковым. «Все дело сводится к относительной роли этих двух начал». В ритмовое задание вдвигается, под него «подгоняется» смысл, выражение, мысль, которые естественно при этом деформируются. Функция практической речи — коммуникативная — здесь отходит на задний план.

В этом соотношении элементов ритма и семантического назначения речи — нить для различения стиха и прозы. «У Пушкина слова организованы не по смысловому заданию, а по звуковому»; смысловое задание остается, конечно, так как без него речь перестает быть речью, но оно уступает первую роль заданию звуковому» (Томашевский). Сам Пушкин определял это известной формулой: «проза требует мыслей и мыслей, стихи дело другое» [1]) (в них нужна только «сумма идей», т. е. философская абстракция, «деформированные» мысли, подчиненные другому фактору). В этом же смысле звучат слова Гете Эккерману: «Чтоб писать прозой, надо что-нибудь да сказать; кому же сказать нечего, тот еще может писать стихи и подбирать рифмы». В переводе на современный научный язык поэтики это будет звучать определеннее: «Конструктивная роль ритма сказывается не столько в затемнении семантического момента, сколько в резкой деформации его».

Это «деформирование» смыслового момента другими подчиняющими, выдвигание «одной группы факторов» за счет другой приводят к динамизму стиховой формы, к динамическому ощущению формы, «ощущению протекания» соотношения этих факторов, этой деформации. Ю. Тынянов ярко формулирует этот определяющий момент организации стиха: «Искусство живет этим взаимодействием, этой борьбой. Без ощущения подчинения, деформации всех факторов со стороны фактора, играющего конструктивную роль, — нет факта искусства». «Оно автоматизируется». Он приводит историко-литературный пример, когда путем «ломки» автоматической системы стиха можно было поднять и «спасти» конструктивное значение метра: в эпоху царившей в поэзии «гармонической монотонии» в 30-х гг., когда четырехстопный ямб уже автоматизировался («надоел»), Шевырев предложил ввести октавы, в которых «нарушались все обычные правила нашей просодии». «Эти октавы, пугающие всею резкостью нововведений могли ли быть кстати в то время, когда слух наш лелеяла какая-то нега однообразных звуков, когда мысль спокойно дремала под эту мелодию и язык превращал слова в одни звуки?» Пушкин должен был ощущать автоматизованный стих, как «канапе», а новый динамизованный нецезурованный пятистопный ямб, как — тряскую телегу, мчащуюся по кочкам,

---

[1]) «Один из наших поэтов, — пишет Пушкин в другом месте, — говорил гордо: пускай в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж прозы не найдется». Этого рода «бессмыслицу» Пушкин объяснял «недостатком чувств и мыслей, заменяемым словами», — в отличие от «полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения», примером чего он приводил Байрона, который «не мог объяснить некоторые свои стихи».

т. е. ощущал этот стих, как «затрудненную форму», как «дезорганизацию формы предшествовавшей». Такое же впечатление оставляет в нас современный стих.

> ... стих то в яме, то на кочке,
> И хоть лежу теперь на канапе,
> Все кажется мне, будто в тряском беге,
> По мерзлой пашне мчусь я на телеге.

Но «новый стих» был хорош не своей «музыкальностью» или «совершенством», а тем именно, что он «восстанавливал динамику в отношениях факторов».

Именно в силу этих причин наше время выдвинуло с особой резкостью понятие о vers libre — свободном метрически стихе, т. е. стихе, в котором ослаб принцип метрической композиции, в котором ослаблены фонетические и метрические соответствия. Метр как система заменяется метром как динамическим принципом, принципом только установки на него, замещения его, «эквивалента» его..

В правильности метрической системы исследователь видит путь быстрой автоматизации стиха; это случается в эпохи, когда «традиционный метр не в состоянии проводить динамизации материала, ибо связь его с материалом стала автоматической». Момент же метрического «эквивалента» динамизирует стих, гальванизирует труп.

Вопрос о функциях ритма стоит в связи с несовпадением в нормальном стихе чисто смысловой («коммуникативной») фразировки с ритмовой. «Ритм должен был при этом оказаться излишним, связывающим, мешающим началом. Поэзия оказывалась ухудшенной прозой, и «raison d'être» стиха становился сомнительным». Оттуда защитники этой тенденции естественно пришли к защите «свободного стиха», как более «свободной ритмической конструкции», т. е. в сущности на наших глазах стал отмирать не только метрический стих, но и правильный ритмический. Тынянов подчеркивает, однако, упускавшуюся при этом ту «специфичность», что делает vers libre все-таки стихом, а не прозой. «Элиминирование ритма как главного подчиняющего фактора приводит к уничтожению специфичности стиха и этим лишний раз подчеркивает его конструктивную роль в стихе». Написать строчку «свободного стиха» прозой мы можем, только нарушив единство и тесноту стихового ряда и динамичность. Это и дает возможность исследователю считать неправильным отношение к «характерному стиху нашей эпохи» — т. е. vers libre, — как к стиху «исключительному или даже стиху на грани прозы» (таковым, т. е. «переходной формой» между стихом и прозой, считает его, между прочим, Жирмунский). Но, может быть, вообще «характерным» стилем нашей эпохи является проза? может быть, вообще «золотой век» поэзии остался позади, умер, как умер «великий Пан»?

«Свободный стих» пришел на смену «ямбам и хореям», всем этим «старым размерам», которые стали в поэзии литературными штампами («автоматизовались») под пером бледных бесчисленных эпигонов, давно «подохли», как не очень изящно выразился о них Маяковский, давно перестали как будто отвечать жизненному ощущению современного поэта. Но в сущности здесь ли, в этом выборе того или иного размера стиха, кроется причина автоматизации, «гибели» поэзии или же ее трансформации? Так ли уж непригодны для современных ощущений «старые размеры»? Вот и Пушкин ведь знал и, когда находил целесообразным, употреблял свободный стих («Песни западных славян»). Мы знаем, что позднейший символизм вернулся к канону строгих метров, строгих форм. Вот Г. Шенгели указывает, например, на огромное количество возможностей и комбинаций хотя бы того же старого четырехстопного ямба, которым написан «Евгений Онегин»;

разнообразие комбинаций дает возможность каждому поэту в рамках этого «дохлого» ямба достичь подлинного поэтического и, значит, оригинального, нового выражения, отыскать совершенно новые системы ритменных звучаний и «ритмом подчеркнуть смысловой рельеф своих высказываний», быть вполне индивидуальным. Так, «зрелый» Блок вернулся после свободного стиха целиком к «ямбам и хореям» (оттого, вероятно, О. Мандельштам и характеризовал его в «литературном отношении», как «просвещенного консерватора» типа «английского консерватизма лордов»), Белый и Брюсов не изменяли «ямбам», у Пастернака — подсчитывает Шенгели — преобладающее количество стихотворений написано ямбом (в «Темах и варияциях» из 63 стихов только одно написано свободным стихом), а ведь это не потому, что поэт «не нашел ритменного оформления своему лиризму»; у Асеева, «современного и революционного поэта», свободный стих тоже редок, и сам Маяковский удостаивает своим вниманием, как известно, старые размеры, хотя и считает их принадлежностью только «потусторонних» «Северянинов и Бальмонтов»:

Одни хореи и ямбы...
Туда бы к ним бы да вам бы...

Ориентировка на «метрический стих» (с постоянными сдвигами) характеризует и крупнейшего поэта новейшего времени, от которого исходят и Маяковский, и Асеев, и Пастернак — В. Хлебникова. Он часто пользуется классическими размерами, чаще всего четырехстопным ямбом пушкинского типа:

Какая сила их связала,
Какое сердце и союз!

Хлебников — подлинный поэт; оттого он и не боится старых ямбов, так чудесно и динамически звучащих у него:

В ее глазах светла отвага,
И страсти гордый гневный зной:
Она пред ним стояла нага,
Блестя роскошной пеленой.

Правда, в свое время Брюсов, намечая пути современной поэзии («Художественное слово» 1921, II), указывал на то, что «необходимо во что бы то ни стало искать новых метров и новых ритмов, новой музыкальности», «нового синтаксиса, более отвечающего потребностям момента, речи, воспитанной на радио и на военных приказах»; — новых средств изобразительности, новых метафор, «тропов» и «фигур», — потому что только «новыми приемами она будет в силах заговорить на новом языке»; «как ни совершенны, как ни разнообразны, как ни гибки формы, созданные литературой прошлого, они непригодны для выражения нового мироощущения; новое содержание не может быть адэкватно выражено в старых формах», но он же предостерегал от таких энергичных поисков новых ритмов, которые приводят к «полной аритмичности стиха», и к чему эти поиски привели на практике? С одной стороны, к извращению самого существа стиха, к аметрической прозаичности, к разрушению «звукового» принципа строения стиха и лишению его «одного из сильнейших средств воздействия — напевности»; с другой — к определенному возвращению и революционных поэтов современности (не только «эстетов») — к «старым размерам» в той или иной модификации их. Не стоим ли мы на рубеже неоклассицизма в поэзии, как, впрочем, и в области художественной прозы? Оказывается, и революционность, и современность можно отлично выражать в «старых» сло-

вах, получающих новое звучание, новую окраску, новое содержание, в зависимости от наполняющей их мысли или эмоции, самого ритма этой эмоции.

В конце концов, в технических ли моментах окончательное решение основного интересующего нас вопроса? Пригодность и «старых размеров», и утверждаемая монополия новых получают свое оправдание в иной плоскости, где единственным и главным определяющим началом организации стиховой речи является общая выразительность и целесообразность произведения, то «чувство соразмерности и сообразности», о котором говорил Пушкин. А чем определяются эти свойства поэзии? Только ли один механический производственно-организационный момент — эта «деформация», подчинение одних факторов поэтической речи другим — то, что разъял и проверил «алгеброй» анализ теоретика? Откуда основное конструктивное чувство ритма? В стихах, — как отмечают Ш. Вильдрак и Ж. Дюамель,—«попадаются строки, в которых господствуют исключительно ритмические соответствия с однородной пластичностью, и в то же время они являются только художественной прозой — и тут вопрос не метра»! Вопрос выходит из рамок чисто формальных: о стихе и прозе — и переходит в план существа дела, решения более общего вопроса: о поэзии и прозе. Что делает поэзию в конце концов поэзией? Теоретики новейшей поэзии утверждают, что форма существует для нас лишь до тех пор, «пока нам трудно ее воспринять, пока мы колеблемся: что это — проза или стихи, пока у нас «скулы болят», как болели скулы у генерала Ермолова, по свидетельству Пушкина, при чтении стихов Грибоедова» (Р. Якобсон). С этой точки зрения мы говорим о «легкости», «незаметности техники» у Пушкина, «простоте» его стиха только потому, что этот стих стал для нас уже «штампом» и не воспринимается нами в своей непосредственной свежести. Указывают, что стих пушкинский воспринимался его современниками иначе, чем нами. Однако и это утверждение довольно относительно. И современная Пушкину критика в ее главных течениях, видя в его стихах «феномен в истории русского языка и стихосложения», была недовольна тем только: «Зачем эти прекрасные стихи имеют смысл? Зачем они действуют не на один только слух наш?». Пушкин-новатор, в глазах современников, — конечно, разбирающихся в поэзии, — был гениальным поэтом, воспринимался ими в своей поэтической сущности — оттуда и смерть его была воспринята его литературным поколением как национальное горе. Но вообще из того факта, что «новое» всегда воспринимается читателем с известным противодействием, как непривычное, следует ли, как хотят нас убедить, что все новое — непременно хорошее и прогрессивное? Сколько этого «нового» проходит бесплодно в истории поэзии, не оставляя следа — «мода» дня! Остается только то, что жизнеспособно, отвечает требованиям, «законам» искусства. Для нас сейчас стих Пушкина вовсе не «штамп», конечно, — хотя мы и не замечаем его привычной формы,—и вовсе не одна только историческая ценность. Привычность формы не отвлекает нас от самого существа стиха. И нужна ли читателю выпирающая, ломающая «скулы» «технология», «оголенность приема», «кухня» стихотворная? Мы воспринимаем пушкинский стих в его синтетическом целом, в его п о э т и ч е с к о м с о д е р ж а н и и. В этом вся суть «экономии» художественных средств — «незаметностью» и «легкостью» приемов достичь г л а в н о г о — втянуть читателя в свой заветный поэтический мир. Пушкин жив для нас обаянием своих поэтических восприятий, волнует их свежестью и ясностью, тем, что его «поэзия» — прежде всего поэзия.

Кончая свой манифест о «Теории свободного стиха» (см. перев. В. Шершеневича, 1920), Шарль Вильдрак и Жорж Дюамель последним

параграфом, заключающим множество других параграфов «поэтической техники», поставили красноречивое:

«...Но прежде всего надо быть поэтом»...

Этим все, в сущности, сказано.

VI.

Новейшая поэзия, ведущая свой род от Хлебникова, резко отходит от старых идеалов организации стихового слова по звуковому заданию, перенося центр тяжести на вопросы смысловые. Для Хлебникова нет «неокрашенного смыслом звучания, не существует раздельно вопроса о «метре» и о «теме»» (Тынянов). «Верлен различал в поэзии «поэзию» и «литературу». Современная поэзия держит курс именно на «литературу».

Решающее значение в впечатлениях от новой поэзии, в частности «Пушторга», имеет не столько самый характер ритма его «разноударного» стиха, иногда с трудом улавливаемого как ритм; не столько разорванность метра, приближающая его к грани прозы, сколько конечное соотношение звукового задания и смыслового. В современном стихе определенная «ориентация» на прозу (например, сближение с газетным материалом). Правда, Тынянов, имея в виду как раз подобную «ориентацию стиха на прозу», считал это не сближением двух замкнутых рядов (стихового и прозаического), а только «введением необычного материала в специфическую, замкнутую конструкцию», которая только «выдвигает сущность стиха с новой силой», т. е. считал это приемом чисто организационным, но читатель иначе воспринимает это. Организационный прием переходит из количества в качество. Да, стих вырван из объятий «автоматизма», освежен этой встречей с газетой, оплодотворен, звучит с новой остротой — но каков характер этой остроты тяжеловесного современного стиха? Эта острота не столько ритмическая и поэтическая, сколько смысловая.

У Сельвинского читатель ощущает не только резкую мотивировку свободного ритма семантическими изменениями речи, но местами определенное нарушение отношений между моментами ритма и семантики в пользу последней, определенную деформацию ритма, подчинение его фактору смысловому, прозаическому. Конечно, в этом стихе есть такой основной признак как «динамизация», ощущение «протекания», но эта динамизация часто ощущается как противоречие. Задание «конструктивизма» переносит весь акцент поэзии на смысловую сторону, на связи синтактико-семантические, в ущерб ритмическим. Вы чувствуете, что все дело здесь в «смысле», в постановке социальной проблемы, в осмысливании сюжета; все здесь стянуто с «максимальной нагрузкой» к «фокусу» проблемности, подчинившему себе чисто формальные и эстетические задачи. Если у Пушкина слова были «организованы не по смысловому заданию, а по звуковому» и если такая организация и является сутью стиховой речи, то здесь все как будто наоборот.

Вот почему напрашивается у критиков идея сближения Сельвинского с так называемым «сциентизмом», «научной поэзией» (школой Рене Гиля и др.), которая поэзию считает «верховным актом мысли» («наша поэзия хочет мыслить научно» — Рене Аркос). Ее пропагандировал в свое время Брюсов, поэт холодного мастерства [1]), но из этого ничего не вышло,

[1]) Для Брюсова и в последние годы поэзия была только «формой познания», отличающейся от научного познания лишь «методом» синтеза; «сущность поэзии — идеи, а не что иное»; в подлинном создании поэзии — «широкая новая мысль, равноценная лучшим завоеваниям науки» (см. его «Синтетику поэзии» в сб. «Проблемы поэтики» 1925).

да и не могло выйти. Такого же типа и «наукообразный». математический, лингвистический и исторический материал поэзии Хлебникова («со знаменем Лобачевского») Здесь действительно читатель ощущает какую-то грань прозы, к которой подошел современный стих, и здесь он переносит решение вопроса от явлений ритма и его функций в более общую область свойств так называемой поэзии вообще и ее отличий от прозы.

Хотя Тынянов и указывает, что термин «поэзия», «бытующий» у нас в языке и в науке, потерял в настоящее время конкретный объем и содержание и имеет лишь «оценочную окраску», все же приходится прибегать к нему — и именно в интересах оценки — для отличия от «нехудожественной» прозы. Старая поэтика считала образ и образное мышление (в отличие от «безо́бразного») специфическим свойством поэзии. В этом смысле «проза» Пришвина, например, чистейшая поэзия, только не организованная стиховым ритмом. Новейшая поэтика признает образ, т. е. «отрыв от предметности», от «вещи», только вторичным явлением поэзии, не конструктивным фактором ее.

...Образы водятся там, где кочует мысль,—

вот определенное отношение Сельвинского к этому поэтическому фактору, проводящее резкую грань между новой поэтикой и поэтикой Пушкина («проза требует мыслей и мыслей»). В сущности, новые поэты отходят от самого понятия «образа»; «отрыва от предметности» здесь нет, нет претворения мысли, чувства и предмета в образ; они берут вещь в ее реальной «предметности», противопоставляя себя безвещному, бесплотно-ирреальному символизму и гиперболически-вещному футуризму. Здесь опять проявляется все та же основная тенденция приближения к прозе.

Поэзию «конструктивизма» Евг. Ней характеризует как «буфер между поэзией и заказом»; тот же Сельвинский говорит о «введении в поэзию приемов прозы как организационного средства». Но где неуловимая грань, препятствующая переходу «организационных» средств в самую качественную сущность творчества? То, что «Пушторг» написан в сатирически-гротесковом плане, в известной мере оправдывает его остро ощущаемую местами прозаичность: сатира в сущности есть выражение известных публицистических, прозаических тенденций, она — тоже своеобразный «буфер» на грани прозы. Когда вы читаете у Пушкина:

Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно.
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно... и т. д.

или сатирическое изображение техники творческого процесса:

...Из мелкой сволочи вербую рать.
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я... и т. д.,

то эти «прозаизмы» вы не воспринимаете как прозу, именно ввиду целесообразности их для всего произведения в его целом, в его общей сатирической установке. «Конструктивисты» вводят приемы прозы и в ином плане, вне этой общей установки синтетического целого, вводят не только как сатирический элемент, а как элемент художественно-поэтический. Конструктивисты вводят в свое искусство целый ряд предметов необычного для поэзии ряда: вещи индустрии, техники, политики, науки, спорта, газетные объявления, типографские ухищрения, хронику, рекламу, агитку, обильный словарь терминов, цифровой материал в своем «голом» неприкрашенном виде.

Нужны были полчища и века случек,
Чтобы мутации животного гена
Создали череп звериного гения,
Целое царство нервных звезд,
Вспыхивающих центрами и пылью флексий
В звоне паутины условных рефлексов...

так «наукообразно» описывается рождение «гения» Полуярова в «Пушторге». В «Пушторге» приведены данные экспедиции генерал-губернатора Унтерберга о котиковом промысле, статистические таблицы «самцов, холостых маток» и пр.; Вашингтонская конвенция рядом с классификацией проф. Хвостова. Здесь и современный код:

Стол анкет Наркомторга,
Куда входили диаграммы для СТО,
Статистические карты РКИ и Госплана.

Вот «каталог», характеризующий работу «Пушторга»:

...Барс.
Барсук.
Белка.
Волк.
Горностай.
Лисица (якутская,
иркутская,
печорская,
орская,
русская,
горная,
бурятская,
вятская и т. д.).

Или такая газетная реклама:

Общество акционеров Пушторг.
Скупает, вывозит, красит и белит
Пушнину, мех, щетинный дерг,
Овчину-голяк и овчину дубную,
Имеет фабрики отбелки и краски (Белгород),
Щипки муфлона (Бий-Урюк)...

Здесь по крайней мере ощущается тот ритм, стиховой динамизм, которого читатель не может ощутить в первом примере прозаического «каталога» вещей. Кроль читает учебники, раздел «Лиса», и автор перечисляет:

Меланизм, хромизм, альбинизм, а там
Законы Менделя и прочее, и прочее.

Перечисления — как будто прозаического характера — знает и Пушкин:

Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том... и т. д.,

но у Пушкина это воспринимается сатирически в общем плане его характеристики героя. Или же другое:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по балтическим волнам
За лес и сало ввозит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав... и т. д.

Но здесь является решающим моментом «общий план» строфы, синтетическое восприятие ее; эти заключительные строки:

Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет,

вместе с начальными строками:

Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет...

завершают круг поэтического полусатирического образа всей строфы в ее целом. «Газетное объявление» Сельвинского, серьезное, деловое, без сатирической усмешки, но ритмическое, воспринимаемое читателем первоначально как «газетный» трюк, по осмыслении всего произведения в его целом тоже приобретает какое-то особое звучание, приближающее его к поэтическому — это необходимо отметить, но того же нельзя сказать о первом примере его «каталога», как и о многих других определенно прозаических приемах Сельвинского.

Таково заявление Савича, во всей неприкосновенности своей формы и грамотности приведенное в романе:

Будучи студентом 2 МГУ,
Где мною пройден курс зоографии... и т. д.

Или деловая корреспонденция из Парижа:

Модели Конфексион-де-Мод
Обещают сделать текущий год
Голубым песцом, муфлоном и белкой,
Популярен испанский воротник гаррот,
Особенно же с гарнитуром отделки
И пуговицею.

Один ритмический признак стиховой формы достаточен ли, чтобы служить признаком и поэтического характера этой речи, полной прозаических рядов? Или вот письма Полуярова, Савича, Мэка — большие, дискуссионно-политические и деловые, где смысл слова подчиняет себе ритмовую сторону, хотя «теснота» и динамическая сжатость стиховых рядов как будто подымает целое над обычной прозой.

Дорогой Северьян.
Дела неважнецкие.
Кое-что есть... и т. д.

Но достаточно сравнить эти письма с письмом Татьяны, чтобы почувствовать резко не только разницу стилей и размеров «старых» и «новых», но самого типа установок — поэтически-ритмической в одном случае и прозаически-смысловой в другом...

Автор оперирует «натуральными» рядами звукоподражания, например «кхашель». «Он г'ваил: Ассьте», — это выходит натуралистически-ярко и остро. Но вот какова колыбельная песнь в натуралистической транскрипции «безграмотности»:

У такая Зюзика серьенькая пузика.

И к чему абракадабра-«заумь» сербской детской песни: «Брабац пипац Да ми старац, Шрап да»?

Для характеристики обывательщины вводится на равноправных началах в литературу одесско-обывательская пародийная речь и образы обывательского остроумия: «Зачесанный по принципу внутреннего займа»,

«И это государству абсолютно недорого», «Я себе пишу, а остальные молчат», «Он извиняется»: «Пухлая, как поросячий ангел...» (в любовной сцене с Ниной) — это «просто свинство». Савич выражается по-комсомольски так: «Самое во — двинуть гимнастикой». Это энергично, но и только. Что означает вообще: «Пашка дернул хав-ляв барзачок»? Что это за «воровской жаргон»?.. Все это грубый и вульгарный натурализм.

Самое строение фразы в «Пушторге» имеет определенную ориентацию на прозу, «разговорную интонацию»:

Оказалось, что ее звон
Был той щепоткой соли,
Которой недоставало
Для самого полного счастья.

Здесь уже ритм почти неуловим. И вовсе не надо, как это язвит автор, быть «учителем словесности» и влезть в «халат» для того, чтобы констатировать, читая «Пушторг»:

Но как протокольно.
А прозаизмы. А русский язык.
Тащит слова из кооператива...

констатировать и то, что поэт вообще «до прозы весьма падок; скоро он логарифмы перепрет на стихи». Поэт балансирует на тонкой грани этой своей игрой с прозой, — и здесь, конечно, легко доиграться, скатиться в пропасть самой настоящей прозы...

VII.

Как всякий поэт, я — сердце статистики;
Толпоголос мой голый язык...

— формулирует эту свою «игру» Сельвинский. Так ли это? Конечно, поэт— «голос толпы», но должен ли его язык быть «голым», его «сердце» — статистически цифровым?..

Пушкин, своими исканиями жанра и стиля гениально предвосхитивший ряд проблем, волновавших и волнующих писателей позднейшей эпохи, в черновой заметке, найденной только в наши дни (1922 г.), говорит о том моменте «зрелой словесности», когда начинают становиться скучными «однообразные произведения искусства, ограниченный круг языка условленного, избранного», «так называемый язык богов». «Мы называем поэтом всякого, кто может написать десяток ямбических стихов с рифмами». Гениальный поэт искал нового стиля, характер которого для нас становится довольно понятен из приводимых им тут же следующих соображений: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем».

Итак, ничто не ново под луной, и ровно сто лет назад (в 1828 г.) гениальный поэт мечтал о «прелести нагой простоты» в поэзии, об освобождении ее от «условных украшений»; в прозе, мы знаем, он пришел уже к замечательно точному и простому, почти обнаженному «деловому» рассказу (чей образец превосходный видал и у Мериме), к «сжатому языку протоколиста-рассказчика» и «прочной фабуле, занимательной в самой себе, почему все его повести и производят впечатление анекдотичности» (Б. Томашевский), — словом, к непревзойденной до сих пор и поразительно

сильно действующей на читателя и сейчас прозе «Пиковой дамы», «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки». Но, конечно, эти идеалы пушкинского упрощенного, лишенного «обветшалых» и «условных» украшений стиля, идеалы трезвой деловитости, как небо от земли, далеки от практики современных упростителей футуризма и конструктивизма, от «голого языка» статистического сердца нове, ших поэтов.

Введением в строй поэзии предметов жизни — «вещей» поэт придает, сказали мы, особую остроту поэзии — от контрастирования строев идеального поэтического мира и натуралистического, практического. Вот откуда и особая пикантность «прозаизмов» в идеально-поэтической пушкинской речи. Употребляя иногда для остроты сатирического контраста прозаический оборот обыденной речи в поэтических рядах своего творчества, Пушкин подчеркивал исключительность этого приема, его сатирическую установку и его фактическую «ненужность» для чисто поэтического процесса:

Извольте мне простить ненужный прозаизм...

хотя в указанных целях этот прием оказывался очень «нужным», уместным, действительным. Но здесь должна особенно тонко ощущаться какая-то грань, мера, препятствующая количеству переходить в качество.

И «машинная» современность может, конечно, служить материалом искусства. Искусство вовсе не должно ограничивать свое «сырье» вещами определенного сорта, отличать ряды «низких», не подлежащих поэзии, предметов от «высоких». И цветок засохший, безуханный, и аэроплан, и прекрасная машина Рено, и трактор подлежат ведению искусства. В принципе приемлемы и «вздутые мускулы слов»: «шерстобит, стеклодув, краскотер, сукновал, рыболов — эти парные сплавы удара и цели», «трудовые слова», «трудовое арго» —

...Столь непринятое в поэтическом доме (Г. Шенгели).

Вопрос весь в том, к а к дать эти предметы; в этом «как» — все центральное отличие искусства от литературной регистрации. Современный футурист — чаще коллежский регистратор «вещей», а не поэт их. Поэт берет этот простой, забытый в книге, безуханный цветок, засохший и, может быть, натуралистически-пыльный, и делает из него перл создания. Близ ложа поэта печальная свеча горит; его стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви... Или вот зима в деревне: Вечер, вьюга воет. Свеча темно горит. Стесняясь, сердце ноет... В гостиной разговор о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится, стальными спицами проворно шевеля... Предметы, вещи жизненные, «низших рядов» — та же свеча сальная — преодолеваются как прозаический факт и звучат в необыкновенно-высоком поэтическом тоне, изумительной музыкой речи. Так же в принципе возможно предположить и творческое преодоление какой-нибудь современной электрической лампочки «близ ложа» какого-либо поэта наших дней, хотя наши поэты-«грузчики» творят более прозаически, и стихи — «груз» их — отнюдь не «журчат»... Электрическая лампочка может создать картину иного стиля, но тоже поэтического, ведь и она — такая же по существу техническая производственная «вещь», как и свеча. Так же возможно в принципе, что подлинный поэт создаст перл создания из факта любой технической и индустриальной вещи.

Повторяю, все дело на практике в характере самого процесса претворения: творческого или же просто регистраторского. Самый принцип введения «вещей к а к т а к о в ы х» в поэзию — есть принцип в корне

гибельный, в корне отрицающий поэзию и искусство, — может быть, искусство и только «буржуазной культуры», по решительному заявлению конструктивистской зачинательницы Чичаговой, — не стану спорить, хотя, по-моему, это относится ко всякой поэзии, в том числе и пролетарской.

«Вещь» как таковая не может быть образом искусства; она есть объект искусства, предмет его; но, чтобы стать образом искусства, творческим символом, объект должен быть художественно преодолен как жизненный факт. Только такой «преображенный» объект имеет право существовать в мире поэзии и называться ею. «Вещь» же как вещь, в своей конструкции, в своем масштабе выпирающая из этого мира, грубо разрывающая тонкую ткань его, то поэтическое «облако», которое окутывает образы поэзии, — есть элемент натурализма, прозы, обыденности, имитации творчества.

Было бы, может быть, еще действительнее, если бы удалось вклеить в стихи кусочки подлинных предметов, как то делается в художественных панорамах, но искусство ли это будет — этот «госплан современной поэзии», как конструктивисты называют свое творчество?

VIII.

В «Пушторге» поэт ясно стоит на грани прозы. Но и проза весьма, как я уже сказал, неудобоваримая, грузная (действительно, «грузофикация»), тяжелая. И где тут предуказанная «экономия» средств? Для того чтобы сказать читателю, что люди типа Кроля умеют легко войти в расположение даже суровых Мэков, автор выражает эту простую мысль таким безвкусным, тяжелым «конструктивным» образом, какой-то талмудической притчей:

...Как распыленный душ,
Льют на темя теплую водичку,
И точно благородное дерево дичку,
Будь вы трижды прозорливы и высоки,
Все же вы струите кровяные соки
В жилки этих легких душ,
Чтобы, устав от боевых великолепий,
Забыться в качалке этого лепета.

Действительно, какой-то «масонский ход конструктивных гвоздей»... А вот как изображается игра на виолончели:

Коричневый шкап — еловый или прочих хвой,
Где туго выла коровья кишка
И нервничал конский хвост...
...Он мычит...
И в прорез морских коньков на брюхе,
Сквозь тяжелую дрожь газированных жил,
Жужжащих, как рельсы тоннальных пружин,
Археоптериксного колена,
Фуриозных вибраций, помпезных рулад...

Может быть, иные и найдут здесь поэзию, творческое преодоление вещи. Мне, «старому человеку», кажется это все просто неудобочитаемым. О каком таком «такте» и «разноударнике» тут уж приходится думать? Приходится напрягать все мыслительные способности, чтобы понять логически этот образ, расшифровать его смысл. Часто — это просто ребус, и читатель старается стихи перевести на обычную прозу, подставить сказуемое к подлежащему и т. д., чтобы добраться до потаенного смысла. Здесь мне приходится задержаться на вопросе о «понятности» поэтического произведения, — хотя бы и рискуя быть зачисленными автором в ряды «по-

четных потомственных непонимаков», о которых он говорит. Мне кажется, понятность есть одно из основных условий поэтического словесного произведения; научное произведение,— философское, политико-экономическое,— нуждается естественно в долгом изучении, проработке, расшифровке; оно предполагает запас предварительных специальных знаний. Но поэзия — не наука. Образы и эмоции, ритм, т. е. содержание поэзии, апеллируют не к рассудочной стороне человеческой психики, а эмоциональной, т. е. более восприимчивой, общедоступной: они близки людям разных интеллектуальных установок. Тем более эта характеристика приемлема, когда идет речь не о специальном ограниченном роде поэзии (например, о поэзии символической), обращающемся к узкому кругу специалистов или гурманов от эстетизма, а о поэзии, определенно рассчитывающей на общесоциальную значимость, на широкий отклик в современности. «Непонятность» вредит этим расчетам, губит эту поэзию, сводит ее значение к нулю. «Конструктивизм» определенно считает себя искусством новой России, т. е. России рабочей и крестьянской. Устами своего барда И. Сельвинского он провозглашает свою полную созвучность этой новой России, он, который родился «подстать своей эпохе» без «бледных ног» брюсовского символизма, без «полосатых кофт» футуризма, «в скромной и деловой обстановке» как объединение поэтов, работающих «над новыми литературными принципами, какие вытекают из самого существа нашего времени». Но «существо нашего времени» предполагает именно участие в творчестве и строительстве масс. Какая же это демократическая поэзия, непонятная демосу? Опять изолированность, опять кружковщина эстетически-формальная («для немногих»)? Опять — «в себе и для себя»?

... Нам непонятен ни ваш язык,
Ни ваша новая форма.

«Какая это пролетарская поэзия, когда мы ее не понимаем?» горестно восклицает рабочий читатель о современной поэзии.

В интересном обследовании, произведенном МГСПС на московском массовом читателе («Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике», разработано В. Горовиц и М. Фрадкиной, 1928 г.), звучит тот же мотив, когда заходит речь о современной поэзии и когда исследователи, констатируя малую читаемость в Москве «даже нашумевших» поэтов, отмечают из читаемых авторов только Некрасова, Дем. Бедного и Есенина. «Приговор читателя» ясен: «Я пробовал читать новых поэтов, но мне это трудно давалось; я ничего никак не пойму; редко-редко, когда пойму, а вот Пушкин — как по маслу идет, а вот Лермонтов — как по маслу идет...», заявляет ленинградский рабочий (см. еще другую сводку анкет по этому вопросу в книге А. Кухарского «Приговор читателя», Л. 1928 г.). Такой общий отклик находит с формальной стороны современная, претендующая на социальную значимость поэзия в среде столичного рабочего, несомненно стоящего в культурном авангарде рабочей массы страны. А что говорить о крестьянском читателе, друге книги в глухих местах наших, где нет ни столичного «шума», ни гремящих «витиев», ни «словесной войны»?

В очень интересном обследовании учителя А. Топорова об отношении деревенского читателя к современной литературе (в ряде книжек «Сибирских огней» за 1927—1928 гг.) наш писатель, если бы он хотел поглубже связаться с эпохой и своим читателем, мог бы почерпнуть многое полезное для себя. Работая несколько лет среди крестьян над художественной книгой, прочитав им огромное количество произведений классиков и современных писателей, автор обследования приходит к выводу, что «деревня

прежде всего гонится за интересностью языка книги, за ее сюжетностью, потом уже за ее идейным содержанием», и поэтому часто «крестьянское определение наилучшего художественного произведения совершенно одинаково с общепринятым на верхах литературы». Крестьяне слушали «буквально с затаенным дыханием, давали великолепные, оригинальные, проникновенные толкования» таким произведениям, как «Ревизор», «Горе от ума», «Господа Головлевы», «Мертвые души», «Нравы Растеряевой улицы», чеховская «Палата № 6», бунинская «Деревня»; но вот «Разин» Чапыгина их «давил своей непонятной стилизованной древней речью» и был скучен: «как чорт ладану, не переносят крестьяне скачкообразной ребусной формы литературного языка Б. Пильняка и др.». Такое же, оказывается, отношение к этому языку и у сормовских рабочих: «Трудно пишете, товарищ Пильняк, вы и Маяковский — труднее всех», сказали эти рабочие Б. Пильняку, приехавшему к ним. И у экспансивного писателя вырываются искренние строки: «Мне совестно и страшно досадно не только то, что я трудно пишу, — мне стыдно, что только теперь я это увидел» («Новый мир» 1928 г., № 7).

Ну, хорошо, примем как факт некоторой малограмотности в вопросах мастерства то, что крестьянин Барнаульского уезда или сормовский металлист в тропах новой поэзии не совсем разбирается, и они, «необычные», ему «трудны» и непонятны. Но вот человек иной культуры и иных духовных горизонтов — разве для него бесспорна и понятна эта поэзия, называющая себя «передовой», «левой», архи-левой и пр.?

Очень интересны в этом смысле воспоминания о таком, крупнейшего духовного масштаба, человеке, — притом ведь и в глазах наших «лефов» бесспорно левом и революционном, — как Ленин. Вхутемасовцы, которые рассказывают о посещении их Лениным, были передовою в искусстве молодежью, и «ничего правее конструктивизма в искусстве, как полагается, не признавали» (М. Гарловский). «Мы единодушно против Евгения Онегина, — заявили они Ленину, — Евгении Онегины нам просто в зубах навязли!» (С. Сенькин). Ленин «прямо покатывался со смеху»: «Вот как, вы, значит, против Евгения Онегина? Ну, уж мне придется тогда быть за: я ведь старый человек»... Ленин говорил о «понятности» реалистического искусства. «Это и мне понятно, и вам понятно, и рабочему, и всякому другому понятно. А что, скажите, пожалуйста, в ваших новых работах? Там я на человечьих лицах ни глаз, ни носов не нахожу» (это о живописи футуристов). И Нат. Альтману он говорил о футуризме: «в этом я ничего не смыслю, тут надобно специалиста», т. е. переносил вопрос из области эмоционального искусства в область иную, рационалистическую, формальную. Это была точка зрения «здравого смысла» и «старого», но такого хорошего, вкуса.

Ленин, оказывается, «понимал» Пушкина и Некрасова, а вот «Маяковского, простите, не понимаю» — совершенно в стиле сормовского рабочего. И А. Луначарский тоже вспоминает, что Ленин находил поэму Маяковского («150 миллионов») «вычурной и ш т у к а р с к о й»; очевидно, эту острую характеристику он относил и ко всему творчеству поэта. Конечно, могут возразить на это обиженные поэты: вот и томик стихотворений Блока не «принимал» Ленин, и вообще «Владимир Ильич не любил новых поэтов» (В. Богушевский). Значит ли это, что он поэзии был вообще чужд? Оказывается, однако, что Ленин любил не только Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Байрона, Шекспира, но и Боратынского, Тютчева (П. Н. Лепешинский), и тут, выходит, вопрос уже и не в одной «старости» и не в чуждой «специальности».

Вообще вопрос о понятности и общедоступности искусства — сложный вопрос. Более утонченные формы в поэзии, которые требуют уже предварительной поэтической культуры, общего развития, высокой квалификации и известного предрасположения, конечно, останутся чуждыми элементарному читателю. Вот и не весь Пушкин, который так нравится и крестьянам, и рабочим, не весь он «как по маслу» пойдет для них, не весь воспринят будет в своем очаровании или в сокровенном смысле. Может быть, сокровенной тонкости и очарования «Египетских ночей» или стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят» и не почувствует рядовой читатель. Здесь чисто фразеологическую понятность не надо смешивать с противоречивым осмыслением, которое допускает пушкинская «двупланная семантика слова», о которой говорит в своей новейшей работе о Пушкине Ю. Тынянов. И вот в речи Хлебникова, казавшейся прежде «бессмысленной», современный исследователь видит уже не «бессмыслицу, а новую семантическую систему». Ломоносов казался в свое время «бессмысленным» Сумарокову, Жуковский («служащий теперь букварем детям») осмеивался в пародиях современников, как «бессмысленный». И Андр. Белый в своем «Символизме» указывает, что всего за 5—6 лет только до написания этой книги «употребление пауз русская критика встретила, как недопустимое новшество, как неуменье писать стихи».

Нельзя не учесть при этом тех правильных указаний на «права, завоеванные тысячелетиями поэтической культуры и составляющие существо поэзии», которые делает как раз по этому поводу сам Сельвинский, защищаясь от упреков в непонятности: «Огромная область, делающая из поэзии п о э з и ю, прием «тропа», или в просторечьи образ, имеет неограниченные возможности, — пишет он. — Чем сложнее психика и поэтому чем тоньше ее ассоциации, тем неожиданнее образ, тем он необычнее, труднее» («Читатель и писатель» № 16). Другие авторы идут дальше и, указывая, что «всякий поэт вне серьезной лабораторно-языковой школы не существует», предлагают не бояться окрика: «массы не поймут» («На литер. посту» № 15—16). Так ли это? Обусловливает ли «сложность психики» то пользование утонченностью языка и изощренностью его, которое ставит язык поэта на грань «заумности»? Должен ли быть вообще образ в поэзии «трудным»? Процесс творчества не есть ли процесс преодоления «трудности» и «сложности»? И не должен ли поэт чувствовать какой-то тонкой меры, грани, на которой необходимо остановиться?

Не поняв в свое время жанровой революции «Руслана и Людмилы», Воейков, примыкавший к карамзинистам, нападал, как и многие другие, на «подлость» слов в поэме, т. е., очевидно, на их общепонятность. В ряде своих пьес ясен, прост и открыт Пушкин и ритмически («как по маслу идет»), и в сочетании своих образов и формы, в своих «словах». Это и есть свойство великого писателя; прав автор сибирского обследования, считая, что «великое в художественной литературе потому и великое, что оно действует на б о л ь ш и н с т в о людей, действует незримо, тайно, как вешняя вода под пластом снега. Люди ощущают больше, чем понимают и могут выразить». Вот чем велик и Л. Толстой — он всем понятен. Он гениально прост. Великое искусство всегда ориентировалось на массового читателя, начиная с Гомера, Шекспира; таковы наши гениальные и великие писатели — общепонятные, общенародные: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Тургенев, Гончаров, Лесков... Таков из более молодого поколения классиков — Бунин, несмотря на всю утонченность его форм...

Можно в некоторых смыслах принять как бесспорное положение Л. Толстого (в его письме к Л. Андрееву), что — «Простота — необходимое

прежде всего гонится за интересностью языка книги, за ее сюжетностью, потом уже за ее идейным содержанием», и поэтому часто «крестьянское определение наилучшего художественного произведения совершенно одинаково с общепринятым на верхах литературы». Крестьяне слушали «буквально с затаенным дыханием, давали великолепные, оригинальные, проникновенные толкования» таким произведениям, как «Ревизор», «Горе от ума», «Господа Головлевы», «Мертвые души», «Нравы Растеряевой улицы», чеховская «Палата № 6», бунинская «Деревня»; но вот «Разин» Чапыгина их «давил своей непонятной стилизованной древней речью» и был скучен: «как чорт ладану, не переносят крестьяне скачкообразной ребусной формы литературного языка Б. Пильняка и др.». Такое же, оказывается, отношение к этому языку и у сормовских рабочих: «Трудно пишете, товарищ Пильняк, вы и Маяковский — труднее всех», сказали эти рабочие Б. Пильняку, приехавшему к ним. И у экспансивного писателя вырываются искренние строки: «Мне совестно и страшно досадно не только то, что я трудно пишу, — мне стыдно, что только теперь я это увидел» («Новый мир» 1928 г., № 7).

Ну, хорошо, примем как факт некоторой малограмотности в вопросах мастерства то, что крестьянин Барнаульского уезда или сормовский металлист в тропах новой поэзии не совсем разбирается, и они, «необычные», ему «трудны» и непонятны. Но вот человек иной культуры и иных духовных горизонтов — разве для него бесспорна и понятна эта поэзия, называющая себя «передовой», «левой», архи-левой и пр.?

Очень интересны в этом смысле воспоминания о таком, крупнейшего духовного масштаба, человеке, — притом ведь и в глазах наших «лефов» бесспорно левом и революционном, — как Ленин. Вхутемасовцы, которые рассказывают о посещении их Лениным, были передовою в искусстве молодежью, и «ничего правее конструктивизма в искусстве, как полагается, не признавали» (М. Гарловский). «Мы единодушно против Евгения Онегина, — заявили они Ленину, — Евгении Онегины нам просто в зубах навязли!» (С. Сенькин). Ленин «прямо покатывался со смеху»: «Вот как, вы, значит, против Евгения Онегина? Ну, уж мне придется тогда быть за: я ведь старый человек»... Ленин говорил о «понятности» реалистического искусства. «Это и мне понятно, и вам понятно, и рабочему, и всякому другому понятно. А что, скажите, пожалуйста, в ваших новых работах? Там я на человечьих лицах ни глаз, ни носов не нахожу» (это о живописи футуристов). И Нат. Альтману он говорил о футуризме: «в этом я ничего не смыслю, тут надобно специалиста», т. е. переносил вопрос из области эмоционального искусства в область иную, рационалистическую, формальную. Это была точка зрения «здравого смысла» и «старого», но такого хорошего, вкуса.

Ленин, оказывается, «понимал» Пушкина и Некрасова, а вот «Маяковского, простите, не понимаю» — совершенно в стиле сормовского рабочего. И А. Луначарский тоже вспоминает, что Ленин находил поэму Маяковского («150 миллионов») «вычурной и ш т у к а р с к о й»; очевидно, эту острую характеристику он относил и ко всему творчеству поэта. Конечно, могут возразить на это обиженные поэты: вот и томик стихотворений Блока не «принимал» Ленин, и вообще «Владимир Ильич не любил новых поэтов» (В. Богушевский). Значит ли это, что он поэзии был вообще чужд? Оказывается, однако, что Ленин любил не только Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Байрона, Шекспира, но и Боратынского, Тютчева (П. Н. Лепешинский), и тут, выходит, вопрос уже и не в одной «старости» и не в чуждой «специальности».

Вообще вопрос о понятности и общедоступности искусства — сложный вопрос. Более утонченные формы в поэзии, которые требуют уже предварительной поэтической культуры, общего развития, высокой квалификации и известного предрасположения, конечно, останутся чуждыми элементарному читателю. Вот и не весь Пушкин, который так нравится и крестьянам, и рабочим, не весь он «как по маслу» пойдет для них, не весь воспринят будет в своем очаровании или в сокровенном смысле. Может быть, сокровенной тонкости и очарования «Египетских ночей» или стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят» и не почувствует рядовой читатель. Здесь чисто фразеологическую понятность не надо смешивать с противоречивым осмыслением, которое допускает пушкинская «двупланная семантика слова», о которой говорит в своей новейшей работе о Пушкине Ю. Тынянов. И вот в речи Хлебникова, казавшейся прежде «бессмысленной», современный исследователь видит уже не «бессмыслицу, а новую семантическую систему». Ломоносов казался в свое время «бессмысленным» Сумарокову, Жуковский («служащий теперь букварем детям») осмеивался в пародиях современников, как «бессмысленный». И Андр. Белый в своем «Символизме» указывает, что всего за 5—6 лет только до написания этой книги «употребление пауз русская критика встретила, как недопустимое новшество, как неуменье писать стихи».

Нельзя не учесть при этом тех правильных указаний на «права, завоеванные тысячелетиями поэтической культуры и составляющие существо поэзии», которые делает как раз по этому поводу сам Сельвинский, защищаясь от упреков в непонятности: «Огромная область, делающая из поэзии поэзию, прием «тропа», или в просторечьи образ, имеет неограниченные возможности, — пишет он. — Чем сложнее психика и поэтому чем тоньше ее ассоциации, тем неожиданнее образ, тем он необычнее, труднее» («Читатель и писатель» № 16). Другие авторы идут дальше и, указывая, что «всякий поэт вне серьезной лабораторно-языковой школы не существует», предлагают не бояться окрика: «массы не поймут» («На литер. посту» № 15—16). Так ли это? Обусловливает ли «сложность психики» то пользование утонченностью языка и изощренностью его, которое ставит язык поэта на грань «заумности»? Должен ли быть вообще образ в поэзии «трудным»? Процесс творчества не есть ли процесс преодоления «трудности» и «сложности»? И не должен ли поэт чувствовать какой-то тонкой меры, грани, на которой необходимо остановиться?

Не поняв в свое время жанровой революции «Руслана и Людмилы», Воейков, примыкавший к карамзинистам, нападал, как и многие другие, на «подлость» слов в поэме, т. е., очевидно, на их общепонятность. В ряде своих пьес ясен, прост и открыт Пушкин и ритмически («как по маслу идет»), и в сочетании своих образов и формы, в своих «словах». Это и есть свойство великого писателя; прав автор сибирского обследования, считая, что «великое в художественной литературе потому и великое, что оно действует на большинство людей, действует незримо, тайно, как вешняя вода под пластом снега. Люди ощущают больше, чем понимают и могут выразить». Вот чем велик и Л. Толстой — он всем понятен. Он гениально прост. Великое искусство всегда ориентировалось на массового читателя, начиная с Гомера, Шекспира; таковы наши гениальные и великие писатели — общепонятные, общенародные: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Тургенев, Гончаров, Лесков... Таков из более молодого поколения классиков — Бунин, несмотря на всю утонченность его форм...

Можно в некоторых смыслах принять как бесспорное положение Л. Толстого (в его письме к Л. Андрееву), что — «Простота — необходимое

условие прекрасного. Простое и безыскусственное может быть нехорошо, но непростое и искусственное не может быть хорошо».

Поэзия может быть поэзией и в то же время оставаться «простой» и понятной — вот в сущности идеал, к которому должен стремиться поэт, — та тонкая грань, на которой должна удержаться поэзия и от снижения ее в вульгарность, и от замкнутости ее эстетической...

IX.

Но каков объем и конкретное содержание достаточно условного понятия «простота»? В. Брюсов правильно как-то отметил, что «просто то, к чему привыкли. В эпоху лжеклассицизма его стиль казался для читателей простым, и первые произведения романтиков возбуждали негодование мнимой нарочитостью своего стиля». И о какой «простоте» у нас идет речь: о «простоте» словесного выражения, логического смысла, ритмических связей?

Может быть, «старый» стих «понятен» нынешнему читателю потому, что он не ощутим резко как «форма», что в этом смысле он сглажен, «мотивирован», уравновешен, легок, воспринимается, «как по маслу», а новое и необычное часто ведь кажется «непонятным»?

Положительная ли похвала «как по маслу» или же отрицательная, сигнализирующая об «автоматичности»? Но искусство — именно в том, что оно не воспринимается как искусственно сделанное; оно незаметно, просто, «легко», и вот это в искусстве и самое трудное — добиться легкости, а вовсе не в том, чтобы сделать образы «трудными» и невоспринимаемыми. Рациональна ли в смысле поэтического воздействия «обнаженность приема»? Чтение — дело само по себе трудное, ибо требует переключения из одного (окружающего) мира в другой, замкнутый; но вот поэтому в поэзии читателю и легко предпочесть пушкинское «канапе» тряской телеге современного стиха...

В новом стихе читателю прежде всего непонятен «язык»; я не говорю о «темном» строе поэзии Пастернака или частой смысловой затрудненности Хлебникова, вытекающей из его пропусков и перестановок ряда смысловых звеньев и отказов от мотивировки фабульных скачков (Н. Степанов); но даже у Сельвинского, чья поэзия так «вещественна», вся в плане смысловом, на каждом шагу приходится встречаться с «необычностью» образов, делающей их «непонятными» и напоминающей о злой характеристике в «Записках поэта»:

Ваша вещь производит такое впечатление,
Точно она написана по-французски,
А русский текст переводишь уже в уме.

Это часто, как мы знаем, сплошные «ребусы».

Но даже и образ не без математик:
Миллиметр влево — и вот по стеклу
В масле шумит глазунья омлета
Или сентябрьский парк в Сен-Клу.

О чем это? О здании Пушторга, где «золото лета в черных широтах стекла». И все-таки непонятно, и все-таки долго вчитываешься, чтобы постичь, причем тут глазунья омлета и Сен-Клу.

В штемпелях дат жаркие марки воспоминаний...

Даже в контексте эта перегруженная образами строка весьма трудно усваивается и «спецом»-читателем, а о «массах», которые «не поймут», и говорить не приходится.

И синтаксически, и логически очень трудно постичь вот такую строфу, наугад мною взятую:

Ночью, от электричества палевое,
В дымном баре лицо Онисима
У кадки с мохнатой сигарою пальмы
Нависло над бездной застегнутой тени,
Полуотвернувшись от всенощных бдений,
Эстрады с маленькими актрисами.
Под цокот дождя и видение лошади
В странной тоске о сахаре и злости.

Кто? Что? Поймите, в чем дело. Расставьте по местам эти «мохнатые сигары пальмы», «застегнутые тени»... Бедный «уединенный» читатель! (Ибо на «массы» это явно не рассчитано.)

«Непонятность» новой поэзии относится и к «языку» и к «форме». Слово не воспринимается как стиховое и как поэтическое. Оно становится «непонятным» как иноземное в чужом ряду. Если поэзия в ее лучших достижениях, по-Брюсову, восстанавливает утраченную «первоначальную жизненность всех трех элементов слова (звук, образ, понятие)», — т. е. заставляет непосредственно воспринимать «звучание слов (ритмика и эвфония стиха и прозы), эмоционально воспринять их как образы (эйдология), не утрачивая, однако, выраженных ими понятий (семасиология)», то современная поэзия разбивает этот синтез, заменяя психологический образ или фоническим, или чисто семасиологическим. Или это поэзия «смыслового содержания», как мы видели у Сельвинского, в которой чисто поэтическое начало извращено и потому «непонятно», или же это поэзия чисто звуковая, основанная на внешних сходствах слов, — чисто словесная, теряющая связи эйдологические и смысловые, становящаяся мало-вразумительной в своем логическом понимании (Б. Пастернак и др.). В «Проблемах поэтики» приводятся такие характерные, напр., примеры этой «словесной «игры»: «это не розы, не рты, не ропот» — у Пастернака; «галлереи балерин — лорелеи перелив» — у Асеева. У него же:

Я запретил бы «продажу овса и сена»:
Ведь это пахнет убийством отца и сына.

Где же «понять» эту поэзию читателю!..

Самый ритм стихового ряда с трудом улавливается, и потому стих воспринимается как проза, только особо расставленная, вычурная, «искусственная». Стих «новой метрической системы», как указывает В. Жирмунский, «дольники» А. Блока и, в особенности, чистый тонический стих Маяковского, воспринимаются читателем, воспитанным на традиционной силлабо-тонической метрике, как произведения не ритмические. «Те читатели, которые оценивают стихи Маяковского, как бесформенную прозу, затрудняются найти метрическую равнодействующую среди столь различных по своему слоговому составу рядов; не воспринимая метра, т. е. инерций ритмического движения, они теряют ощущение самого ритма, как организованной соподчиненности слоговых рядов одинаковому метрическому закону». Здесь снова приходится, — желая воспринять стих как поэзию, — «переводить в уме» прозаические ряды в поэтические. И это не от непривычки только. В «свободном стихе» и читателем высокой квалификации воспринимается резко его близость к прозаической организации речи; ритмическое своеобразие нового стиха делает слишком резким уход от метрического единства и звуковой гармоничности, и этот уход воспринимается как некий р а з р ы в, не осмысленный широким читателем и потому «непонятный» ему, — как нарушение монистической замкну-

тости стихового ряда. Молодежь, воспитывающаяся на газете, на динамической патетике публицистики, охотно воспринимает резкую изломанность ритма, приближающую эту поэзию к прозе, подчеркнутый уход от певучести, угловатость и грубость стиха, потому что вообще смысловую единицу ей в мире практическом легче воспринимать, чем звуковую; но читатель, который ищет в поэзии прежде всего особые свойства, особую поэтическую сущность, останавливается, конечно, перед новой поэзией с недоумением. Таковы сормовец, ленинградский металлист и В. Ленин. Видимая перегруженность стиха смысловыми моментами, коммуникативными, рационалистическими по существу своему (вещественными, предметными), деформация ритма в пользу семантики создают в результате восприятие его как нового вида полупрозаической речи, требующей известного рассудочного постижения. А если стих не дает удовлетворения чисто эстетического, он остается как стих неприемлемым, «непонятным».

В конце концов тряская телега, несущаяся по кочкам, может быть, и обостряет характер поездки, но выворачивает всю душу, разбивает поминутно настроение и возвращает ежеминутно к «смысловой» действительности, не дает уйти в мир идеальный, в «своенравный» мир поэзии. Где же тут «экономия» художественных средств? Понятность и простота формы — отличия истинно великого искусства — в этом смысле являются, наоборот, вернейшими, ближайшими и потому «экономнейшими» путями к разрешению основных задач воздействия поэзии на читателя.

X.

К тому, что сказано, мне остается немного добавить о поэтических приемах Сельвинского. Автор очень литературен, культурен в своем деле: он легко оперирует своими заданиями, легко пародирует, если ему нужно, разнообразнейших поэтов: и Маяковского, и Демьяна Бедного («Пугало»), и онегинскую манеру, и «Несжатую полосу» некрасовскую.

Осень. Афиши в дожде и без оного;
«Вечорка» объявила, что грачи улетели;
Город времонтированный в «лес» — обнажился;
Съехались дачники — поля опустели.
Только одна — Ниночка Бессонова... и т

В формальном замысле своего «романа в стихах» писатель исходит из опыта Байроновского «Дон-Жуана» и пушкинского «Онегина», первоначально задуманного, как известно, в сатирическом плане, — из вольного стиха байронической поэмы с ее разнообразием и легкой сменой картин и положений, лирических и всяких иных отступлений, которые гениальный поэт характеризовал, как

...собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Надежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Но «Онегин» ушел из сатирического плана в замечательный лирико-бытовой, художественный и поэтический роман. Сельвинский базируется, главным образом, на едко и остро отточенном сатирическом гротеске-пародии.

Характер свободного «романа» позволяет ему строить на материале, переключаемом из одного плана в другой, оттуда и эти его — часто хорошие лирические отступления, например:

О, юность моя. Я заглох, зачах... и т. д.

И вдруг непременно врежется грубо-прозаическим диссонансом тяжелых и безвкусных, неэстетических рядов:

Кровавое жало мясистой лиры.
Оно, в окруженьи молочного клира,
Медь отливало и брызгало ртуть...

Характерны для сатирически-пародийного уклона Сельвинского эти самые его так называемые «лирические» отступления. Вместо грациозных дамских ножек рука его выводит на полях романа тоже женские профили, только резко сатирического и прозаического шаржа. Вот, например, остро гротесковое вхождение поэта-конструктивиста в современный спор поэтов (Ив. Молчанова, Жарова, Уткина и др.) о «красивой девушке»:

Мне нравится кожаный чулок,
Работник женотдела с наганом и ваксой.
Хоть у ней кэпи уродлив и старящ,
Зато уж она настоящий товарищ...
Но, извините меня — целоваться
Предпочитаю с парой джазбанда.

Поэт в своем сатирически-пародийном озорстве непрочь поговорить вообще о женщинах-«буржуазках»:

Что из того, что вы в пудре и краске?
Да здравствует краска, если она
На обаянье наслоена.

Он уточняет свою мысль, биологически-грубо, но талантливо и остро ее обосновывает:

Женщина? Шутка ли что в этом слове!
Или, быть может, стыдно любить?
Или, быть может, это не важно —
Шарм из Парижа и голая Тверь?
Тогда уж давайте влюбляться в дверь —
Ведь есть же и в ней замочная скважина!..

«Задира задир», поэт не скрывает «бреттерского тона» своего «Пушторга». Но у него не одно «бреттерство». У Сельвинского местами и хорошая, острая изобразительность: «рысак отмашет свой цокот, музыкально редкий»; «крахмальные няни»; «в стеклянном аквариуме кабинета в рыбьих очках он (Кроль) сидит, как спрут». Своеобразная поэтическая грация и мягкость:

Но русская женщина — она, как песец,
Больно кусается, но драгоценна:
Пушистую негу носит в лице она,
Какой не выпушить даже кунице.

(Вот пример конструктивистского принципа «локальной семантики».)

Оставляют впечатление художественные образы Гуляй-поля в окне вагона, махновский хохот, дикая степь и седой туман... Европейская столица, кафе...

Вот свежий пейзаж осени, не уснащенный газетными «вещами» и хроникой («Вечорка», дачники, ремонт), а на сжатых поэтических образах:

А кстати — в холодном утре созрев,
На ветке березы каркала осень.

И рядом сатирический урбанистический пейзаж весны:

Петух разрывает жемчужные ядра,
Поддерживая голос предыдущего оратора.
Всех громче весну знаменует собой
Торжественно выброшенная галоша.

И сейчас же идут следом грузные, «конструктивные»:

...в штемпелях дат
Жаркие марки воспоминаний.

В этом есть смысл, но есть ли здесь поэзия? На это Сельвинский вам, пожалуй, ответит, что он и не ищет поэзии, — но чего же он ищет? Но он как раз ищет «поэзию» и защищает свои «поэтические» достижения от нападок «профанов» — «Тишкиных», как мы знаем («Читатель и писатель» № 16).

Поэзия ли — этот роман в его целом?.. В нем есть стержень идейный, сюжетный и художественный; есть типичность положений действующих лиц, есть обобщения, формулы — художественно-сатирические. И остается, несмотря на всю тяжеловесность и трудночитаемость и несмотря на все ребусы, иногда с трудом расшифровываемые, на все эти «штукарские» выкрутасы и механику «конструктивизма» — словом, вопреки всем стараниям автора, какое-то общее впечатление, настроение от образов, от положений, от идей, от значительности их. Его герои — образы сатирические, но художественно-живые, — символы, живые люди эпохи. Роман в своем целом волнует вас — и волнует не только социально, но и переживаниями героев, — втягивает в себя, заинтересовывает судьбою дела, судьбою лиц. Как это все назвать?

Вообще не является ли решающим моментом здесь именно это «целое» романа, его «общий план», лежащая на нем «печать синтетического миропонимания автора», объединяющая самые разнородные элементы (прозаические «фикции» и пр.).

Но где же в «Пушторге» эта трудно поддающаяся словесному определению и так явственно ощущаемая в подлинных поэтических произведениях «идеальная» атмосфера, окружающая материал, — его преодолевшая, претворившая и очистившая от всех случайных и преходящих прозаических элементов, — атмосфера, возведшая в перл искусства такой сатирический, жалкий образ, как образ Акакия Акакиевича? Поэзия? Где дыхание ее? Здесь, в «Пушторге», — жизнь, но жизнь, взятая в своих практических, «деловых» формулах, а не поэтических, — натуралистическая, а не художественно вымышленная... Как назвать этот род искусства? Время проверит его. Вот он, этот разговорный язык, образы и знаки злобы сегодняшнего дня, — и вот, если этот день и эти изображаемые люди и события пройдут в жизни, отойдут, потеряют актуальность, — само произведение будет ли жить и дышать своей какой-то особой поэтической прелестью в том смысле, в каком (отбросив неизмеримую разницу в качестве) живет сатирическая шутка «Граф Нулин», — или оно потеряет весь свой художественный смысл и сохранит его только как исторический документ дней?..

Во всяком случае сатирически-гротесковый роман Сельвинского внутренней своей напряженностью, динамичностью своеобразного слова, своей остротой структуры, яркими образами — т. е. целым рядом творческих моментов — выходит за пределы простой прозы, хотя бы и публицистической, перерастает ее качественно. Он местами напоминает такую же чисто деловую, страстно-напряженную поэму-роман «Волк Фенрис» (Ферсхофена), социальный роман с телеграммами, цифрами и голыми фактами. Динамика его и сила вытекают из его социальности, из его смысла идейного — и это делает его значительным явлением современной литературы.

Здесь, может быть, уместно будет привести тонкое замечание В. Шкловского из его «Третьей фабрики»: «Понятие литературы все время изменяется. Литература растет краем, вбирая в себя в н е э с т е т и ч е с к и й материал... Литература живет, распространяясь на нелитературу. Но хужественная форма совершает своеобразное похищение сабинянок. Материал перестает узнавать своего хозяина. Он обработан законом искусства и может быть воспринят уже вне своего происхождения. Трудность положения пролетарских писателей в том, что они хотят втащить в экран вещи, не изменив их измерение».

Трудность эта, как мы видим, стережет и писателей-«конструктивистов», «материал» не теряет своей связи с «хозяином», и это создает трудность анализа и оценки таких произведений, если делать это, «не выходя из литературного ряда».

XI.

Вот эта самая обработанность «законом искусства» и в пределах искусства и является решающим моментом «поэзии» — это надо точно установить. Но пределы эти ограничены. Являясь выражением стиля эпохи, поэтическая форма имеет в своих видоизменениях и отклонениях от нормы известную ограниченность поля, выход за пределы которого является уже не только нарушением основных «канонов», а уничтожением самой сущности поэзии. Новый ритм эпохи должен, если выразитель его есть поэт, найти свое творческое претворение в пределах форм, обусловливающих природу искусства. А-метричность и а-ритмичность, в которых Брюсов упрекал дореволюционный футуризм, остались в значительной степени и грехами поэзии позднейшей эпохи, — и это близко к уничтожению самой сути стиха. Никакая вычурность, в котором упрекал Ленин современную поэзию, не может заслонить основной характеристики этой поэзии как снижения поэтической формы и поэтической сущности. От нее никому ни тепло, ни холодно, «ни разрыдаться, ни рассмеяться нельзя»; оттуда холодность к ней читателя.

Проблема формы — это проблема поэтического содержания. Истинное поэтическое чувство всегда найдет выражение своим стремлениям к современности в пределах даже и «отживающего» метрического стиха [1]), и его ритмических модификаций, и «хореи и ямбы», где так «тесно» слову и широко образам и мыслям, не будут пугать его. За ненадобностью уйдет и это самое «штукарство», которое является в поэзии только маскировкой поэтического бессилия создать простыми средствами нужное впечатление. Футуризм в поэзии, живописи и музыке, в сущности, даже предъявляя новые средства для «эпатирования» буржуа, является сам лишь плодом «социального заказа» пресыщенного глаза и слуха, именно этого могу-

[1]) Хотя представитель «имажинизма» (В. Шершеневич) писал в 1920 г.: «наш метрический стих доживает едва ли не последние дни».

чего заказчика. «Левый» американец Коуэлли, пишущий фортепьянные опусы для исполнения их «локтями» (таков, напр., имеющий на Западе шумный успех своей экстравагантностью его «Разговор китайца с европейцем», где европеец изъясняется «локтями», а китаец — «пиццикато»), вводимый французским футуристом-композитором Мило и его сверстниками «политонализм», т. е. музыка, совмещенная в разных тональностях одновременно,— что это, как не то же «штукарство», рассчитанное на пресыщенный слух современного утомленного «дельца»? Музыка — «вещь», «машинная» продукция, но музыка ли это как творческий процесс? Это искусство — кризис искусства, и недаром наиболее одаренные представители его ищут выхода, а такие, как Пикассо, возвращаются к «старым формам». Искусство современное ищет выхода из того тупика формальной изощренности, в который оно зашло.

Поэзия — не одно ремесло. В поэзии пусть лабораторно все будет сделано, обточено, подогнано, но одно техническое мастерство — еще не творческое произведение искусства, и оно еще не делает из мертвой статуи творческую, пусть и каменную, «загадку».

... Гипсу ты мысли даешь!..

Гипс «оживает», «дышит».

Искусство как машина, как «вещь», исключительно производственный подход к делу творчества («Как сделана жизнь и как сделан Дон-Кихот и как сделан автомобиль»), есть только упрощение формалистами такого сложного психологического явления, как творчество; и как в лаборатории нельзя создать живого homunculus'а, так в ней нельзя создать и живую подлинную поэзию. Сатирически остро характеризует этого homunculus'а нашей поэзии в своем памфлете С. Кирсанов:

...У меня ж
вместо ног
двухстопный ямб,
а вместо рук
хореи!
Срифмованы уши
попарно,
и вместо сердца
тактовик
семидесятиударный.
.....
Что же это
такое?
А это...
труды, от которых
ни разрыдаться,
ни рассмеяться нельзя.

То, что заставляет Тынянова считать гибелью «традиционного метра», — именно «автоматический» характер «связи метра с его материалом» — есть только выражение поэтического бессилия производителя стиха, автоматичности его восприятий, его «бездарности», — сведение всего процесса творчества к «лабораторному» делу, к одной версификации, к одному голому холодному мастерству. «Но прежде всего надо быть поэтом». Истинный поэт никогда не будет автоматичен, шаблонен — при всяких размерах, он и не стареет, потому что его «чувство» свежо и молодо своим индивидуальным своеобразием, оно — не «перепевы» чужих «чувств». Волнует ведь своей «поэтической сущностью», находящей художественно целесообразное выражение в «старых» формах, Бунин, как поэт, оставшийся в значительной степени вне влияния на

литературную современность, волнует ведь, как мы уже говорили, не надуманным, а живым поэтическим ощущением. Есенин — пусть поэт и «старых» форм и ограниченных размеров, но настоящий поэт. В его поэзии ясно ощущается само «загадочное» творческое, «поэтическое начало», «преображение», «претворение» прозаических рядов, переключение из мира живой прозы в мир творческой несравненной мелодики. Ибо не в «школе» дело, а в том, что давно мудрые древние люди определяли формулой: «поэты рождаются, а не делаются». Здесь, в эстетическом восприятии читателя, — то, что ненаучно определяется как «интуиция», — конечная неясная решающая инстанция для уловления поэтического существа и поэтического «обаяния» произведения.

После вычур и ужимок истинно поэтическая эмоция ищет возвращения к первоначальной и «извечной» родине стиха — мелодике, звуковому заданию, напевности, в которой вся сила воздействия стиха — к ясности простых, пусть и модифицированных, форм метра и ритма, к своеобразной эмоциональной взволнованности поэта, который «рождается» таковым, а не только «делается». Вторичное рождение для литературы Хлебникова — знаменательное явление, подтверждающее наши выводы. После всех этих выспренно-прозаических ритмов «непоэтической поэзии» прозвучал поэтическим откровением для наших дней, несмотря на большой свой идейный архаизм, Хлебников — именно тогда, когда он от «затрудненности» и словесной сложности своей лирики и «зауми» переходит к «спокойному ритмическому и синтаксическому строю, наивности образа, простоте смысла, к «простому, честному ямбу или хорею», — и здесь уже его преодоление футуризма. Неосознанная еще тяга многих современников к неоклассицизму, мне кажется, есть выражение этих поэтических исканий совершенной и «понятной» формы, — поэзии, которая не изъясняется «локтями» и в которой «прежде всего надо быть поэтом».

P. S. В августовской книге «Красной нови» была помещена моя статья о наших писателях «за границей», об их общественном лице, багаже, устремлениях, о социальной значимости их беззастенчиво-поверхностных наблюдений над Европой, которые Горький остро характеризовал формулой «галопом по Европам».

В части, касающейся Маяковского, статья вызвала организованную кампанию нападок и обвинений неожиданно с той стороны, с которой и я, и редакция журнала «Красная новь», и революционная общественность меньше всего могли бы ожидать, — с той стороны, где мои взгляды, моя общественная точка зрения по существу должны были, «не взирая на лица», найти решительную поддержку. Не удивительно, что в свою защиту выступил сам Маяковский, который заявил в стихах, что он сам себе очень нравится и что он вообще очень «революционный» поэт; а все остальные — просто «сволочи» (таким «поэтическим» аргументом подтверждены были его стихи и так были полностью и напечатаны в литературном, казалось бы, журнале «Читатель и писатель» № 36 — невероятно, но факт!). Но удивительно, что в защиту путевых очерков Маяковского выступила «Комсомольская правда» и, наконец, «Молодая гвардия».

Я и до сих пор не могу толком осмыслить ту «противоестественную» связь, которая существует между этими во всех отношениях революционными органами нашей комсомольской печати и — «Лефом», по характеристике М. Горького, осиянным «заметным сочувствием возрождаю-

щегося мещанства». Так или иначе, но «рассудку вопреки» — здравому революционному рассудку! — вопрос, мною поднятый (о «путешествиях») исключительно в плоскости общественной значимости, был поспешно затушеван и сведен с его принципиальных высот, резко снижен, очевидно, потому что моей общественной точке зрения, в изобилии подтвержденной фактами, нельзя было противопоставить ничего существенного. Объект нападения переключен — однако не так искусно, чтобы не видно было всей закулисной механики и единой цели: во что бы то ни стало поднять общественный «шум» и «бум» (в духе буржуазной рекламной прессы Запада) — вокруг имени поэта... Итак, гора родила мышь. От крупного, принципиального вопроса, поднятого мною в статье, все свелось к прославлению и революционному возвеличению «умученного» мною Маяковского. Свежего человека поразит та исключительная, мягко выражаясь, «странность приемов», та несовместимая с нравами честной общественной борьбы спекуляция негодными средствами, рассчитанная на предполагаемое невежество читателя, которая пущена в ход. Человеку добросовестному и беспристрастному не покажется утрированной моя квалификация этих «приемов», сигнализирующих об опасности порядочного разложения нравов в литературной среде (это тоже, конечно, отражение богемных нравов «возрождающегося мещанства»), если он сравнит ассортимент брошенных в меня обвинений и заведомой неправды с подлинной основой спора — моей статьей в «Красной нови». Он увидит прежде всего, что по существу вопросов, поднятых этой статьей, не сделано противниками ее ни одного возражения. Зато авторы всех выступлений с усердием, достойным лучшей участи, рьяно занялись целым рядом побочных вопросов, которыми я и не думал заниматься в своей статье о «горе-путешественниках» (напр., о том, рекомендуется ли мною писателю участие в газетной работе, или же я «выступаю против» этого участия! — как утверждает Костров («Чит. и пис.» № 37), — об эстетизме, о значении поэзии Маяковского и проч.), — причем этим вопросам моими обвинителями сознательно было дано реакционное разрешение, которое затем торжественно приписывалось мне, как факт. Мне приписаны были все семь смертных грехов, достойных того, чтоб меня немедленно четвертовать и колесовать: от обороны Маяковского друзья его и верные палладины перешли к нападению на меня, этот путь казался им более верным в стратегических соображениях и более легким: бумага все терпит! Я — и «эстет», сохранившийся экземпляр «отмирающей породы эстетских критиков», провозглашающий «культ Венеры Милосской» — где бы вы думали? — на страницах «Красной нови», первого советского журнала, я и «бесцеремонно оплевываю тех, кто хочет искусство привести на службу рабочему классу», я ругаюсь «бранным словом» — «газетчик». Чужие слова, приведенные мною из журнала марксистской критики «На литературном посту» (из статьи: «Маяковский-газетчик») приписываются мне, ловким вольтом скрывается от читателей их действительный источник (как называется такой прием во всякой честной игре?), и набранные жирным шрифтом, как неотразимый факт, торжественно преподносятся читателю с посрамляющим комментарием: «Все это напечатано в «Красной нови» на такой-то странице» («Комс. пр.» № 213). А «Молодая гвардия» язвительным курсивом сообщает своему доверчивому читателю о том «остервенении», с которым я «издеваюсь» над «волшебным словцом — направление», забыв при этом сказать, что это выражение — не мое, а Белинского, и что Белинский вовсе не «издевается с остервенением», а напротив, — и что я его известные слова квалифицирую в своей статье, как «прекрасные»... И так во всем... Ни слова

не говорится о том вопросе, которому посвящена вся моя статья, но зато на основании моей статьи о «путешественниках»,— которую каждый читатель может развернуть в любую минуту и прочитать ее, — говорится, что я — «реакционный мещанин», что «причина травли» Маяковского — «революционное направление» его поэзии, что я — «охаиваю» эту поэзию, и отсюда — призыв к тому четвертованию и колесованию, о котором я выше говорил: «должен быть положен предел» литературной работе критика («Комс. пр.» № 212) и — слово в слово в «Молодой гвардии» — «пора положить конец расхлябанности «Красной нови», и — видите ли — все потому, что я требую на страницах этого журнала, чтобы советский писатель честно выполнял свои социальные функции писателя, а не хулиганил и не «плевался» в стихах:

А на что мне это все?..
Как собаке — здрасте...

Я добросовестно и кропотливо перечислил все грехи, в которых меня обвиняют, чтобы читатель ясно увидел, в чем главный и, несомненно, самый уличающий меня в глазах противников основной грех: мне, извините, не нравится поэзия Маяковского. Но, видите ли, не нравится же она не только мне одному: не нравилась и Ленину, как всем известно; не нравится вот революционной газете «Известия», которая в октябрьском обзоре пишет о нынешнем Маяковском, как о «заурядном кропателе газетных стишков, которые с трудом дочитываются до конца» («Изв.» от 7 ноября 1928 г.). Не нравится, наконец, она всей той комсомольской аудитории, которую собирают для «командировки за границу» Маяковского, и которая, если верить «Нов. лефу» (а не верить в данном случае нет никаких оснований), кричала: «Долой Маяковского-поэта, да здравствует Маяковский-журналист» и давала ему наказ: «напишите нам много, но только напишите п р о з о й» («Нов. леф» 1928 г., № 9) — убийственный для п о э т а наказ. Но что ж из всего этого? И здесь «охаивание революционной поэзии» (по терминологии Кострова)? И здесь «бесцеремонное оплевывание» искусства, желающего служить «рабочему классу»? И здесь «реакционное мещанство и «травля» поэта» (по терминологии «Молодой гвардии»)?..

Вот к чему сведен весь спор о социальной значимости путешествий за границу, вот как подменен поставленный мною общественный вопрос кучей других, не имеющих прямого отношения к делу и намеренно извращенных, но зато оправдывающих свое задание: затемнить существо спора и возвеличить личность Маяковского. Вести какую-либо дискуссию в этой плоскости — личных перебранок и личных интересов отдельных литераторов — я с охочими до этого дела людьми не буду, — и прежде всего в интересах читателя, которому нет никакого дела до этой бури в стакане воды, — и о котором прежде всего должны думать мы, писатели.

Читатель — вот наиболее здоровый элемент в наших литературных делах, а о нем мы часто забываем. Не литераторы, принявшие участие во всей этой «снижающей» кампании, а аудитория не искушенная, здравым чутьем своим почуявшая единственно-важное, подняла снова поставленный мною вопрос на его общественную высоту. Как передает «Чит. и пис.», «почти все выступавшие на собрании комсомольцы п р и з н а в а л и с ь», что они моей статьи не читали (тем легче было докладчикам «критиковать» ее!), но, тем не менее, Маяковскому они высказали целый ряд «метких, критических замечаний», которые газета, отнюдь ко мне не расположенная, формулирует так: «Маяковский недоволен сплошь Европой и Америкой. А между тем нам многому надо поучиться

там и многое оттуда заимствовать. Там больше культуры и выше техника. Маяковский выбрасывал, таким образом, все буржуазное наследство, использовать которое нам завещал Ленин» («Чит. и пис.» № 37), — т. е. было сказано все то как раз, о чем — только о чем! — говорит моя опороченная статья. Кто же это говорит, по мнению «Молодой гвардии» — «реакционный мещанин», «охаиватель революционной поэзии», эстет «культа Венеры Милосской»?

Нет, говорит читатель-комсомолец, читатель-друг, неведомый моей статьи, моих идей, моей точки зрения, моих аргументов, и вот в этом я чувствую истинную силу и поддержку себе, как журналисту. Затушевать единственный смысл статьи, несмотря на все прилагаемые к тому усилия, не удалось, и вот эта именно перекличка с читателем через головы зоилов и хулителей, созвучность моя с революционной молодой аудиторией, которая так же решительно подошла к поднятому мною вопросу, как и я, лучшее моральное удовлетворение для меня, как автора статьи, оставшейся им неизвестной и так оклеветанной в их глазах. Нам с ними по пути — и это самое важное. Как может звучать после всего этого очевидное стремление прекратить литературную работу, «положить предел» голосу критика, который честно ставит социальный вопрос о необходимости серьезно отнестись к тому использованию буржуазного европейского наследства, о котором говорил Ленин?

Я не решился бы занять внимание читателя всеми этими мелкими, в сущности, литературными, дрязгами: есть дела у всех нас — и у писателя и у читателя — поважнее. Кому нужны все эти споры не о «больших вопросах», стоящих перед страной в дни культурной революции, не о «самом главном», а о мелочи, об отдельной личности, о частном литературном факте? — все это бряцание оружием и воинственный пыл в то время, как этот самый факт, знай, заливается колокольчиком в долгосрочном вояже по заграничным «Монрепо» и в ус себе не дует, в то время как его верные Санчо-Панчо, на ненадежных осликах своего остроумия, все еще пылко потрясают картонными мечами и оглашают воздух боевыми кликами — из Пушкина:

«Lumen coelum, sancta Rosa!»
Восклицает дик и рьян...

Я не решался бы занять внимание читателя, если бы не видел в самом факте снижения общественно-литературных вопросов и в самой атмосфере борьбы симптома общественного значения. Нам надо оздоровить наши литературные нравы. Писатель должен быть достойным читателя эпохи революции!

О современной польской литературе.

Генрик Каменский.

За все то время, когда Польша не была еще независимым государством, польская литература обладала одним стержнем, вокруг которого группировались поэтические настроения почти всех ее крупных писателей: это был идеал национальной независимости. Мицкевич и Словацкий, Жеромский и Выспянский, все действительно большие писатели Польши зажигали свое вдохновение этой темой. Национальный идеал придавал жар их чувствам и окрылял их фантазию. Это придавало польской литературе некоторую однотонность, утомительную в особенности для непольского наблюдателя, но остается фактом, что Польша породила сравнительно не много крупных произведений, которые бы тем или иным образом не были связаны с вечной темой о независимости.

Творчество эпохи империалистической войны не очень обогатило польскую поэзию. Кроме романа Жеромского «Харитас», жуткой картины военных жестокостей, едва ли можно назвать другую книгу, о которой стоило бы помнить. Писать за войну было как-то трудно. То есть не то, чтобы совсем не писали: война породила много хороших лирических стихотворений, и, в особенности, лагерь Пилсудского может похвастать совсем недурным поэтическим урожаем. Лирика в честь самого Пилсудского составила немалый том, среди которого далеко не все является халтурой. Но лирикой дело и кончилось. Создать большое произведение в честь этой войны было невозможно: слишком уж обнаженно империалистической была всемирная бойня. А в частности польскому националистическому писателю было слишком трудно вдохновляться войной, в которой по обеим сторонам фронта те же польские солдаты в русских, австрийских и германских мундирах избивали друг друга.

Но, может быть, борьба против войны, что-то вроде барбюсовского «Огня»? Для этого слишком сильны были националистические мечтания польских писателей. Во всей польской военной литературе — некоторое исключение составляет лишь «Харитас» — нет ни одной книги, в которой бы раздавался сильный протест против войны. Человеколюбивый Струг, революционный декламатор Даниловский, радикальный Каден-Бандровский, — все они потерялись в этой стихии, были увлечены националистическим потоком. Если Пшибышевский садистически наслаждается ужасами войны, то названные писатели окутывают поля брани дымкой романтизма, стараются скрашивать то, что было отвратительно в этой массовой резне.

Когда же — по популярному выражению — «разразилась Польша», польская литература застопорила, как паровоз, из которого выпустили пар. Стало как-то не о чем писать. Жеромскому еще в 1922 г. пришлось констатировать с болью в своей книге о «снобизме и прогрессе», что польские писатели разучились писать о своем отечестве.

«Польша, — писал он, — вышла из моды в поэзии, и все поэты не милостивы к ней. Несколько лет тому назад творческий снобизм заставлял воспевать в рифмах даже занятие Варшавы пруссаками. «Варшава свободна!» — восклицал поэт. В настоящее время даже действительное присоединение Верхней Силезии прошло в польской поэзии без малейшего отголоска... А разве польское искусство хоть в одной из своих областей—

резцом, краской, звуком или хотя бы только подсвистыванием мотива — отметило тот небывалый факт, что Хелмненская земля вернулась к Польше?»

Жеромский был прав. Единственное, что тогда в литературе могло обращать на себя внимание в первые годы независимости, — это было творчество группы молодых поэтов, собравшихся вокруг варшавского журнала «Pro arte» и позднее составивших группу «Скамандера». Здесь был ряд поэтических талантов, как Лехонь, Тувим, Вержинский, Слонимский, Ивашкевич и другие, поэзия которых в особенности в первое время производила впечатление своей свежестью, юношеским размахом, оригинальностью футуристической формы и урбанистского содержания. Однако эта группа поэтов очень мало интересовалась воскрешенной Польшей, со стороны ли ее достоинств или недостатков. Она была в общем аполитична и асоциальна. Правда, в бывшей австрийской Польше, где люди понюхали пороха в австрийской армии, дело обстояло немного иначе: Витлин во Львове, а Ясенский, Галушка и др. в Кракове были даже очень социальны. Но в центре внимания стояла сильная группа варшавской молодежи, а она как раз и не волновалась по поводу вопросов зависимости и независимости, войны и мира. Некоторые из этой группы, как, напр., Слонимский, зарекомендовали себя сначала как большевиствующие, подыскивали рифмы к революции и к имени Ленина, и за это конфисковывались, другие, как Тувим, делали выпады против «торжествующего хама» в России, и за это встречали одобрение; но для тех и других это была лишь минутная литературная тема. Они воспевали чудеса техники, аэропланы, радиоволны и небоскребы, они упивались эмоциями спорта, наслаждались общением с природой, с зеленью и морем, пели гимны во славу ветра в поле и солнца на небе, но воскрешенная отчизна им была довольно безразлична. Они скорее склонялись к мировому гражданству. Каждый из них мечтал рифмами о том, как дьявольски хорошо было бы покинуть Польшу и прокатиться по белу свету, увидеть Нью-Иорк, Калькутту и Каир. Эти мечтания еще разжигались сознанием их невыполнимости; а невыполнимы они были потому, что при мизерном курсе польской валюты ехать куда-нибудь было невозможно. Нет ни одного поэта в этой группе, у которого не нашлись бы такие элегии низковалютной тоски по чужбине. По родине им тосковать было нечего: она этому молодняку приелась с самого начала.

Не воспевал никто и войны против Советской России. Или, вернее, ее воспевали, но не нашлось ни одного, кто бы сумел это сделать с талантом. Не привлекала ведь эта тема настоящих талантов, а если хороший писатель к ней и обращался, он ломал себе на ней руки и ноги. Из контрреволюции много революционного огня не выжмешь...

В начале писалось много антибольшевистских произведений, в особенности для театра. Уж очень нужна была военная пропаганда, и легко такого сорта произведения принимались на сцену. Жеромский наблудил драму «Белее снега»: украинские крестьяне на Волыни проявляли в ней свою жадность на барское добро, польское шляхетское семейство геройски защищало свои денежные сундуки, а большевистский «офицер» (!) во главе красноармейцев проявлял в полном свете свое варварство и приказывал топить печь «буржуазными» книгами. Серошевский написал удивительно бездарную драму «Большевики», в которой достаточно ярко разрисовал евреев-комиссаров, безжалостно хозяйничающих на польской земле. Театр в Варшаве дал этому произведению достойные сценические рамки, приделывая самому главному комиссару большой горбатый нос. Грубинский в драме «Ленин» противопоставил русскому зверю-дегенерату Ленину более приличного коммуниста, конечно, француза и заставил играть эту роль — Жака Садуля. И т. д. и т. д. Ни одно из этих писаний не было произведением искусства, и Жеромский, вероятно, позже и сам не очень гордился своим геройским сценическим выступлением против большевиков.

Эти исступленные словоизвержения против большевизма, конечно, не могли заместить той патриотической литературы, которая нужна была Жеромскому. Он сам в поте чела своего трудился над созданием такой литературы. Но она у него не вытанцовывалась. Его «Ветер от моря» и другие патриотические писания представляют собой более или менее художественную публицистику — с искусством они имеют мало общего. Их хвалили благонамеренные рецензенты, но они ничуть не разогревали публики.

В этом сокрушающем Жеромского бесплодии польской патриотической музы ничего удивительного не было. Очень уж мало походила новоявленная Польша на тот идеал, который рисовался когда-то национальным мечтателям. Это было совсем обыкновенное версальское государство со всей его послевоенной капиталистической грязью. Для воодушевления оно давало слишком мало оснований. Скорее уже для сатиры. И, действительно, по части сатиры кое-что было сделано. Левые осмеивали польскую реакцию, правые издевались над потугами социалистов и радикалов на создание демократической республики. Если Лехонь поднял много пыли своей архипилсудской сатирой «Республика бабинская», то певец польских помещиков Вейссенгоф осмеивал правительство социалиста Морачевского в своей повести «Цудно и цудненская земля», а эндек Новачинский в своих антипилсудских фельетонах брызгал искрами черносотенного остроумия.

Но эта сатирическая потасовка разных партий была, конечно, лишь первой обработкой сырого материала действительности. Требовались годы для более углубленного взгляда на польскую действительность. Требовалось хотя бы частично излечение от того патриотического угара, который туманил умы во время польско-советской войны и мешал хоть сколько-нибудь объективной оценке того, что происходило. Рижский мир и всенародное голосование в Верхней Силезии были важным этапом не только для политики, но и для литературы. Они возвратили, наконец, литературе некоторую свободу от того долга к патриотическому воодушевлению, который стеснял ее во время войны.

Первым, пожалуй, крупным проявлением этой отвоеванной свободы явился роман Юлия Каден-Бандровского: «Генерал Барч» (1923). Конечно, не в том смысле, чтобы Каден сколько-нибудь освободился из тисков пилсудчиковской идеологии: нет, он стоит обеими ногами на ее почве. Его герой, Барч, представляющий собой весьма оригинальную не то карикатуру, не то вариацию самого Пилсудского, на целую голову выше тех кандидатов на власть и на карьеру, которые его окружают. Вполне по способу Пилсудского, Барч старается использовать все наклонности своих соратников, дурные и хорошие, для отечественного дела. Он сталкивает их друг с другом для того, чтобы быть их арбитром и властвовать над ними всеми. У него как-то все выходит в пользу его политическому делу. Даже амурная связь с весьма мало добродетельной Дрвенской приносит ему политическую пользу, ибо именно в объятиях Дрвенской ему удается избежать нападения национал-демократических дружинников, пытавшихся в январе 1919 г. устроить ночью государственный переворот.

И одновременно, по какой-то грустной иронии судьбы, его личная польза не совпадает с политическими интересами. Он принужден для того, чтобы создать единство нации, жертвовать целым рядом традиций своей же «легионерской» партии, разрешает отдать под суд будто бы за злоупотребления одного из своих честнейших офицеров, и, наконец, сам теряет все, что давало ему личное счастье. Его жена кончает самоубийством, его любовница уходит от него потому, что он не желает иметь детей, по той же причине его покидает и его старая мать.

А наряду с этой трагедией разыгрывается и фарс. Ибо Каден-Бандровский, правда, как человек, вполне во власти Пилсудского. Но, как литератору, ему все-таки удалось сбоку посмотреть на пилсудчину. Под его игривым пером часто стираются грани между обожанием и насмешкой. Барч не есть портрет Пилсудского, а только некоторое его подобие, и это позволяет Каден-Бандровскому подхватывать также мелкие и смешные черты этого героя. А, главное, он сумел отразить бессилье этого идеолога, все политические успехи которого все-таки, в конце концов, расплываются во что-то бесконечно малое. Ибо Барча со всех сторон окружают спекулянты, карьеристы, круглые идиоты. Ему приходится ежедневно с самого утра начинать вновь борьбу против человеческой подлости и пошлости, для того чтобы как-нибудь связать воедино клубок человеческих страстей. Когда не станет Барча, неизвестно, что будет с национальным делом, около которого все кругом делает карьеру и наживается.

Собственно говоря, кроме Барча, и, пожалуй, еще выше его есть только один человек, отказывающийся от всех личных интересов. Это майор Пыць, смешной,

невзрачный человечек. Он тайно дирижирует всем, использовывая даже Барча для высших целей. Сам не требуя для себя никаких чинов, ни отличий, он остается скромным майором в то время, как другие блестят генеральскими эполетами. Он использовывает для блага отечества даже семейные отношения Барча, бросая жену последнего в виде приманки международному шпиону, для того чтобы разоблачить его. И вот этот действительный дирижер всего национального концерта на последних страницах романа бросает слова, представляющие собой разгадку задач, выдвинутых независимой Польшей, как их понимает автор.

«Барч с горечью спрашивает Пыця:

— Зачем? Ну, зачем?

— Как зачем? — дыхнул Пыць на ломкую красноту кустарника.

— Ведь если вы примете во внимание эту скучную, ужасную необходимость жертвовать отдельною жизнью?.. Личною жизнью?.. Или, в данном случае, моею жизнью?..

— Я уже ищу, как Петржак добрался до этих мобилизационных планов, а вы, генерал, все еще соизволите думать о тех делах... Как же это «зачем»?..

— Ну, да, — заорал Барч на весь лес. — Зачем? Вы понимаете? Зачем столько мучений, столько жизни—моей, чужой — для чего? — Узел жил выступил у него теперь на виске. Затаенный внутренний огонь пылал теперь из сердца, или из всей жизни на лицо и застилал глаза кровавым туманом.

— Зачем?.. Моя жизнь, господин генерал, или чужая, или наша?.. — Пыць весь съежился и нежно сосредоточился на самом себе. — Мое, чужое, моей матери, или наше?.. Затем, чтобы через десять лет или двадцать с каждым моментом — все легче и легче... Во всех отношениях... Ну, там, например, чтобы ранец был практичнее. Или чтобы легче обезболивали... Или что там надо по вопросу о пополнении таблицы химических элементов... Или — чтобы, если нам возвращаться по узкоколейке, так без пересадки уже, прямо... Облегчение — облегчение... Чтобы тому неизвестному нам и безразличному человеку, который будет по какой-нибудь причине лет через тридцать или сорок итти, например, через площадь Спасителя — чтобы ему не пришлось бежать, запыхаться... Или чтобы он сразу, самым скорым образом мог найти удобное сообщение... Вечное облегчение...».

Как жалко выглядит открытый ларчик национальных порывов!

После гордых империалистических снов какое мизерное пробуждение! Уже не величие Польши, не освобождение народов, не создание национального могущества, а маленькие, скромные облегчения жизни. Очень сильным оказалось, очевидно, разочарование Каден-Бандровского в освобожденной отчизне. Ничего не поделаешь с присосавшимися к ней паразитами, и напрасно с таким багажом выходить на завоевание мира. Характерно, что Каден-Бандровский после этой горькой книги уже не пытается дать более оптимистическую картину польской действительности. Он бежит в прошлое и заполняет две большие книги воспоминаниями своего детства, он посвящает книгу своим детям, он пишет сборник путевых заметок из путешествия по Франции и Германии, но настоящее Польши как-то отпугивает его.

Другим откликом на современность, впрочем, сравнительно слабо политически осознанным, была книга Софии Рыгер-Налковской «Роман Терезы Геннерт» (1924). Роман вышел из-под пера писательницы салонно-психологической и касающейся социальных отношений лишь изредка, с точки зрения литературной темы. Но в нем сквозит очень характерно подмеченное разочарование в независимой Польше. Появляются коммунисты среди интеллигентов, среди офицерства. Налковская, правда, не понимает коммунизма: рабочие ей вообще чужды, а коммунисты-интеллигенты ей представляются салонными мечтателями или агентами большевистской разведки. Коммунист Андрей Латерна вообще не верит в революцию в Польше, рассчитывая лишь на помощь СССР; он ведет среди интеллигенции лишь разлагающую работу и ищет одиночек, пригодных для его целей. Но...

«Незачем было обманывать себя. В разваливающейся, придавленной ужасной послевоенной действительностью идеологии национальной независимости Андрей Ла-

терна не находил для себя ничего. Это было потерянное время. Он рыскал и там и завязывал, как везде, знакомства, собирал данные, исследовал, пытался использовать как-нибудь их разочарование — лейтмотив всех начинаний, терзаний и бессилия, как использовывается даже падаль. Но до чего это все было слабо, до чего претенциозно и жалко!»

Латерна продолжает все-таки агитировать в салонах сообща с каким-то таинственным англичанином Кёрлем и находит себе единомышленника в лице поручика Лина.

«Латерна возвращался с окраин, где именно... Там только видишь, до чего мы дошли, что мы купили такой ценой — ценой потоков крови.

Поручик также уже подумывал об этом. Белоруссы, украинцы — ведь это совершенно то же самое... Теперь руководствуются лишь «государственными соображениями», теперь уже бросили говорить об освобождении народов... И это Польша, которая столько лет сряду влачила цепи рабства (поручик был поэт) — теперь сама... Так за это боролись, так это называется независимость... Здесь запертые в тюрьмах сидят люди — только за то, что они исповедуют высочайшие, благороднейшие идеи... И никто не протестует, и все молчат!»

И Лин «снимает мундир» и «надевает фрак для того, чтобы делать резолюцию».

С другой стороны — картина запустения в кругах тех, кто «построил Польшу». Бывшие боевые пилсудчики омещаниваются.

«Они были, так же, как и все — разве что чуточку хуже одеты, да и то часто из кокетства, из привязанности к бурной, санкюлотской молодости. Они добились значения, позиций, благосостояния. У них были явные квартиры, легальные жены, у них были — вещи».

Впрочем, их «позиции» и «благосостояние» весьма и весьма относительны. Польское государство времен инфляции не слишком щедро могло вознаграждать своих защитников, офицеры Налковской постоянно жалуются на безденежье. Жить ведь надо и жить хорошо для представительства. Приходится держать жен в черном теле и распродавать старые вещи для того, чтобы получать деньги на «представительные» попойки.

Эти условия губят более слабых. Поручик Гондзилл, нуждавшийся в деньгах уже потому, что у него, кроме жены с двумя ребятами, была весьма дорогая любовница, дает себя втянуть в нечистые делишки и попадает в тюрьму.

Другого рода тип этого упадочного периода — это полковник Омский, томящийся в тоске по какой-нибудь войне, ибо вне войны и без все новых военных успехов его карьера кончена. Он влюбляется в Терезу Геннерт и убивает ее — от тоски и отсутствия сильных впечатлений.

Пилсудчики разочарованы. Это были те времена, когда Пилсудскому пришлось уйти от власти, и когда его соратники перестали быть баловнями военных властей.

«В сознании собственного бессилья они все свои надежды возложили на одного человека. В его пользу они отказались от всякой ответственности. На него же они теперь взваливали бремя своих обид и разочарований».

Когда-то в момент искренности Лин сознался Андрею, как по секрету, в том, в чем никто не сомневался: «он схватил за колесо мчавшуюся колесницу революции (Лин был поэт), его долгом было сделать революцию — ненужной (Лин был идеалист).

Обещание заключалось в том, что тогда, когда народ хотел революции, он успокоил его. И этого обещания он — не сдержал».

Однако у Налковской все кончается примирительным аккордом. Латерне приходится бежать из страны, поручик Лин кается в своем коммунизме, делает попытку самоубийства, а потом во всем сознается военным властям. А его невеста Зося дает мораль романа:

«— Чорт побери, да ведь есть Польша, одно это несомненно, что она есть. Не такая, какой вам хотелось? Ну, так она именно такова, какая может быть. Вот что единственно важно, единственно действительно — и даже чудесно! После этой пары лет она уже такова, как будто никогда не была под чужим игом, как всякое другое государство:

разоренная и зацветающая, мужественная и жадная, геройская и спекулянтская. Есть в чем жить, есть в чем действовать».

Однако другие авторы, разрабатывающие ту же тему о послевоенном разочаровании, не пытаются себя обольстить тем весьма проблематичным оптимизмом, к которому прибегает Налковская.

Барыка у Жеромского («Канун весны», 1924) смотрел на Польшу с точки зрения своего бакинского «непрекрасного далека». Его отец, Северин Барыка, рассказывает ему о новом быте в Польше, о чудных стеклянных домах, которые там строятся для рабочих, для крестьян. Но уже первый шаг, сделанный им на польской территории, проявил никчемность патриотической фантастики его отца:

«Цезарий хмуро глядел на грязные переулки, пересеченные непроходимыми лужами, на дома самой разнообразной высоты, формы, окраски и степени запущенности, на хлеба и лужи навозной жижи, на постройки и обгорелые развалины... Он вернулся на площадь, окруженную еврейскими лавченками с забрызганными грязью и никогда не обмываемыми дверьми и окнами.

— Где ж твои стеклянные дома? — размышлял он, продолжая шагать. — Где ж твои стеклянные дома?»

А затем идет панское имение Навлоць с его барской праздностью и почти растительной жизнью и город с его чиновниками и полицейскими и переход Барыки в коммунистическую партию. Все эти детали знаменитого романа слишком известны для того, чтобы их здесь повторять. Веющее от них глубокое разочарование в «освобожденной» родине ничуть, конечно, не было уничтожено более поздними комментариями автора и его клятвами в верности патриотизму.

Следующим разочарованным явился один из самых популярных писателей-социалистов, автор «Подземных людей», Андрей Струг. Его большой роман, «Поколение Марка Свиды» (1925), неимоверно растянутый (что бросается в глаза в особенности при сопоставлении с насыщенным, экспрессионистски укороченным образом изложения Каден-Бандровского), изображает послевоенное поколение в самом неприглядном свете.

«Янка привезла из Варшавы массу тревожных известий. Положение дел угрожающе! Никакой путеводной мысли. Приличные люди тонут среди глупцов и спекулянтов, которые правят всем. Какая грязь! Интриги! Скандалы! Все развращено до основания, даже молодежь. Все лучшее на фронте, но фронт сам по себе, а страна сама по себе. Догадывается ли кто-нибудь в Варшаве, что Польша ведет тяжелую войну с могущественным врагом? Театры, балы, кабаре, оргии. Да что оргии!.. Хуже то, что люди призванные, депутаты, дипломаты, руководители...»

Но и тот фронт, на котором собралось «все лучшее», не застрахован от всеобщей подлости:

«Теперь поздно, — говорит майор Гослицкий во время отступления польской армии в 1920 г. — Теперь пусть он (Пилсудский) произведет даже и чудо. Наши солдаты — второе чудо. А между одним и другим станет поперек могущественная сила сволочи, которая опутала все в армии, как плесень, и душит, отравляет, парализует все лучшее, самое здоровое. Герою приходится стоять «смирно» и повиноваться трусу, так как тот всегда выше чином. Самые доблестные дивизии отступают, так как нашелся один и другой, кто из страха или спецовской глупости дал проход врагу. Целый фронт прорывается из-за одного мерзавца. И никто еще не пустил ему пулю в лоб? О, не опасайтесь».

Герой романа, Марк Свида, пишет книгу о современной Польше и наблюдает все, что в этой новой Польше делается. Но из его наблюдений получается картина, чуть ли еще не более мрачная, чем у Каден-Бандровского. В польской армии хозяйничают бывшие царские полковники и генералы. Полковник Хаповницкий — старый, прожженный вор, но он нужен молодой польской армии. Он хороший специалист. Он много ворует, но зато все остальное уже в самом деле доходит до солдата. Он лучше, чем честные дураки и невежды. Есть среди дельцов один очень честный и дельный человек — крещеный еврей Плехинский. Но пройдохи, наживающиеся при государственных делах, составляют против

него заговор, и ему приходится бежать и скрываться, чтобы не быть арестованным по уголовным обвинениям. Его затравили. Честным людям нет места в государственном организме послевоенной Польши.

Правда, Струг старается дать понять, что где-то, под поверхностью, есть в Польше и хорошие, патриотические элементы. Их даже очень много, и они какое-то дело делают и своим скромным, безвестным трудом подвигают вперед благосостояние и благоустройство страны. Но о них Свида странным образом узнает, только прочитывая газеты. Они сидят где-то по закоулкам. А на широкой общественной сцене выступают только разложившиеся элементы. «Горе тому, кто в такой колоссальный шулерский притон идет с каким-то творческим планом, да еще вдобавок решает быть честным человеком. Трагическая иллюзия Мариана Плехинского!»

Струг спасает, в результате, своего героя от полного отчаяния, толкая его в объятия — счастливой любви. Для одиночки выход хорош, но что будет с несчастной родиной? На нее автор как будто махает рукой, как на безнадежного больного.

Из всех попыток изобразить современную Польшу, складывается, таким образом, крайне безотрадная картина. Это тем характернее, что все названные романы отрадны, это тем характернее, если принять во внимание, что все они без исключения писаны горячими патриотами, сторонниками Пилсудского, кровно заинтересованными в том, чтобы представить свою отчизну в возможно лучшем свете. С тех пор, как Пилсудский возвратился к власти (май 1926 г.), уже исполнилось два с половиной года. Его сторонникам, казалось бы, уже пора дать произведения, в которых отразились бы благодетельные последствия «славного» майского переворота. Но таких произведений нет, и как будто напрасно было бы и ждать их. Ибо никаких благодетельных последствий нет, напротив, мы переживаем сумерки той самой легенды Пилсудского, которая для мелкобуржуазной интеллигенции была еще последним убежищем перед настроениями мрачного отчаяния.

Наряду с Польшей весьма популярной темой для романистов является Советская Россия времен гражданской войны. Она описывается различным образом: или с ненавистью и в самых мрачных тонах, как у Малачевского, Лигоцкого, Коссак-Щуцкой и др., или же с недоумением, как нечто колоссальное и чуждое. Последний жанр дал еще сравнительно более приемлемые в художественном смысле произведения. К ним можно, между прочим, отнести и первую часть «Кануна весны» Жеромского.

Из других романов этого рода, представляющих революцию, как непонятный, жуткий хаос, самой интересной является повесть Фердинанда Геттеля: «Изо дня в день» (1926). Она заинтересовывает, прежде всего, оригинальной формой: роман написан в виде дневника одного из современников, отдельные отрывки которого перемежаются с отрывками из романа, почерпнутого им из собственного прошлого, как военнопленного в Туркестане во время империалистской и гражданской войны. В дневнике описываются отношения с женой, в романе — с Марусей, девушкой, в которую влюбился военнопленный в Туркестане. Под конец дневник чуть не сталкивается с романом, ибо Маруся приезжает в Польшу. Здесь было как раз место для весьма интересного конфликта между гнилыми условностями краковской жизни и действительным чувством жизни туркестанской. Но автор счастливо избегает столкновения, заставляя Марусю умереть перед самым порогом Польши. Приехавший ее маленький сынок становится звеном, опять соединяющим автора дневника с его разгневанной женой. После описанной завязки романа позволительно было, правда, ожидать менее пошлого конца. Но эта банальность у автора не случайна: она связана с его неспособностью занять вообще позицию по отношению к серьезным проблемам. Характерно совершенно одинаковое отношение автора: в романе — к Октябрьской революции, а в дневнике — к разыгравшемуся на его глазах краковскому восстанию 1923 года. В обоих случаях он горько недоумевает, не решается стать на чью-нибудь одну сторону и не хочет быть ни с красными, ни с белыми. Любопытный, как литературное явление, роман идейно мертв.

Другие же произведения родственного ему содержания уже совсем незначительны, хотя часто и увлекательны. Таков роман Юрия Бандровского «Кровавая туча» (1920),

где изображаются приключения китайского кули в России во время революции и контрреволюции, роман Хойновского «Молодость, любовь, авантюра» (1926) и т. д.

Весьма немногочисленны пока в польской литературе последнего десятилетия произведения, изображающие трудовой народ, как он есть. Польша уже обладает пролетарскими поэтами, но у нее совершенно нет сколько-нибудь равноценных им польских беллетристов.

Можно, конечно, сослаться на роман Б. Ясенского «Я жгу Париж», обладающий большими художественными достоинствами (он издан по-русски в одном из выпусков «Романа-газеты»). Написанный сочным, красочным языком, он дает много захватывающих картин из воображаемой гражданской войны в Париже и отчасти из современных китайских событий. Но идеологически роман не совсем удачен. Что в опустошенном чумой Париже пятнадцать тысяч освобожденных заключенных может создать какой-то чудесный фаланстер — это можно себе представить; но чтобы эта отрезанная от мира маленькая республика в один прекрасный день заразила своим примером по радио всю Францию и послужила искрой, из которой разгорается социальный переворот,— это уже пахнет возвратом к весьма старым социальным утопиям. Не удивительно, что этот идеологический срыв ведет и к художественному срыву романа — сильно захватывающий на всем своем протяжении, он становится в последней главе отвлеченным, схематичным и даже художественно весьма неубедительным. Начиненная революционным динамитом литературная бомба вдруг отказывается взорваться — она оказывается пустышкой.

С жизненными проблемами современного польского пролетариата этот авантюрно-революционный роман не имеет никаких точек соприкосновения.

Немногим более связаны с этой жизнью произведения подлинных пролетарских писателей — рабочих Люциана Рудницкого и Станислава Гурняка. Изданный Рудницким во время войны роман «Возрождение» не лишен литературной ценности: у автора есть свой оригинальный, картинный язык, он блещет юмором и становится художником там, где он черпает материал из собственных наблюдений. Но тема романа — биография рабочего, входящего в рабочее движение в первые годы настоящего столетия, делает его немного чуждым современным проблемам рабочей жизни в Польше. Идеологическая же углубленность романа весьма незначительна: рисуя эволюцию своего героя от патриотизма к социал-патриотизму и затем к социал-демократии, он весьма мало затрагивает интеллектуальную струну: Мансвет переходит из лагеря в лагерь как-то эмоционально, без умственной переработки идейных разногласий. На практике так часто бывало, и это верно подхвачено, поскольку дело идет о рабочих-массовиках, находивших верный путь классовым инстинктом. Однако пролетарскому писателю полагается осмысливать идеологически события, независимо от умственного уровня избираемых им героев; тем более, если герой совсем не простой массовик, а, как Мансвет, именно передовой рабочий, претендующий на роль вождя.

Идеологическая непродуманность отрицательно сказалась и на томе рассказов «Демократическая республика» (1919), изданном Рудницким уже в независимой Польше. Они уже слабее романа: в них чувствуется некоторое иссякание запасов того наглядного опыта, который в «Возрождении» дал еще ряд увлекательных картин и сцен.

Немного другой характер носит уже роман Гурняка «Боевой стезей» (1923). В нем мы находим довольно подробное изложение тех разногласий, которые вызвали в свое время (начало 1907 г.) раскол в ППС, и описание дискуссий с правой частью ППС, социал-патриотами, в нем занимает довольно много места. Здесь духовное развитие героя, Вита Турского, сначала национал-демократа, затем социал-патриота и, наконец, члена Левицы ППС, обосновано по всем статьям. Но самые-то эти разногласия в настоящее время порядочно устарели, ибо и здесь дело идет о биографическом романе, и действие заканчивается в 1907 г. Это освобождает автора (бывшего «левицовца») от необходимости осветить эволюцию его героя к коммунизму и разъяснить, почему он сразу тогда не пошел в социал-демократию и каковы были идейные мотивы, удержавшие его в рядах меньшевистской «левицы». В художественном отношении Гурняк слабее Рудницкого, его изло-

жение бледнее, действующие фигуры менее индивидуализированы и жизненны, рабочая масса у него чувствуется слабее. Исторически-политические отступления носят характер агитки.

Как бы то ни было, современный польский рабочий класс не нашел еще своего бытописателя. Немногим лучше обстоит дело и с крестьянством. Пожалуй, единственной ценной книгой, отражающей крестьянскую душу, является собрание рассказов Марии Домбровской «Люди оттуда». Автор не имеет ничего общего с пролетарской идеологией: единственным актом, в котором проявилось умонастроение Домбровской в политических вопросах, было, поскольку мне известно, воззвание группы польских писателей против ужасов польских тюрем, под которым Домбровская подписалась вместе со Стругом, Каден-Бандровским, Иржиковским и некоторыми другими представителями мелкобуржуазного радикализма. В самих ее рассказах, представляющих собой как бы ряд отрывков из одного романа (в них повторяются часто те же лица), нет и тени какой-нибудь классовой идеологии. Помещичья семья, владеющая усадьбой, обрисована даже в теплых тонах, и так же симпатично охарактеризован старый священник. Но эти лица стоят в рассказах на заднем плане, а широко обрисован в очерках только «народ»: с удивительной теплотой и спокойной художественностью, с интимным пониманием, с верным отражением той полной чуждости, какая господствует между деревенской беднотой и даже лучшими помещиками.

Написанные с талантом, рассказы Домбровской все-таки никак не могут претендовать на отражение души крестьянина. Польская беднота, арендаторы, батраки далеко ушли об безобидных «Людей оттуда». Революционного же крестьянина, исполненного классового озлобления, Домбровская себе как будто даже и не представляет. Даже Реймонт в своих «Хлопах» дал в этом смысле больше, не говоря уже совершенно о таком выдающемся бытописателе деревенской бедноты, как Оркан. Владислав Оркан, давший в прошлом много произведений, близко граничащих с пролетарской литературой, написал за последнее время лишь одно произведение «Костка-Наперский» (1926). Он посвящен известному историческому восстанию крестьян горной татрской области в XVII веке. Написан он, правда, художественно и с довольно верным пониманием классового характера событий; в летописях революционной литературы это произведение сохранится. Но к жизни и борьбе современного польского крестьянства оно, как никак, никакого отношения не имеет. О городском пролетариате, как мы видели, уже и говорить нечего. Его жизнь и классовая борьба в независимой Польше беллетристикой совершенно обойдены. Очевидно, есть какие-то препятствия для возникновения революционной литературы в Польше. Может быть, еще не совсем прошло очарование только что завоеванной национальной независимости, еще кое-кто слишком дорожит ею для того, чтобы дать свободу обличающему перу. Во всяком случае польская проза ни в какой степени не отражает той революционной переоценки ценностей, которая идет не только в массах, но отчасти даже в интеллигентской среде.

Некоторое отражение ее мы находим зато в поэзии, и притом именно у тех поэтов, которые стоят на более или менее ясно выраженной коммунистической точке зрения. Есть, правда, группа лириков, близких ППС, как Слободник, Добровольский и др. Среди них есть люди способные, но нет крупных талантов. Совсем другое дело поэты «красные».

Самым интересным из них следует признать Станислава Ричарда Станде. Правда, в нем мало стихийного порыва, и он далек от массы. Он избирает себе почему-то формы и язык, мало доступные для массового читателя. Он не признает никаких знаков препинания, кроме точки и тире, и его стихи слишком замысловаты и не всегда удобопонимаемы. Но у него есть талант, выразительность, оригинальность выражения и мысли, и, главное, в нем всегда чувствуется мыслящий революционер. Он не пишет традиционных боевых стихотворений, не прославляет свиста фабрично-заводских гудков и грохота машин. Но из всех его стихотворений всегда выпирает мысль о стоящем позади всего, что случается в обществе, — трудовом человеке. Когда он изображает автомобиль, остановившийся на улице вследствие повреждения, у него особенно

наглядно выходит контраст между богатым буржуа и простым рабочим монтером, который и одет плохо, и получил грошевую плату за починку, а без которого все-таки бессилен богач. Когда он описывает великолепные магазины, у него появляется образ человеческого труда, зачарованного во все эти дорогие предметы, и он говорит о том, как покупателям придется в свое время держать экзамен перед строгим производителем, кровь и тело которого они раскупают по частям за свои деньги.

Более прост и даже классичен по форме — Владислав Броневский. Этот молодой, пышущий силой талант отличается большим поэтическим размахом, жаром, насыщенностью красок. Его стихи музыкальнее и живописнее стихов Станде, хотя они и более бедны содержанием, мотивы в них немного повторяются, идеологическая подкладка неясна, часто путана.

Необыкновенным блеском формы, сочностью языка, разнообразием мотивов, с[illegible] силой выражения отличаются стихотворения Брунона Ясенского. Его поэма о крестьянском бунтаре Шеле с начала до конца насыщена вдохновением, в ней [illegible] пустых мест. Ясенский обещает очень много.

Мало плодовит Витольд Вандурский. Менее значительный, как стихотворец и сценический писатель, он заслуживает большого внимания, как режиссер и сценический новатор. Как созидатель рабочей сцены в Лодзи, он вел борьбу на два фронта — за поднятие своей сцены на художественно-высокий уровень и за ее существование против полицейского гнета. На первом из этих фронтов он оказался победителем, но на втором — его все-таки доканали.

В выходящем в Варшаве журнале «Дзвигня», группирующем всех пролетарских писателей, обращает на себя внимание критик Андрей Ставар. Этот молодой писатель из рабочих, вдумчивый аналитик литературы и беспощадный боец еще не успел достаточно расширить свой горизонт, но он представляет собой незаурядную величину.

В общем последнее десятилетие польской литературы дает много достойного внимания. Но чего-нибудь выдающегося, создающего эпоху, в нем найти нельзя. Здесь далеко нет того блеска, каким обладала литература периода буржуазного радикализма, «Молодая Польша»; нет таких громадных талантов, как Выспянский, Жеромский, Пшибышевский, Каспрович. Старая литература разлагается, новая как будто еще не возникла. Мы стоим на пороге нового подъема. Польская пролетарская масса еще не сказала своего слова. Польское революционное движение еще не нашло своих эпиков. Но оно породит их: в этом так же нельзя сомневаться, как невозможно сомневаться в победе пролетарской революции.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Лев Толстой. Неизданные художественные произведения. Со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника. Издательство «Федерация». Москва 1928 г. Стр. 343. Тираж 14 000 экз. Ц. 1 р. 50 к., в переплете 1 р. 80 к.

Л. Н. Толстой знал, почему он не издает свои «неизданные» вещи.

Литературно это — недоброкачественный полуфабрикат, не пошедший в работу.

Сейчас все эти произведения мертвы, как покойный Боборыкин, и читатель не станет их перелистывать.

Зато они интересны для исследователя творчества Толстого и, особенно, его общественных взглядов.

Наибольший интерес в этой книге представляют две комедии — «Зараженное семейство» и «Нигилист» — и «Парижский дневник», относящийся к 1857 году.

Комедии интересны не художественной своей стороной (еще Островскому они не нравились), а как социальные самовысказывания Толстого 70-х годов.

«Зараженное семейство» — вещь полемическая. Написана она в 1863/64 году.

В 1862 году в «Современнике» были напечатаны «Отцы и дети». Разгорается знаменитый спор о нигилистах. В 1863 году в «Современнике» печатается «Что делать?» Чернышевского; в том же году в «Библиотеке для чтения» — роман Писемского «Взбаламученное море».

Писемский памфлетно искажал и жестоко высмеивал «новых людей» и пропагандируемые ими идеи «разумного труда», «раскрепощения личности», «эмансипации женщины».

Толстой в «Зараженном семействе» продолжал традиции Писемского.

«Новых людей» он выводит ходульными, сниженно-пародийными персонажами своей комедии. По существу это — реакционная агитка, идеологический костяк которой грубо выпирает наружу.

Особенно резко шаржированным дан образ эмансипирующейся женщины. Раздражение Толстого против «эмансипации» было не его личным делом, а социальным, классовым явлением.

В письме к Страхову от 19 марта 1870 г. Лев Николаевич пишет следующие любопытные строки о предназначении женщины:

«Никакой надобности нет придумывать исход для отрожавшихся и не нашедших мужа женщин: на женщин без контор, кафедр и телеграфов всегда есть и было требование, [всегда] превышающее предложение. Повивальные бабки, няньки, экономки, распутные женщины...

Вы может быть удивитесь, что в число этих почетных званий я включаю и несчастных б....й. Это я обязан сделать потому, что мои доводы строятся не на том, что было бы желательно, а на том, что есть и всегда было. Эти несчастные всегда были и есть, и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать, что бог ошибся, устроив это так, и еще больше ошибся Христос, объявив прощение одной из них. Я только смотрю на то, что есть, и стараюсь понять, для чего оно есть... Мне кажется, что этот класс женщин *необходим* (курсив Л. Толстого) для семьи, при теперешних усложненных формах жизни» (Толстовский музей, т. II, Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, С.-Петербург 1914 г., стр. 9—11).

Эта цитата, вырванная из контекста истории, может показаться индивидуальным оригинальничаньем Льва Николаевича.

Но в юмористических журналах 70-х годов печатались карикатурные схемы обязанностей женщины, и в одну графу этой схемы включалась проститутка, да и остальные графы более или менее верно повторяли Толстого.

Таким образом отстаивание института проституции было для той эпохи явлением типовым, социальным и отвечало взглядам консервативной дворянской группы.

В «Нигилисте», комедии с такой агитационной установкой, отрицательному персонажу «студенту с идеями» противопоставляются положительные — верная супружеская пара и странница, верящая в чудеса мира, точившегося из щечки богородицы.

Из остальных вещей в рецензируемой книге некоторый интерес представляют только отрывки из «Парижского дневника».

В нем Толстой подробно записывает, когда, с кем и где он обедал или ужинал, в каком театре был, и что там ставили, и, почти обязательно, отмечает как спал и время вставания. «Дурно спал», «Спал отлично», «Спал отлично», «Спал хорошо» «Встал поздно», «Встал в 12», «Встал раненько», «Больной, встал в 7 часов» — так начинается каждая запись дневника.

Совершенно почти не уделяется внимания (в противовес другим дневникам) душевной рефлексии.

Зато в каждой записи отмечаются отношения к Тургеневу:

«Тургенев мнителен и слаб до грустного» (стр. 289), «Тургенев дитя» (стр. 289), «Тургенев гибнет» (стр. 290), «... он просто тщеславен и мелок», «... он тяжел и скучен» (стр. 292), «Он добр и слаб ужасно» (стр. 293), «Тщеславие Тургенева, как привычка умного человека, мило. За обедом сказал ему, чего он не думал, что я считаю его выше себя». «Тургенев мил, но просто устал и невер[ующий]» (стр. 294), «Тургенев мною ложно был понимаем, он такой, но не п[одлец]» (стр. 294), «Он дурной человек, по холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредящий» (стр. 295), «Зашел к Тургеневу. Нет, я бегаю от него. Довольно я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойтись с ним, невозможно», «В 5 зашел Тургенев, как будто винов тый, что делать, — я уважаю, ценю, даж пожалуй, люблю его, но симпатий к не нет, и это взаимно» (стр. 296), «Проснул в 8, заехал к Тургеневу. Оба раза, пр щаясь с ним, я, уходя от него, плака о чем-то. Я его очень люблю. Он сдел и делает из меня другого человек (стр. 301—302).

Напряженный интерес к личности Ту генева, странная какая-то раздражител ность, при этом проявляемая, противоречи вость отзывов о нем объясняются тем что в Тургеневе Толстой видел еди ственного соперника на полях литератур и это заставляло его так внимательно настороженно присматриваться к автор «Отцов и детей». Эта неровность отношени и скрытая литературно-публицистическа вражда, как известно, впоследствии, в ма 1861 года, привели к полному разрыв и вызову на дуэль, впрочем, не состояв шуюся.

Эти неизданные произведения войду в юбилейное полное собрание сочинени Толстого.

Т. Гриц.

Глеб Алексеев. Свет трех око Изд. «Недра». Стр. 143. Ц. 1 р. 40 к Тираж 3 000 экз.

Большинство рассказов сборника на писано крепким языком, сжато, сравнени метки, образы четки и красочны. Писа телю нужно не много слов, чтобы получи лась незабываемая картина: — «Под сель советом, упав оскаленным ртом в пыль свернулась калачиком баба, старуха — ветер озорно трепал юбки, по синим за дубленным ногам ее черной дробью впи лись мухи, подстреленная баба подмял поросенка, и кровь сливалась в одну лужу из двух ртов, закусивших землю («Степь»).

О людях, главным образом о крестьянах или бывших крестьянах (классовая неприязнь?), Гл. Алексеев пишет мрачными сгустками. Его в природе мужика прежде всего интересует, запрятанный под спудом веков, дикарь, звериное, примитивное. Отметая все осталное в сторону, он извлекает это первобытное по тенденциозной схеме, нарочито суженно, во имя

каких-то «философских» целей, тем самым обрекая свои произведения на эпизодичность и случайность. Его интересует «звероподобный» мужик не когда он находится на сходке, за работой, в беседе с земляками, не мужичьи «думы заветные» о происходящем вокруг. Нет! Писателя больше привлекает прильнуть взором к окошку, — «глянул и оторваться не могу», в поздний час вечера, ночи, когда этот мужик tête-à-tête со своей «бабой», и притом в определенной, его, писателя, интересующий момент.

Вот первый рассказ сборника. Землемер по специальности, слюнявый интеллигентишка — по складу мыслей, под настроением прекрасного деревенского вечера и только что полученного сантиментального письма от молодой жены, мечтает купить обыкновенную крестьянскую избу здесь, в селе Сытая Буда, где «нет ни адвокатов, ни зубных врачей, ни землемеров». Привезет он свою Валю и «создаст себе жизнь-счастье». Он убежден, что «одна эта жизнь на черной груди земли и есть настоящая правда». «Под волнующей тяжестью этих мыслей, осуществление которых казалось ему возможным и простым,— землемер решил крадучись пойти по деревне, заглянуть в окно, прикоснуться к этой желанной, радостной жизни». И к трем окошкам деревенских изб подходит по очереди землемер и видит одно и то же: или звериный физиологизм, или звериную жестокость, вроде следующей: «Евстигней, подмяв под себя жену, сел верхом на ее плечи, неспеша засучил рукава, поглядел поверх крыши, вздохнул с сокрушением, — и уже тогда нанес первый удар в лицо, норовя своротить скулу».

Землемер теперь понял ошибку своих убеждений (ну, и тверды же убеждения!), он понял, что «землемеры, адвокаты и бухгалтеры стояли на страже того, что создано, что выстроенная за 5 000 лет истории вавилонская башня культуры ему дороже черного фундамента».

Ужжжасно убедительно...

И способ проверки своих убеждений, выбранный землемером, и сами факты, опровергающие эти убеждения — анекдотичны. Смеяться только можно над этой отжившей слякотью, а тут повествуется с серьезным лицом, с дрожью в голосе...

По всей вероятности, чтобы подчеркнуть звериное начало в природе мужика, автору понадобилось «нарисовать» в густо-эротических тонах о животной страсти мужика-отца к своей дочери, у которой — «крепкая кобылья спина». Но ведь это уже относится к области патологии, и аналогичные случаи встречаются в любых социальных прослойках без исключения.

Неужели только это и привлекает взор писателя в советской деревне? Где же типические обобщения о современности? Об опасностях, отсюда следующих для самого писателя, не будем говорить, — понятно без слов.

Правда, в рассказе «Жертва» есть кое-какой намек на отражение «нового быта» в деревне, так сказать, является своего рода «без черемухи» из деревенской жизни. Но вся беда в том, что этот «проблемный» рассказ написан тускло, — пожалуй, самый слабый из всего сборника в смысле художественного оформления.

Война вообще, по мнению **Гл. Алексеева**, учит человека звериной жестокости. В «Живом береге» он рассказывает очень мастерски о личной трагедии бывшего красноармейца — беззаветного бойца периода военного коммунизма. Видите ли, герой его хотя и знает, что бился он «за мировую справедливость», но все-таки каким-то образом усвоил правило, что «патрон дороже жизни стоит... двух одним патроном прихватить». После окончания гражданских боев, боец решает «выгребать к мирным живым берегам», но «пока революцию делал—многие шкурники в спецы поналезли», — и начинаются мытарства по столице в качестве безработного. Ему очень трудно с военными навыками врастать в мирную жизнь. — «Мысль-то значит,—говорит о себе герой,— на военный лад соскочила: — скажем, ссора какая-нибудь или перебранка не стоящая внимания, — а я думаю о том: — поставить бы тебя, сукинова сына, к стенке, а сукин сын и виноват-то передо мною всего за то, что толкнул нечайно»... Он страстно мечтает о счастьи: «Эх, братишка, счастье — мать, счастье — мачеха, счастье — бешеный волк». И, кажется, счастье глянуло: дали работу, страстно полюбил женщину, но счастье оказалось «бешеным волком». Однажды, в припадке зло-

сти, с целью припугнуть жену, сжал пальцами горло ей. Жена укусила его за палец. Он, рассвирепев, сжимает пальцы сильнее, и женщина падает мертвой.

К кровавым развязкам — хроническое пристрастие.

Только к природе Гл. Алексеев подходит без предвзятости и кривотолков, о ней он пишет тепло и ровно: «В городок, сыпля щедрые цветы на яблони, шла весна... весна глядела солнечным золотым пятном с каждого забора... Дни попрежнему стояли высокие и чистые, с сильными, обещавшими тепло и удачливую весну, росами... ночи стояли прозрачные, до краев наполненные набухающей силой земли и цветения... закутанная в сквозную зеленоватую шаль липа» и т. д. и т. д.

Замечается также знание и любовь к крепким народным словцам и поговоркам — концентрации вековой мудрости и умело пересыпанные ими произведения блещут, как дорогая ткань самоцветами. «...что таракане под решетом: — дырок много, а вылезти некуда... девичьи годы, как молоко — в один день киснут... счастье не лошадь — не запряжешь, а само запряжется — так вскачь понесет» и др.

В этом небольшом сборнике автор проявил себя с одной стороны хорошим мастером, как, например, «Живой берег», «Гость» (к слову: в «Госте», где повествуется о последних днях одинокой старухи, об ее скорби по незаменимой утрате — умершей дочери, умелое вкрапление в неторопливое прозрачное повествование надгробных надписей, долго держат читателя в настроении элегии). По временам же он вдруг срывается до анекдота («Свет трех окон», «Приключение Карола Земиша»).

Все эти значительные шероховатости, может быть, и вполне законные, как этап в поисках таланта, себя как художника, если бы не тревожное отсутствие идеологического стержня в этих рассказах. Материал давит на писателя, и выбрать типичное, без прочной идеологической установки, не всегда удается. Отсюда и срывы. Писателю надо скорее определиться, иначе — «ни рыба, ни мясо».

И еще: Гл. Алексеев находится в полосе опасного своей беспринципностью, вытекающего тоже из идеологической неуравновешенности, скептицизма; он обо всем говорит с этакой либерально-интеллигентской усмешечкой. Рисует ли приход белых в село: «Староста — председатель сельсовета — тоже нацеплял кресты и медали, подносил командиру батальона хлеб-соль», или сельские похороны: «Рядом ковылял, проваливаясь в снег, дьячок, матерно ругавшийся меж песнопениями». Даже над такими ничтожными пустяками он пробует иронизировать: «Под школой ожидала пролетка; члены комиссии (исполкома. *Е. А*) солидно, словно прежние господа, рассаживались»...

Интересно бы знать, во что «верует» сам писатель? По крайней мере, из его произведений узнать невозможно.

В последнее время скептицизм, кажется, начал спадать, но это уже не относится к рецензируемому сборнику.

Е. Аф — в.

С. Вельтман. Восток в художественной литературе. Гиз. Москва — Ленинград 1928 г. Стр. 206. Ц. 1 р. 70 к.

Книга С. Вельтмана «Восток в художественной литературе» представляет ряд интересно написанных очерков, трактующих о художественной литературе, изображающей жизнь Востока наших дней. Само собою разумеется, что тема, взятая автором, очень широка и, конечно, не может быть втиснута в двести с небольшим страниц. Но С. Вельтман сумел выбрать ряд актуальных и волнующих тем, подобрав удачный иллюстративный материал. Автор уделяет видное место современной западной литературе (преимущественно колониальному роману), приводит ряд образцов русской художественной литературы, особо говорит о Тагоре.

В главах, посвященных западной литературе, подробно разбирается французский колониальный роман, чрезвычайно характерный и показательный. Автор отмечает его специфические особенности, ярко вырисовавшиеся в эпоху войны и послевоенное время, и удачно вскрывает его социальную и политическую подоплеку. Колониальный роман необыкновенно красочно выявляет всю

мегаломанию, весь империалистический пыл пуанкаристской Франции. Борьба «белых» с «черными» и торжество «цивилизации», как некий неизбежный апофеоз— в различных вариантах и в разных художественных преломлениях усиленно живописуются в бесчисленном потоке колониальных романов. Дешевая экзотика, авантюрная интрига, немножко этнографии, еще меньше истории, зато добрый запас «патриотических» чувств — вот обычный рецепт рядового колониального романа. Попытка протеста против шаблона, стремление как-то выступить в защиту угнетенных и эксплоатируемых «черных» немногочисленны и недостаточно заострены. С. Вельтман, отмечая интерес наделавшего когда-то столько шума романа Рене Марана «Батуала», указывает на его неумение развернуть основную тему и выйти за пределы этнографических и фольклорных особенностей. В последующих романах Маран и на этом не удержался, сбившись на банальнейшую экзотику. С. Вельтман иллюстрирует целым рядом удачно подобранных примеров характерные уклоны французской колониальной литературы. Жаль только, что автор не остановился на генезисе колониального романа и его первых шагах. Здесь был бы необходим экскурс в довоенное время, в преддверие подготовлявшейся мировой бойни. Художественная литература в известной своей части была созвучна нараставшим милитаристическим настроениям. Особенно характерны в этом отношении романы Поля Адана и Психари. Точно так же можно было бы больше места уделить Клоду Фарреру, от ярких страниц «Носителей цивилизации» перешедшего к безоговорочному воспеванию африканского проконсула маршала Лиотея, и Полю Бенуа, романы которого, несмотря на их безусловную бульварщину, весьма показательны. Нельзя, например, было не упомянуть об его «Властительнице Ливанского замка», где любопытно изображены англо-французские интриги в Сирии. Неясно, почему С. Вельтманом даже не упомянут М. Баррес, если и не писавший колониальных романов в буквальном смысле этого слова, то выступавший ярким и влиятельным идеологом французского империализма в своих художественных произведениях. В некоторых из них был затронут и Восток.

Взяв из итальянской литературы один роман, автор напрасно говорит о бедности итальянской колониальной литературы. Она, конечно, значительно скуднее французской; но все же кое-что имеется. Колониальные устремления фашизма находят свое отражение и в романе, и в поэзии современной Италии.

Любопытна глава о туземном быте в англо-американской литературе. Примеры приведены удачно, но темы, затронутые здесь, требуется расширить и углубить.

Что касается до специального раздела, трактующего о Востоке и Западе в произведениях Тагора, то здесь не во всем можно согласиться с автором. С. Вельтманом вполне правильно выяснены социальные основы политической идеологии и философии Тагора. Но при оценке художественного творчества Тагора суровые выпады С. Вельтмана мало обоснованы. До известной степени он прав, выступая против «идолопоклонства» перед индусским поэтом-мыслителем, но отсюда еще не следует весьма прохладная и неубедительная оценка лирики Тагора (заявление, что «он уступает старым поэтам Ирана», не может служить никаким аргументом) и утверждение, что «Воспоминания» Тагора «абсолютно малоценны».

Заключают книгу главы о Востоке в нашей художественной литературе и о восточных сценариях. Здесь автором дан интересный и показательный материал, не лишенный, однако, некоторой случайности. Этюд о «Востоке в нашей художественной литературе» надо рассматривать как предварительный эскиз. Несомненно, что автор разовьет эту важную тему в целом ряде очерков. Вполне правильны и здравы мысли о необходимости обратить более серьезное внимание на восточные сценарии наших кино, до сих пор переполненные бульварщиной и сусальной экзотикой.

В общем книга С. Вельтмана, живо и занимательно написанная, заслуживает несомненного внимания. Нельзя не отметить и изящную внешность издания.

И Бороздин.

М. Горький. О писателях. Изд. «Федерация». Москва 1928 г. Стр. 317. Тираж 7 000 экз. Ц. 2 р. 50 к., в переплете 2 р. 80 к.

Рядом с фабульным романом, с выдуманным героем и его судьбой видное место отвоевали себе мемуары, дневники, записные книжки.

В интересных воспоминаниях Горького о писателях лучше всего получился образ Льва Толстого:

«Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже: они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: — зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним» (Стр. 10).

Толстой вышел уверенным в себе и многое презирающим:

«С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге» (Стр. 13).

«Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя иногда любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню, — его девки засмеют» (Стр. 9).

Горький сумел не млеть от восторга, не беспредметно восхищаться, а спокойно наблюдать Толстого и порой удивляться. Толстой не раздавил его своим величием.

Горьковский Толстой совершенно заслоняет собою канонизованного толстовцами и народниками Толстого из святцев русской литературы.

Толстой у Горького получается маленьким стариком, говорящим похабные слова, дерзко испытующим людей, озлобленным на женщин человеком, который умнее своей философии и который относится к созданному им учению свысока. Во всем его поведении чувствуется аристократ и барин.

Горький своими воспоминаниями разрушил бронзовобюстного Толстого, он показал его человеком непоследовательным, полным противоречий.

Воспоминания Горького о Толстом состоят из маленьких отрывочных заметок в пять-десять строк.

Их композиция основана на контрастном противопоставлении отдельных кусков.

Из остальных статей лучше всего воспоминания о Чехове, Леониде Андреeве и Гарине-Михайловском.

В изображении Чехова хорошо опущение части рассуждения, чем создается некоторая эксцентричность:

«Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на... сидении правосудия распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей» (Стр. 113).

Несколько портит эти воспоминания дидактический пафос, за который упрекал Горького еще Плеханов.

Но жестокая ирония чеховской судьбы в описании Горького — удалась.

Удался и Гарин, «веселый праведник», покупающий десять стенных часов, чтобы помочь бедняку, и пишущий книги, которые «можно бы и не писать».

В Андрееве метко схвачено сочетание «философического» пессимизма с веселым юмором.

Книга Горького «О писателях» — нужная и умная книга.

Теодор Гриц.

Проф. **Л. Шюккинг.** Социология литературного вкуса. Пер. с нем. Б. Я. Геймана и Н. Я. Берковского, под ред. и с пред. проф. В. М. Жирмунского. Изд. «Academia». Л. 1928 г. Стр. 177. Тираж 3 200 экз. Ц. 1 р. 35 к.

В своем исследовании проф. Шюккинг исходит из полного отрицания известной попытки его предшественника по изучению эволюции стилей и жанров — французского эволюциониста Ферд. Брунетьера. Неверно, — утверждает Шюккинг, — будто повороты литературы объясняются, по аналогии с эволюцией природы, решающим моментом борьбы за существование

между отдельными произведениями литературы: «Не произведения искусства, как таковые, не формы решают исход борьбы, а люди». Люди же в каждой отдельной социальной среде имеют свое особое господствующее в ней миросозерцание и свои особые вкусы. Поэтому автор доказывает, что нельзя рассматривать стиль искусства, как «непосредственное воплощение» какого-то общего господствующего в каждую данную эпоху, так называемого «духа времени», т. е. общего всем миросозерцания. Одно из двух, — резюмирует Шюккинг, — либо в каждой общественной группе господствует свой особый «дух времени», либо вообще не существует никакого такого «духа времени». Объяснения же всех особенностей произведения и стиля надо искать не в общем миросозерцании эпохи, как и вообще не в каких-либо духовно-идеологических надстройках, а в социальной почве данной литературы и тех изменениях в социальном положении художника, которыми характеризуется тот или другой исторический период. «Везде, где нет необходимых предпосылок для проявления творчества — заботливого отношения, участия к художественной деятельности и понимания, нет места, — пишет Шюккинг, — и проявлению таланта». Между тем, все эти предпосылки и возможности дает художнику выдвинувшая его социальная группа, и именно ее литературные вкусы и так называемые «социальные заказы». Не отрицая личного элемента в процессе формации вкусов, проф. Шюккинг считает, однако, наивным упрощением социологического процесса образование нового вкуса, когда этот процесс рассматривается, как образование какой-то «эстетической общины» вокруг отдельного прославленного художника, сумевшего выразить в своих образах «дух эпохи».

Богатая многочисленными любопытными фактами из истории литературных вкусов (роль патрона в XVIII в., влияние мецената на литературу, значение в XIX в. издателя, как инстанции «отбора», критик, как «контролер билетов» при входе на Парнас), рецензируемая книжка изложена, к тому же, вполне общедоступным научным языком, увлекательно и весьма убедительно. Для иллюстрации основных положений она включает в себе, в виде приложения, еще две статьи: «Шекспир как народный драматург» и «Семья как фактор эволюции вкусов».

Вопрос о влиянии на литературную продукцию литературных вкусов читающей публики и ее «социальных заказов» начинает у нас привлекать особое внимание как критика, так и самого читателя. «Социология литературных вкусов», будучи написана представителем далеко не марксистского метода, тем не менее, своим свежим и интересным литературно-историческим материалом проливает яркий свет на подлинную природу литературных вкусов и так называемых «социальных заказов». Переведенная на русский язык как нельзя более кстати, несмотря на то, что на немецком языке она появилась еще в 1923 г., книжка Шюккинга поможет многим более или менее самостоятельно разобраться в данном вопросе и избежать как некоторой вульгаризации самой идеи «социологического заказа», так и наблюдающейся еще недооценки его влияния на творчество поэта-художника.

Лев Якобсон.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В напечатанной в сентябрьской книжке «Красной Нови» статье «Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский», говоря о малой охоте наших историков литературы включать в свои обзоры беллетристику Чернышевского, я, как на пример, указываю на «Историю русской литературы» т. Войтоловского, в первой части которой о Чернышевском не упоминается (хотя там же речь идет о таких не-дворянских писателях, как Островский и Достоевский). Ввиду того, что во второй части своей «Истории» т. Войтоловский по всем вероятиям отведет место Чернышевскому как беллетристу, считаю необходимым снять указанный абзац и прошу считать его внесенным мною в статью по недоразумению.

В. Фриче.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников. В. Фриче.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Илья Эренбург. Заговор равных — роман. 3
С. Сергеев-Ценский. Сливы, вишни, черешни — рассказ 33
Иван Новиков. Большое Седло — рассказ 49
П. Павленко. Последний пират из Хиоса — рассказ 71
М. Волконская. Мой отец, дед и бабушка — рассказ 80

Илья Садофьев. Три ветра. На плоском равновесии. Хорошая память — стихи . 97
Всеволод Рождественский. Украина. Крымский скорый. Крым — стихи 101

Н. Мещеряков. Михаил Николаевич Покровский (Эскиз углем). 107
И. Браславский. Германская революция 1918 г. (к десятилетию ноябрьской революции в Германии) 111
Ф. Раскольников. Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга (по неопубликованным материалам) 135
А. Березина. Дневник девушки (1897—1907 гг.) 145
Д. Тальников. Московский художественный театр 181

От земли и городов

Анна Караваева. В степной коммуне 191

Литературные края

Вл. Васильевский. Против безответственного фразерства 208
Д. Тальников. Литературные заметки (О «новейшей поэзии» и проблеме формы.— Стихи и проза. — Вопросы ритма. — О «конструктивизме». — Поэзия и проза. — Проблема «вещи» в поэзии. — Проза как «организационный» прием поэзии. — Должна ли поэзия быть «понятной». — Писатель перед судом читателя. — Ленин и «Евгений Онегин». — Homunculus поэзии. — «Прежде всего надо быть поэтом» 213
Г. Каменский. Современная польская литература . 245

Критика и библиография

Рецензии: *Т. Гриц.* Лев Толстой. Неизданные художественные произведения. *Е. Аф—в.* Глеб Алексеев. Свет трех окон. *И. Бороздин.* С. Вельтман. Восток в художественной литературе. *Т. Гриц.* М. Горький. О писателях. *Л. Якобсон.* Проф. Л. Шюккинг. Социология литературного вкуса 255

Письмо в редакцию

1 р. 75 к.